

ПРОВИНЦІАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВЪ



Борис Акунин
**ПЕЛАГИЯ
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ**

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВЪ

Борис Акунин

**ПЕЛАГИЯ
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ**

ас
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Захаров
Москва
2000

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6
А 44

Художник Ю.Д. Федичкин

*Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.*

Акунина Б.

A44 Пелагия и белый бульдог. Роман.— М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издательство Астрель», 2000.— 288 с.— (Провинциальный детектив).

ISBN 5-17-001229-2.

«Провинциальный детектив, или Приключения сестры Пелагии» — новый литературный проект Б. Акунина, автора знаменитых «Приключений Эраста Фандорина».

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 5-17-001229-2 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-00463-5 (ООО «Издательство Астрель»)

- © Б. Акунина, 2000
- © ООО «Издательство Астрель», 2000
- © ООО «Издательство АСТ», 2000

С любовью — Н.С. и Ч.Г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

БЛЮДИТЕСЯ ПСОВ

I

СМЕРТЬ ЗАГУЛЯЯ

...А надо вам сказать, что к яблочному Спасу, как начнет небо поворачивать с лета на осень, город наш имеет обыкновение подвергаться истинному нашествию цикад, так что ночью и захочешь спать, да не уснешь — вот какие со всех сторон несутся трели, и звезды опускаются низко-низко, луна же и подавно виснет чуть не над самыми колокольнями, делаясь похожа на яблоко нашей прославленной «сметанной» породы, которую местные купцы поставляют и к царскому двору, и даже возят на европейские выставки. Если б кому выпало взглянуть на Заволжск из небесных сфер, откуда изливаются лучи ночных светил, то перед счастливецом, верно, предстала бы картина некоего зачарованного царства: лениво искрящаяся Река, посверкивающие крыши, мерцание газовых фонарей, и над всей этой игрой разнообразных сияний воспаряет серебряный звон цикадного хора.

Но вернемся к владыке Митрофанию. О природе же упомянуто единственно для пояснения, почему в эту ночь уснуть было бы непросто и самому обыкновенному человеку, обремененному заботами поменее, чем губернский архиерей. Недаром же недоброжелатели, которые есть у каждого, не исключая и этого достойного пастыря, уг-

верждают, что именно преосвященный, а вовсе даже не губернатор Антон Антонович фон Гаггенау, является истинным правителем нашего обширного края.

Впрочем, обширен-то он обширен, однако населен не густо. Из настоящих городов, пожалуй, один Заволжск только и есть, прочие же, включая и уездные, представляют собой разросшиеся села с кучкой каменных присутствий вокруг единственной площади, невеликим собором и сотней-другой бревенчатых домишек под жестяными крышами, которые испокон веков у нас красят отчего-то непременно в зеленый цвет.

Да и губернская столица не бог весть какой Вавилон — в описываемый момент все ее население составляло двадцать три тысячи пятьсот одиннадцать человек обоюго пола. Правда, на неделе после Преображения, если никто не помрет, ожидалось увеличение числа обывателей еще на две души, потому что жена правителя губернской канцелярии Штопса и мещанка Сафулина ходили на сносях, а последняя, по общему мнению, уже и переживала.

Обычай вести строгий учет населения завели недавно, при нынешней власти, и то только в городах. А сколько кормится народишку по лесам да болотам — это уж Бог весть, поди-ка посчитай. От Реки до самых Уральских гор на сотни верст тянутся непроходимые дремучие чащи. Там и раскольничьи скиты, и соляные фабрики, а по берегам темных, глубоких речек, по большей части вовсе безымянных, живет племя зыть, народ смирный и послушный, угорского корня.

Единственное упоминание о древнем бытовании нашей незначимой области содержится в «Нижегородском изборнике», летописи пятнадцатого столетия. Там сказано о новгородском госте по имени Ропша, которого в здешних лесах «уловиша дики голобрюхи языце» и во жертвоприношение каменному идолу Шишиге лишили

головы, отчего, как считает нужным пояснить летописец, «оний Ропша погибоша, преставися и погребен бысть без главы».

Но то было во времена давние, мифические. Теперь же у нас тишь и благодение, по дорогам не шалют, не убивают, и даже волки в здешних лесах из-за обилия живности заметно толще и ленивее, чем в прочих губерниях. Хорошо живем, дай Бог всякому. А что до ропота архиереевых недоброжелателей, то рассуждать, кто истинный правитель Заволжского края — владыка ли Митрофаний, губернатор ли Антон Антонович, многоумные ли губернаторовы советники, а может, и вовсе губернаторша Людмила Платоновна, — не беремся, потому что не нашего ума дело. Скажем лишь, что союзников и почитателей в Заволжье у преосвященного гораздо больше, чем недругов.

Впрочем, в последнее время в связи с некими событиями сии последние осмелели и подняли голову, что давало Митрофанию, помимо обычных, связанных с цикадьим неистовством, еще и особенные причины для бессонницы. То-то и хмурил он высокий, в три поперечные морщины лоб, то-то и супил черные густые брови.

Хорош лицом заволжский епископ, не просто благообразен, а истинно красив, так что и не пастырю бы впору, а какому-нибудь старорусскому князю или византийскому архистратигу. Волосы у него длинные, седые, а борода, тоже длинная и шелковистая, пока еще наполовину черна, в усах же и вовсе ни единого серебряного волоска. Взгляд острый, по большей части мягкий и ясный, но тем страшнее, когда затуманится гневом и начнет извергать молнии. В такие грозные минуты виднее и строгие складки вдоль скул, и орлиный изгиб крупного, породистого носа. Голос у владыки глубокий, звучный, с низкими перекатами, одинаково пригодный для душевного разговора, вдохновенной проповеди и государствен-

ной речи на очередном присутствовании в Святейшем Синоде.

По молодости лет Митрофаний придерживался аскетических воззрений. Ходил в рясе из мешковины, истощал плоть беспрестанным пощением и даже, сказывают, носил под рубахой чугунные вериги, но давно уже отказался от этих суровостей, сочтя их суетными, несущественными и даже вредными для истинного боголюбия. Войдя в возраст и достигнув мудрости, стал он к своей и чужой плоти снисходительней, в повседневном же одеянии отдавал предпочтение подрясникам тонкого сукна, синего или черного. А иной раз, когда того требовал авторитет архиерейского звания, облачался в лиловую, драгоценнейшего бархата мантию, велел запрягать парадную епископскую карету шестеркой, и чтоб на запятках непременно стояли двое статных густобородых келейников в зеленых рясах с галунами, очень похожих на ливреи.

Находились, конечно, и такие, кто втихомолку корид преосвященного за сибаритские привычки и приверженность к пышности, но даже и они судили его не слишком строго, памятуя о высоком происхождении Митрофания, который был привычен к роскоши с детства и потому не придавал ей сколько-нибудь важного значения — *не удаивал замечать*, как выражался его письмоводитель отец Серафим Усердов.

Родился заволжский преосвященный в знатном придворном семействе, окончил Пажеский корпус и вышел оттуда в гвардейскую кавалерию (было это еще в царствование Николая Павловича). Вел обычную для молодого человека его круга жизнь, и если чем-то отличался от своих сверстников, то разве что некоторой склонностью к философствованию, впрочем, не столь уж редкой среди образованных и чувствительных юношей. В полку «философа» считали хорошим товарищем и исправным кавалеристом, начальство его любило и продвигало по

службе, и к тридцати годам он, верно, вышел бы в полковники, но тут случилась Крымская кампания. Бог весть какие прозрения открылись будущему заволжскому епископу в его первом боевом деле, конной сшибке под Балаклавой, но только, оправившись после сабельного ранения, вновь брать в руки оружие он не пожелал. Вышел в отставку, распростился с родными и вскоре уже пребывал на искусе в одном из отдаленнейших монастырей. Однако и сейчас, особенно когда Митрофаний служит в храме молебен по случаю одного из двенадцатых праздников или председательствует на совещании в консистории, легко представить, как он раскатисто командовал своим уланам: «Эскадрон, сабли к бою! Марш-марш!»

Незаурядный человек проявит себя на любом поприще, и в безвестности дальнемонастырской жизни Митрофаний пребывал недолго. Как прежде он, еще будучи в обер-офицерском чине, стал самым молодым эскадронным командиром во всей легкоконной бригаде, так и теперь ему выпало стать самым молодым из православных епископов. Назначенный к нам в Заволжск сначала викарием, а затем и губернским архипастырем, он проявил столько мудрости и рвения, что вскорости был вызван в столицу, на высокую церковную должность. Многие прочили Митрофанию в самом недалеком будущем белый митрополичий клобук, но он, поразив всех, опять свернул с накатанного тракта — ни с того ни с сего запросился обратно в нашу глушь и после долгих уговоров, к радости заволжан, был с миром отпущен, чтобы больше уж никогда не покидать здешней скромной, удаленной от столиц кафедры.

Хотя что ж с того, что удаленной. Давно известно, что чем удаленней от столицы, тем ближе к Богу. А столица, она и за тысячу верст дотянется, если взбрдет ей, высоко сидящей и далеко глядящей, в голову такая фантазия.

Из-за такой-то вот фантазии и не спал нынче владыка, без удовольствия внимая надоевшим цикадьям *crescendo*. Столичная фантазия имела лицо и имя, звалась синодским инспектором Бубенцовым, и, прикидывая, как дать укорот этому злокозненному господину, преосвященный уже в сотый раз переворачивался с боку на бок на мягкой, утячьего пуха перине, кряхтел, вздыхал, а по временам и охал.

Ложе в архиерейской опочивальне было особенное, старинное, еще елисаветинских времен, на четырех столбах и с балдахином в виде звездного неба. В период уже поминавшегося увлечения аскезой Митрофаній преотлично ночевал и на соломе, и на голых досках, пока не пришел к заключению, что плоть умерщвлять — глупость и незачем, не для того Господь ее слепил по образу и подобию Своему, да и не пристало архипаству бахвалиться перед подопечным клиром, навязывая ему самоистязательную строгость, к которой иные не испытывают душевного расположения, да и по церковному уставу не обязаны. К зрелым годам стал преосвященный все больше к тому склоняться, что истинные испытания человеку ниспосылаются не в области физиологической, а в области духовной, и истребление тела отнюдь не всегда влечет за собой спасение души. Потому обставлены епископские палаты не хуже губернаторского дома, стол в трапезной и вовсе не в пример лучше, а яблоневый сад первый во всем городе — с беседками, ротондами и даже фонтаном. Мирно там, тенисто, мыслеродительно, и пускай перешептываются недоброжелатели — на дурной роток не накинешь платок.

А с коварным проверяльщиком Бубенцовым поступить надо вот как, придумал владыка. Перво-наперво отписать в Петербург Константину Петровичу про все художества его доверенного нунция и про то, какая беда может произойти для церкви от этих художеств. Обер-

прокурор человек умный. Возможно, что и внемлет. Но посланием не ограничиваться, а непременно призвать к беседе губернаторшу Людмилу Платоновну — усостыдить. Желенщина она добрая и честная. Должна одуматься.

Всё и устроится. Куда как просто.

Но и после того, как от сердца отлегло, сон все равно не шел, и дело было не в круглой луне, и даже не в цикадах.

Зная свою натуру и имея привычку досконально, до винтика разбираться работу ее механизма, Митрофаный принялся вычислять, что за червь его гложет, не попускает разуму окутаться сонным облаком. В чем причина?

Неужто давешний разговор с взбалмошной белицей дворянского звания, которой отказано в постриге? Владыка не стал ходить вокруг да около, брякнул ей начистоту: «Вам, дочь моя, не Сладчайшего Жениха Небесного надобно, это всё ваши иллюзии. Вам самого обычного жениха нужно, из чиновничьего сословия, а еще лучше — офицера. С усами». Не следовало бы так, конечно. Истерика была и потом еще долгое утомительное препирательство. Но это ладно, пустое. Что еще?

Пришлось принять неприятное решение насчет отца эконома из Богоявленского монастыря. За пьяное бесчиние и блудное хождение к женщинам неодобрительного поведения преступник был приговорен к увольнению из обители и обращению в первобытное звание. Теперь пойдет писанина — и высокопреосвященному, и в Синод. Но и это было дело обычное, причина тревоги коренилась не в нем.

Митрофаный подумал еще, пощупал в себе, как бывало в детстве, на «тепло-холодно» и вдруг понял: письмо от двоюродной тетки, генеральши Татищевой, вот где, оказывается, червоточина. Сам удивился, но сердце сразу подтвердило — горячо, в самую точку. Вроде глупость, а на душе что-то кошки скребут. Взять перечесть?

Сел на кровати, зажег свечу, надел пенсне. Где оно, письмо-то? А, вот, на столике.

«Милый мой Мишенька, — писала старуха Марья Афанасьевна, по прежней памяти называя родственника давно забытым мирским именем, — здоров ли ты? Отпустила ли тебя окаянная подагра? Прикладываешь ли ты капустный лист, как я тебе велела? Аполлон Николаевич, покойник, всегда говорил, что...» Далее следовало пространное описание чудодейственных свойств огородной капусты, и преосвященный нетерпеливо заскользил взглядом по строчкам, написанным ровным, старомодным почерком. Глаза споткнулись на неприятной фамилии. «Опять навещал меня Владимир Львович Бубенцов. И что только ввали про него, будто он прохвост и чуть ли не душегуб. Славный молодой человек, мне понравился. Прямой, без фанаберий, и в собаках толк понимает. Знаешь ли ты, что он мне, оказывается, родня по линии Стрехниных? Моя бабка Аделаида Секандровна вторым браком...» Нет, и не это, дальше.

Ага, здесь: «...Но это всё к делу не относится и писано было только потому, что я по сердечной слабости медлила подойти к главному. Только соберусь, уж и духом укреплюсь, а снова слезы в два ручья, и рука трясется, и в груди холодом стискивает. Пишу я к тебе, Мишенька, не просто так. У меня большое горе, да такое, что один ты меня и поймешь, а другие, поди, и на смех поднимут, скажут, совсем дура старая из ума выжила. Хотела бы сама к тебе приехать, да мочи нет, хотя вроде бы и путь недалёкий. Лежу пластом и все плачу, плачу. Ты знаешь, сколько лет, сколько сил и сколько средств я положила на то, чтобы довести до конца дело, которому Аполлон Николаевич посвятил свою жизнь». (На этом месте владыка покачал головой, поскольку к делу, которому покойный дядюшка посвятил свою жизнь, относился скептически.) «Так узнай же, друг мой, какое злодейство

приключилось в моей Дроздовке. Какой-то супостат, и ведь не иначе как из своих, подсыпал отравы в похлебку Загуляю и Закидаю. Закидай помоложе, я его рвотным камнем спасла, выходила, а вот Загуляюшка преставился. Всю ночь маялся, метался, плакал человеческими слезами и смотрел на меня так жалобно: спаси, мол, матушка, на тебя вся мѡя надежда. Не спасла. Под утро уж вскрикнул так жалостно, на бок упал и дух испустил. Я бухнулась без сознания и, говорят, пробыла так три часа, уж и доктор из города приехать успел. Теперь вот лежу вся слабая, и больше от страха. Ведь это заговор, Мишенька, злодейский заговор. Кто-то извести хочет деточек моих, а с ними и меня, старую. Богом-Вседержителем молю тебя, приезжай. И не для пастырского утешения, его мне не надобно, а для розыска. Все говорят, что ты дар имеешь любого злодея насквозь видеть и всякую преступную кверзу разгадывать. Какого уж тебе еще злодейства хуже этого? Приезжай, право, спаси. А я буду вечная твоя обожательница и в духовной отпишу щедрую долю хоть на храм, хоть на монастырь какой, хоть на сирот». В самом конце письма тетка переходила из родственного тона в официально-почтительный: «Поручая себя отеческому вниманию, архиерейским молитвам и моля о владычном благословении, остаюсь преданная раба Вашего пресвященства Марья Татищева».

Тут, пожалуй, нужно пояснить про дар, о котором писала генеральша Татищева и который духовной особе архиерейского звания был вроде бы и не совсем к лицу. Тем не менее среди прочих еще более возвышенных достоинств числился за владыкой и драгоценный, редко встречающийся талант распутывать всякие головоломные загадки, в особенности с преступной подоплекой. Можно даже сказать, что была у Митрофания настоящая страсть к подобного рода умственной гимнастике, и не раз случалось, что полицейские власти, даже и из со-

предельных губерний, почтительно испрашивали у него совета в каком-нибудь запутанном расследовании. Этой своей славой заволжский епископ втайне очень гордился, но не без угрызений совести — во-первых, потому, что сия гордость несомненно относилась к разряду суетных тщеславий, а во-вторых, по еще одной причине, о которой знали только он сам и еще некая особа, поэтому умолчим.

Просьба тетки — мчаться к ней в поместье для расследования обстоятельств гибели Загуляя — вечером, при первом прочтении письма, позабавила преосвященного. Вот и сейчас, перечтя послание, он подумал: чушь, блажит старуха. Полежит денек-другой и встанет.

Загасил свечу, лег, а на сердце все равно нехорошо. Попробовал помолиться за теткино выздоровление. Известно, что ночная молитва доступнее к Господу. Вот и святой Златоуст пишет, что Господь наипаче умиляется ночными молитвами, «егда соделаешь время успокоения многих временем плача».

Но молитва вышла без души, одно попугайское суетное, а таких молений владыка не признавал. Он и епитимий молитвенных никогда ни на кого не налагал, почитал за святотатство. Молитва и не молитва вовсе, если проходит только через уста, не затрагивая сердца.

Ладно, пускай Пелагия сходит, решил Митрофаній. Пускай выяснит, что там содеялось с этим треклятым Загуляем.

И сразу отпустило, и цикады уже не бередили душу трепетным многоголосием, а убаюкивали, и луна не резала глаза, а как бы омывала лицо теплым молоком. Митрофаній смежил вежды, разгладил морщины на суровом челе. Уснул.

* * *

С утра в домово́й церкви святили плоды по случаю Преображения Господня, еще называемого яблочным

Спасом. Этот праздник, не самый большой из двенадцатых, Митрофаний любил за яркость и богоприятное легкомыслие. Сам не служил, стоял сзади и сбоку, на архиерейском возвышении, откуда лучше видно и разукрашенную яблоками церковь, и многочисленную публику, и священников с дьяконами в особых «яблочных» ризах — голубых с золотом, а поверху — плодно-лиственный шитье. Певчие знаменитого архиерейского хора, сойдясь с двух сторон, грянули катавасию, да так, что тяжелая хрустальная люстра под белым сводом звонко затрепетала радужными подвесками. Отец Амфитеатров начал святить яблоки: «Господи, Боже наш, положивый верующим в Тя пользование творениями Твоими, Сам благослови подлежащая плоды сия словом Твоим...»

Хорошо.

Служба на Спас недолгая, радостная. В храме пахнет свежестью и соком, потому что все со своими корзинами пришли, яблоки кропить. И подле Митрофания, на столике, тоже лежало серебряное блюдо с огромными красными ананасно-царскими яблоками из владычьего сада, сочными, сладкими, ароматными. Кого преосвященный одарит — тому особое отличие и расположение.

Митрофаний послал костыльника, служку при архиерейском посохе, к левому клиросу, где в ряд чинно стояли монахини, назначенные по послушанию учительствовать в епархиальной школе для девочек. Посланец шепнул на ухо начальнице, высокой, тощей сестре Христине, что владыка яблочком пожалеет, и та оглянулась, склонилась в благодарном поклоне. Справа от нее (со спины не сразу догадаешься), кажется, стояла сестра Емилия, преподававшая арифметику, географию и еще несколько наук. Потом кривобокая сестра Олимпиада, эта ведала законом Божиим. Далее две одинаково сутулые, Амвросия и Аполлинария, не разберешь, кто из них кто; одна преподавала грамматику и историю, другая — домополезные рукоделия. А с краю, у

стеночки, невысокая, худенькая сестра Пелагия (литература и гимнастика). Эту и захочешь, ни с кем не перепутаешь: платок-апостольник на сторону сбился, и сбоку — для монахини стыд и недопустимо — прядка рыжих волос торчит, так и отливает бронзой в солнечном луче.

Митрофаний вздохнул, вновь, уже в который раз, усомнившись, не ошибся ли, дав в свое время благословение Пелагии на постриг. Нельзя было не благословить — через большое горе и тяжкое испытание прошла девица, так что не всякая душа и выдержала бы, но уж больно не монашеского она кроя: чересчур жива, непоседлива, любопытственна и в движениях нечинна. Так ты ведь и сам таков, старый дурень, укорил себя преосвященный и опять вздохнул, еще сокрушенной.

Когда инокини выстроились получать от преосвященного по яблоку, он отличил каждую — кого к руке подпустил, кого по голове легонько погладил, кому просто улыбнулся, а с последней, Пелагией, вышел казус. Наступила, нескладная, отцу иподиакону на ногу, шарахнулась с извинением, всплеснула рукой и локтем прямо по блюду. Грохот, звон серебра о каменный пол, во все стороны обрадованно катятся красные яблоки, и мальчишки из духовного училища, кому и не положено вовсе, потому что озорники и сорванцы, уж расхватили драгоценный царский ананас, ничего не оставили людям достойным, заслуженным, кто за Пелагией своего череда ожидал. И вечно с ней так — не монахиня, а недоразумение конопатое.

Митрофаний пожевал губами, но от внушения воздержался, потому что храм Божий и праздник.

Сказал только, благословляя:

— Прядку-то подбери, стыдно. И в библиотеку ступай. Говорить с тобой буду.

* * *

— Некий осел вообразил себя рысаком, принялся раздувать ноздри и стучать копытом о землю. (Так начал

разговор преосвященный.) «Всех обгоню! — кричал. — Я самый быстрый, самый резвый!» И до того убедительно кричал, что все вокруг поверили и стали повторять: «Нашто осел и не осел вовсе, а самый что ни на есть чистопородный аргамак. Надо его теперь на скачки выпускать, чтобы он все до единого призы завоевал». И не стало после этого ослу житья, потому что как где бега, сразу его под узду и скакать волокут. «Давай, мол, длинноухий, не выдавай». То-то славное ослу житье вышло.

Монахиня, давно привычная к епископовым иносказаниям, слушала сосредоточенно. Невнимательно на нее взглянуть — юная девица: лицо чистое, милоовальное, собой располагающее и вроде как наивное, но это обманчивое впечатление возникало от вздернутого носа и удивленно приподнятых бровей, а пытливые круглые карие глаза смотрели из-за таких же круглых очков вовсе даже не просто, и было по глазам видно, что нет, это не юница — и пострадать успела, и пожить, и поразмыслить о пожитом. Свежесть же и молоджавость от белой кожи, часто сопутствующей рыжеволосию, и от оранжевого крапчика неистребимых веснушек.

— Так вот скажи мне, Пелагия, к чему сия притча?

Инокиня задумалась. С ответом не спешила. Маленькие белые руки произвольно потянулись к холщовой сумке, висевшей у пояса, и владыка, знавший, что Пелагии легче думается с вязаньем в руках, позволил:

— Вяжи, можно.

Проворно защелкали острые стальные спицы, и Митрофаний поморщился, вспомнив, какие отвратительные произведения появляются на свет из этих обманчиво ловких пальцев. На Святую Пасху сестра поднесла архиерею белый шарфик с буквами ХВ, скособоченными так, будто они уже успели изрядно разговеться.

— Это кому? — настороженно спросил владыка.

— Сестре Емили. Поясок, а по нему пушу узор из черепов с костями.

— Ну-ну, — успокоился он. — Так что притча?

— Я так думаю, — вздохнула Пелагия, — что это про меня, грешницу. Сей аллегорией, отче, вы хотели сказать, что из меня инокиня, как из осла резвый скакун. И такое немилосердное суждение обо мне вы вынесли оттого, что я в храме яблоки просыпала.

— Просыпала-то нарочно? Чтоб в храме кутерьму устроить? Признайся. — Митрофаній заглянул ей в глаза, но устыдился, потому что прочел в них кроткий укор. — Ладно-ладно, это я так... А притча моя не к тому, не загадала ты. Что же это у нас, человеков, за устройство такое, что всякое событие и всякое сказанное слово мы непременно тщимся на себя приложить? Гордыня это, дочь моя. И невелика ты птица, чтоб я про тебя притчи загадывал.

Внезапно осердившись, он встал, заложил руки за спину и прошелся по библиотеке, которая, пожалуй, заслуживает того, чтобы уделить ей некоторое внимание.

Архирейская библиотека содержалась в идеальном порядке и находилась в ведении секретаря Усердова, работника старательного, в полном соответствии с фамилией. В центре самой протяженной из стен (той, что была лишена окон и дверей) располагался шкаф с трудами по богословию и патрологии, где хранились вероучительные сочинения на церковно-славянском, латыни, греческом и древнееврейском. По левую сторону тянулись шкафы агиографии с житиями святых, как православных, так и римско-католических; по правую — труды по истории церквей, литургике и канонике. Отдельное место занимал обширный шкаф с трактатами по аскетике, напоминание о прежнем увлечении преосвященного. Были в том шкафу и драгоценнейшие редкости вроде первых изданий «Внутреннего замка» святой Терезы Авильской или

«Одеяния духовного брака» Рейсбрука Удивительного. На длинном столе, тянувшемся через всю комнату, высились подшивки русских и иностранных газет и журналов, причем самое почетное место отводилось «Заволжским епархиальным ведомостям», губернской газете, редакторство которой владыка вел самолично.

А литература нерелигиозная, самых различных направлений, от математики до нумизматики и от ботаники до механики, стояла на крепких дубовых полках, сплошь занимавших три остальные стены библиотечного помещения. Единственный род чтения, которого владыка избегал, почитая малополезным, была беллетристика. Творец небесный измыслил в сем мире предостаточно чудес, загадок и неповторимых историй, говаривал епископ, так что смертным человекам незачем выдумывать собственные миры и игрушечных человечков, все равно против Божьего вымысла выйдет скудно и неувидительно. Правда, сестра Пелагия с владыкой спорила, ссылаясь на то, что раз Господь заронил в душу человека желание творчества, то Ему виднее, есть ли смысл и польза в сочинении романов. Однако этот теологический диспут был начат не Митрофанием и его духовной дочерью, а много ранее; не ими и закончится.

Остановившись перед Пелагией, смиренно ожидавшей, когда иссякнет не вполне понятное раздражение духовного учителя, Митрофаний вдруг спросил:

— Что нос-то блестит? Снова конопушки одуванном эликсиром выводила? Статочное ли дело Христовой невесте о такой суетности заботиться? Ведь ты умная женщина. Вот и блаженный Диадох поучает: «Украшающая плоть свою повинна в телолобии, оно же есть знамение неверия».

По шутливому тону преосвященного Пелагия поняла, что тучка улетела, и ответила бойко:

— Ваш Диадок, владыко, известный мракобес. Он и мыться запрещает. Как там у него в «Добротолубии» сказано? «Бани следует, воздержания ради, удалятися, ниже бо тело наше ослабевает сладостною оною мокротою».

Митрофаній сдвинул брови:

— Я вот тебя поставлю сто земных поклонов класть, чтобы непочтительных слов о древнем мученике не говорила. И об украшении плоти он правильно поучает.

Смутившись, Пелагия принялась многословно оправдываться, что с веснушками воюет не ради, упаси Господи, телесной красы, а единственно из благочиния — хороша инокия с конопатым носом.

— Ну-ну, — недоверчиво покачал головой архиерей, всё медля перейти к главному.

Переходы от дерзости к смирению и обратно у сестры Пелагии всегда происходили молниеносно, не уследишь. Вот и сейчас, блеснув глазами, она очень уж смело спросила:

— Владыко, неужто вы меня из-за веснушек вызвали?

И опять Митрофаній не решился о деле заговорить. Покашлял, сызнава прошелся по библиотеке. Спросил, как ученицы в школе. Прилежны ли, хотят ли учиться, не обучают ли их сестры лишнему, что в жизни не поможет, а только помешает.

— Мне доносят, ты их затеяла плавание обучать? Зачем это? Будто велела сколотить на Реке купальню и плещешься там вместе с ними? Хорошо ли это?

— Плавание девочкам необходимо, потому что, во-первых, укрепляет здоровье и развивает гибкость членов, а во-вторых, способствует стройности, — ответила сестра. — Они ведь из бедных семей, все больше бесприданницы. Вырастут — женихов найти надо... Владыко, да ведь вы меня и не из-за школы вызвали. Третьего дня мы уж говорили про школу и про плавание тоже.

Не из тех была Пелагия, кого можно долго за нос водить, и потому Митрофаний наконец заговорил о придуманном минувшей ночью, перед тем как уснуть.

— Осел, про которого я тебе толковал, я самый и есть. Потакая твоим мольбам, а еще более — собственному пустому тщеславию, для пастыря совершенно неприличному, держу от всех в тайне, что истинный дока по части разгадки неявного и ложноочевидного не я, старый дурень, а ты, тихая рясофорная инокиня Пелагия. И от меня, как от того славолюбивого осла, все ожидают чудес и новых прозрений. Теперь уж и не поверит никто, если я объявлю, что это всё твоим промыслом совершалось, а я только тебе послушания назначал...

Спицы перестали постукивать друг о друга, в круглых карих глазах зажглись огоньки.

— Что случилось-то, отче? Видно, не в нашей губернии, а то я бы знала. Опять, как в прошлый год на Маслену, казну церковную похитили? — спросила сестра с нетерпеливым любопытством. — Или, не приведи Господь, духовное лицо умертвили? Какое послушание мне будет от вашего преосвященства на этот раз?

— Нет, человекоубийства никакого нет. — Митрофаний сконфуженно отвернулся. — Тут другое. Не по преступной части. Во всяком случае, дело это не полицейское... Я тебе расскажу, а ты пока слушай. После скажешь, что думаешь. Да ты вяжи. Вяжи и слушай...

Он подошел к окну и всё дальнейшее проговорил, глядя в сад и время от времени принимаясь постукивать пальцами по раме.

— Недалеко отсюда, верст восемь, усадьба моей двоюродной тетки, Марьи Афанасьевны Татишевой. Она уже глубокая старуха, а когда-то давно считалась одной из первых петербургских красавиц. Я мальчиком был, помню, как она к нам приезжала. Веселая была, молодая, в шашки со мной играла... Вышла замуж за офицера, пол-

кового командира, ездил с ним по разным отдаленным гарнизонам, потом он в отставку вышел, и поселились они здесь, в Дроздовке. Этот самый Аполлон Николаевич, ныне уж покойный, страстный был собачник. Первую псарню держал во всей губернии. И борзые у него, и гончие, и легавые. Один раз щенка за тысячу рублей купил, вот какой был отчаянный. Но этого всего ему мало показалось, возмечтал он некую особую, прежде еще небывалую породу вывести. И весь остаток жизни с этим проектом провозился. Породу он назвал «белый русский бульдог». От обычного отличается мастью — белый весь, как молоко, особой приплюснутостью профиля (забыл, термин у собачников есть для этого специальный) и еще какой-то невиданной брдастостью — это когда брыли свисают. Главная же особенность, в которой вся изюминка, — чтоб при общей белизне правое ухо было коричневым. Не припомню, какой в этом смысл — что-то про каски... Кажется, когда Аполлон Николаевич в кавалергардах служил, у них в эскадроне был обычай каски немного набекрень надевать. Вот ухо эту лихость и отражает. Ах да, забыл, еще они должны чрезвычайной слюнявостью обладать, уж не знаю, для какой практической пользы. В общем, уродище, каких поискать. Действовала Аполлон Николаевич так. Во все барские дома, где бульдогов держали, по всей России дал знать, что выродков-альбиносов топить, как это делают обычно, не следует, а нужно немедленно отсылать к генерал-майору Татишеву, и он выкупит бракованных щенков за хорошие деньги. Белые щенки, да еще с коричневым правым ухом у бульдогов рождаются очень редко. Сейчас не помню, хоть много раз и от дяди, и от тетки слышал... Может, один на сотню пометов. Вот, стало быть, собирал Аполлон Николаевич этих уродцев, подрашивал и между собой скрещивал. Щенки выходили обыкновенные, рыжие, но иногда получались и белые, буроухие, и теперь уже чаще — ска-

жем, на десяток пометов один. Тех он снова отбирал и скрещивал, да еще следил, чтоб побрудастей и послонявей были. Особенная трудность, конечно, с этим треклятым ухом выходила. Очень уж многих выбраковывать приходилось. И так поколение за поколением. Когда дядя преставился, он уж далеко к своей мечте продвинулся, но все же еще находился, так сказать, на полдороге. Умирая, завещал жене довести начатое до конца. А Марья Афанасьевна была супруга поистине золотая. В свое время из светских чаровниц враз перестроилась в матери-командирши, а после и в помещицы. И всё без притворства, от души и в охоту. Такой у нее от Бога женский талант. Если б муж ей на смертном одре поручения не дал, поди, засохла бы, не справилась с горем. А так ничего, вот уже двадцать лет вдовее и крепка, деятельна, характером бодр. Все разговоры, все помыслы только на собачью материю. Я уж и пенял ей несоразмерностью увлечения, и корил — не слушает. Как-то говорю, не всерьез, поддразнивая: «Тетенька, а если к вам Люцифер явится и попросит вашу душу христианскую в обмен на чистейшую белую породу, отдадите?» «Господь с тобой, Миша, отвечает, что это ты такое несешь». И вдруг примолкла, задумалась. Это уж, скажу я тебе, Пелагия, не шутки! Так или иначе, продолжила она дело покойного мужа по выведению русского белого бульдога и немало в том преуспела. Особенно по линии брудастости, плоскомордия и слюнявости. С ухом у нее хуже сложилось. Из совсем идеальных у нее до недавнего времени всего три кобеля накопилось. Дед по кличке Загуляй, уж старый, на девятом году. Потом сын его, Закидай, четырехлеток. И месяца два-три назад на радость старухе народился Загуляев внук, назвали Закусаем. Такой он вышел по всем статьям образцовый, что тетка всех прочих псов, недостаточно совершенных, велела перетопить, чтоб породу не портили, оставила на развод только этих троих. Ох, забыл еще

из существенных статей: криволапые они и носы розовые в черную крапинку. Это тоже важное отличие...

Здесь владыка почувствовал себя совсем глупо и, смешавшись, искоса взглянул на слушательницу. Та шевелила губами, считая петли. Недоумения не выказывала.

— В общем, на-ко вот, прочти. Письмо вчера пришло. Если скажешь, что блажит старуха, из ума выжила, я ей отпишу что-нибудь успокоительное, да и дело с концом.

Митрофаный вынул из рукава подрясника письмо, передал Пелагии.

Сестра пальцем прижала дужку очков к переносице, стала читать. Дочитав, встревоженно спросила:

— Кому бы понадобилось собак травить? И зачем?

От серьезности вопроса владыка испытал облегчение и конфузиться сразу перестал.

— То-то и оно, зачем. Рассуди сама. Марья Афанасьевна — старуха богатая, в наследниках недостатка не имеет. Дети у нее поумирали, есть внук и внучка — княжата Телиановы. И еще бессчетная дальняя родня, приживалы там какие-то, приятели всякие. Женщина она добрая, но вздорная. И привычку самодурскую имеет — чуть не каждую неделю вызывает из города стряпчего и духовную наново переписывает. На кого осерчает — вычеркивает из завешания, кто угодил — долю увеличивает. Вот о чем и дума моя. Проверить бы, Пелагиюшка, кого она там в последний раз по духовной облагодетельствовала. Или, наоборот, на кого осерчала и грозитя наследства лишить. Иного смысла в этом диком собакотравстве я не вижу, кроме как если кто задумал таким манером саму старушку в могилу загнать. Видишь, как она из-за пса этого расхворалась. А если бы оба околели, тут бы Марью Афанасьевну и схоронили. Как тебе моя препозиция? — обеспокоенно спросил епископ свою пронизательную питомицу. — Не слишком невероятна?

— Опасение резонное и очень вероятное, иной причины и в голову не приходит, — одобрила инокиня, однако же добавила: — Хотя, конечно, надо бы на месте побывать. Может, и какая другая причина сыщется. А велико ли у вашей тетеньки состояние?

— Велико. Имение большое, содержится в образцовом порядке. Леса, луга, мельницы, льны, овсы первостатейные. Еще и капитал, денежные бумаги в банке. Не удивлюсь, если все вместе к миллиону будет.

— А наследников ее вы, владыко, знаете? Очень уж много нужно подлости иметь, чтобы такое дело затеять. Пожалуй, напрямую убить, и то грех не тяжелее получится.

— Это ты с Божеской позиции смотришь, и правильно делаешь. Но человеческие законы от Божьих далеки. Напрямую убить — это ведь полиция допытываться будет, кто да зачем. Так и на каторгу угодишь. А собачек потравить — грех в человеческом смысле небольшой, в юридическом и вовсе никакой, старушку же этим способом убьешь еще верней, чем ножом или пулей.

Пелагия руками взмахнула, так что вязанье у нее полетело на пол:

— Большой это грех в человеческом смысле, очень большой! Даже если бы эта ваша Марья Афанасьевна исчадием ада была и кто-то обиженный хотел с ней счеты свести, то в чем же невинные твари виноваты! Собака — существо доверчивое, привязчивое, от Господа и верностью, и любовным даром так щедро наделенное, что и людям не вред бы поучиться. Я полагаю, владыко, что собаку еще хуже, чем человека, убить.

— Ну, ты это язычество мне брось! — прикрикнул преосвященный. — Чтоб я такого больше не слышал! Сравнила душу живую с тварью бессловесной!

— Что ж с того, что бессловесной, — не унималась упрямая монашка. — Вы собаке в глаза заглядывали? Вот

хоть Жуку вашему, что у ворот на цепи сидит? А вы загляните. У Жука глаза подушевнее и поживее, чем тусклые плошки вашего драгоценного Усердова!

Открыл было рот владыка, чтобы дать волю праведному гневу, но остановил себя. В последнее время вел он борьбу с грехом сердечной свирепости, и иногда получалось.

— Недосуг мне дворовым псам в глаза заглядывать, — сухо, с достоинством молвил епископ. — Усердова же не трогай, он аккуратен и исполнительен, а что до его души трудно добраться, так это характер такой. И препираться с тобой я не стану, тем более из-за очевидного. Скажи одно: сделаешь, о чем прошу?

— Сделаю, отче, — поклонилась инокиня.

— Тогда вот тебе послушание. Ступай в Дроздовку. Прямо нынче. Передашь Марье Афанасьевне мое благословение и письмо, какое дам. Успокой старушку. А главное — выясни, что там у них такое творится. Если обнаружишь злой умысел — пресеки. Ну да что тебя учить, сама знаешь. И пока ясности не достигнешь, не возвращайся.

— Владыко, — встрепенулась Пелагия. — У меня в субботу уроки в школе.

— Ну, на уроки придешь, а после снова в Дроздовку. И будет, ступай. Подойди только, благословлю.

* * *

Прежде чем сестра Пелагия отправится в поместье генеральши Татишевой, необходимо сделать кое-какие географические пояснения, без которых человеку, никогда не бывавшему в Заволжске, будет трудненько поверить и даже просто понять, как могло произойти все то, что впоследствии последовало в дальнейшем.

Главное действующее лицо в этой истории — Река, величайшая и славнейшая не только в России, но и во всей Европе. Губернская столица выстроена на левом бере-

гу, над крутым яром. Здесь течение вод стеснено с обеих сторон утесами, и оттого знаменитый своей величавостью поток на время утрачивает благодушие, переходит с рассеянной неспешности на рысистый бег, пенится барашками, крутится темными водоворотами и ведет многовековую осаду Заволжского отвеса, подсекая высокий обрыв коварными апрошами. Ниже, верст через пять, левобережная круча постепенно выравнивается, сменяется песчаными отмелями, так что Реке становится привольней, и она, отдуваясь после вынужденной пробежки, растекается вширь чуть не на версту. Но передышка эта временная — как раз там, где расположена Дроздовка, упрямый берег снова резко дыбится кверху; помещичий дом и сад вознесены высоко над водным простором, отчего открывающийся оттуда вид по праву считается красивейшим во всей округе.

Так что путь сестре Пелагии лежал в южном направлении, через Казанскую заставу на Астраханский шлях, что тянется вдоль Реки, послушно следуя всем ее прихотливым изгибам и никогда не удаляясь от нее более чем на пять верст.

Перед тем как покинуть свою комнатку на архиерейском подворье, по-монастырски называемую кельей, Пелагия по давней суеверной привычке открыла Евангелие и ткнула пальцем в первую попавшуюся строчку. Послушание на сей раз ей выпало нестрашное и, можно даже сказать, пустяковое, но такой уж у монахини был обычай. Однако строчка (из «Послания святого апостола Павла к Феликсийцам») выпала явно не случайная, содержащая в себе не то подсказку, не то предостережение: «Блюдитесь псов и блюдитесь злых делателей».

Видимо, все-таки именно предостережение, потому что на выходе из города, уже за шлагбаумом, была Пелагии явлена примета явно недоброго свойства. Оглянув-

шись и увидев, что поблизости вроде бы никого нет, инокиня достала из поясной сумки, где вязанье, маленькое зеркальце и принялась разглядывать нос — не побледнели ли настырные веснушки от одуванного молочка. А тут из придорожных кустов шурушание раздалось, и вылезли две бабы, невесть зачем сошедшие с шляха. Сестра Пелагия хотела руку за спину спрятать, да так неловко, что зеркальце упало. Подняла — нехорошо: две трещины крест-накрест, а всем известно, что это за знак. Ничего хорошего он не предвещает.

К плохим приметам Пелагия, вопреки монастырскому уставу, относилась серьезно, и не из невежества, а потому что многократно убеждалась: неспуста они за долгие века народом выделены и перечислены. Как положено в подобном случае, зачерпнула горстку праха, кинула через левое плечо, осенила себя крестным знамением (чего всуе никогда не делала), прочла молитву Пресвятой Троице и пошла себе дальше.

О тревожном думать не хотелось (да, в общем, и не с чего было), впереди предстояло пусть маленькое, но все же не лишнее познавательности приключение, и настроение монахини, ненадолго омраченное гибелью зеркальца, быстро наладилось, тем более что стояла та волшебная летняя пора, когда воздух от зрелого солнца делается золотистым, будто мед, небо высокое, а земля широкая, и все вокруг полно щедрой жизни и доброй истомы. Да, впрочем, что описывать, все и так знают, как выглядит пригожий августовский день, не так давно переваливший за середину.

На первой же версте Пелагии повезло — подсадил на телегу старичок крестьянин. Дороги у нас в губернии новые, ровные, едешь — будто по льду скользишь, и докатила Пелагия на мягком сене с полным комфортом до самого поворота с Астраханского шляха на Дроздовку.

Тут, на самой развилке, было еще одно предзнаменование, да такое, что хуже уж и не придумаешь. Сойдя с телеги и благословив старичка, Пелагия увидела в стороне кучку людей, столпившихся возле какой-то повозки и что-то там молчаливо разглядывавших. По прирожденному любопытству не могла сестра пройти мимо такого события и подошла посмотреть, что там за диковина. Протиснулась меж мужиков и богомольцев, прищурилась через очки: самое обыкновенное дорожное происшествие — сломалась ось. Но возле покривившейся повозки отчего-то торчал исправник и крихтели двое полицейских стражников, насаживая колесо на свежесрубленный и кое-как зачищенный дубок. Исправник был знакомый, капитан Нерушайло из ближнего Черногоярского уезда, а в повозке лежало что-то продолговатое, прикрытое брезентом.

— Что, Пахом Сергеевич, утопленник? — спросила Пелагия, поздоровавшись и на всякий случай перекрестив брезент.

— Нет, матушка, пострашнее, — с загадочным видом ответил исправник, вытирая платком малиновую плешь. — Река двух улюкойников выкинула. Безголовых. Мужчина и отрок. Так на песке рядышком и лежали. Вот какая оказия. Расследование будет, по всей форме. Везу вот в губернию на опознание. Хоть как их опознавать, черт разберет. Прошу прощения, само сорвалось.

Пелагия «черта» с плеча стряхнула, чтоб не лип, и перекрестила уже не мертвецов, а себя.

— Это не наши, — сказали в толпе. — У нас такого душегубства отродясь в заводе не было.

— Да, — согласился кто-то. — Не иначе как с Нижнего принесло, там у них сильно шалят.

Это мнение было встречено всеобщим одобрением, потому что заволжане нижегородцев недолюбливают, считая их народишком вороватым и никчемным.

— Ваше благородие, показал бы, что за люди. Вдруг да узнаем, — попросил борода в хорошем казакине — солидный человек, и видно, что не из одного любопытства, на мертвяков поглазеть.

Многие просьбу поддержали, а бабы хоть и поохали, но больше из приличия.

Исправник надел фуражку, немного подумал и снизошел.

— А что ж, и покажу. Вдруг и вправду...

Сдернул Пахом Сергеевич покров, и Пелагия сразу отвернулась, потому что трупы были совсем голые, монахиня на такое смотреть не пристало. Успела только увидеть, что у большого, волосатого, левая рука, где полагается кисти быть, заканчивается сыромятным обрубком.

— Ой ты, Господи, мальчонка-то малой совсем, — запричитала какая-то из баб. — У меня Афонька такой же.

Дальше Пелагия смотреть не стала, потому что послушание есть послушание, и зашагала проселком к Дроздовке.

Что-то душно становилось, и от земли поднималось некое струение, как бывает в жаркий день перед дождем. Пелагия ускорила шаг, поглядывая на небо, по которому, быстро набухая, катилась круглая, плотно сбитая туча. Впереди виднелась ограда парка, и над деревьями зеленела крыша большого дома, но до него пока еще было далековатко.

Ничего, не размокну, сказала себе монахиня, но настроение у нее было уже совсем не то, что прежде. Сестру Пелагию одолевало недостойное чувство — зависть. Вот это настоящее дело, думала она, вспоминая, как важно произнес Пахом Сергеевич вкусное слово «расследование».

Кому страшную тайну разгадывать, а кому разбираться, от чего околел тетенькин брудастый. Ну и послушание дал владыка.

II

ТУЧИ НАД ЗАВОЛЖСКОМ

Пусть сестра Пелагия пока идет себе под быстро темнеющим небом к железным воротам дроздовского парка, мы же тем временем сделаем отступление, чтобы разъяснить некоторые тайны нашей губернской политики, а также представить персон, которым суждено сыграть ключевую роль в этой темной и запутанной истории.

Как уже было сказано, Заволжская губерния обширна, но находится вдали от вместилища центральной власти и с давних времен была не то чтобы совсем предоставлена самой себе, но очень мало осенена вниманием со стороны высших сфер. Ничего желанного для сих сфер в Заволжье нет — всё леса, да реки, да озера, в особенности же много болот, и таких, что в годы Смуты где-то в здешних трясинах сгинул целый ляшский обоз, отправленный Самозванцем на поиски волшебного Злата Камня.

Глухомань, тмутаракань, медвежий угол. И жители здешние тоже отчасти похожи на медведей, такие же нерасторопные и косматые. Бойкие нижегородцы и торова-тые костромичи придумали глупую присказку: заволжане все бока отлежали. Что ж, заволжане и в самом деле суеты и проворства не любят, соображают не резво и перпетуум-мобилей, верно, не изобретут. Хотя как сказать. Тому несколько лет в деревне Рычаловке, что в ста двадцати верстах от Заволжска, один пономарь придумал подъемник — на колокольню ехать. Леню ему, видишь ли, стало каждый день по восьмидесяти крутым ступенькам вверх-вниз бегать. Посадил на длинные постромки стул со спинкой, понатыкал каких-то шестеренок, рычажков, и что вы думаете — взлетал под небеса в две минуты. Сам влады-

ка приезжал посмотреть на этокое чудо. Подивился, покачал головой, прокатился на диво-стуле и раз, и два, а после велел всю конструкцию разобрать, потому что в колокол положено звонить со смирением, благоговейно запыхавшись, да и ребятишкам лишний соблазн. Пономаря Митрофаний отправил в Москву учиться на механика, а вместо него прислал другого, мозгами поскучнее. Но этот проблеск самородного гения скорее является исключением. Признаем честно, что в купности своей завояжане тугодумы и ко всякой новизне подозрительны.

И губернатора нынешнего, Антона Антоновича фон Гаггенау, у нас сначала приняли неодобрительно, потому что, пропитавшись духом благоустроительных реформ, задумал он перевернуть доверенную ему область с ног на голову, причем утверждал, что, наоборот, поставит ее с головы на ноги. Однако уберег Господь заволжан от излишних потрясений. Попал молодой реформатор под влияние Митрофания, смирил гордыню, остепенился, а в особенности после того, как по благословению преосвященного женился на лучшей местной невесте. Для этого барону, конечно, пришлось перейти из лютеранства в православие, и его духовным отцом стал не кто иной, как владыка. До того прижился у нас господин фон Гаггенау, что когда за примерное управление губернией был зван в столицу на министерство — отказался, рассудив, что тут ему лучше. В общем, был немец, да весь вышел. Раньше, бывало, по вечерам глинтвейн из маленькой фарфоровой кружечки попивал и сам с собой на виолончели играл, а теперь к клюквенной настойке пристрастился, на Крещение в проруби купается и после того из парной часа по три не выходит.

И, как положено настоящему русскому человеку, пребывает губернатор под каблучком у жены. Впрочем, у такой особы, как Людмила Платоновна, находиться под каблучком отрадно и приятно, такого рабства многие бы

пожелали. Родом она из Черемисовых, первойшей заволжской фамилии, еще Петром Великим возведенной из купеческого звания в графское достоинство. Девушкой Людмила Платоновна была тонка и нежна мыслями, но после рождения четверых маленьких барончиков поменяла комплекцию и обзавелась приятной взору пышностью, отчего красота ее еще более выиграла. Ясноглазая, румяная, полнорукая, преодолев тридцатилетний рубеж, баронесса стала являть собой совершеннейший образчик истинно русской красоты, к которой немцы сухопарой и плешастой наружности (к числу коих относился и Антон Антонович) испокон веков проявляют душевное и телесное влечение. Людмила Платоновна свою силу над мужем очень быстро поняла и стала привольно пользоваться ею по своему усмотрению, но вреда для губернии от этого до поры до времени никакого не проистекало, потому что, будучи женщиной сердечной и чувствительной, госпожа фон Гагенау все свои немеренные силы отдавала благотворительной и богоугодной деятельности, так что даже и владыка находил ее воздействие на супруга полезным в смысле смягчения остзейской деревянности, отчасти свойственной барону в сношениях с людьми. Правда, в связи с последними событиями Митрофаней был вынужден переменить суждение насчет женского засилья, но об этом не здесь, а чуть далее.

Пожалуй, единственным лицом (разумеется, не считая владыки, на чей авторитет Людмила Платоновна, впрочем, никогда и не думала покушаться), с влиянием которого губернаторша, несмотря на все свои усилия, совладать так и не сумела, был доверенный советчик барона Матвей Бенционович Бердичевский, занимавший должность товарища прокурора окружного суда. История этого чиновника не совсем обычна и заслуживает быть рассказанной поподробнее.

Матвей Бенционович из бывших иудеев и тоже, подобно губернатору, крестник владыки Митрофания. До вхождения в лоно православной церкви звался неблагозвучным именем Мордка, каковое и поныне со злорадством употребляют его недруги — конечно, за глаза, потому что близость Матвея Бенционовича к власти всем хорошо известна. Будущий губернаторов наперсник появился на свет в самой что ни на есть лядашей семье, да в раннем возрасте еще и осиротел, вследствие чего, согласно заведенному у нас с некоторых пор обычаю, был принят на казенный кошт сначала в четырехклассное училище, а затем, ввиду редкостных способностей, и в гимназию. Митрофаний рано заметил даровитого отрока, по окончании гимназического курса определил в Санкт-Петербургский университет. Бердичевский не стусевался и в столице, закончил курс первым, с отличительным дипломом, и получил право выбирать любое место службы, хоть бы даже и в министерстве юстиции, однако предпочел Заволжск. Еще бы, умнейший человек, и нисколько не прогадал. Кто бы он был в Петербурге? Провинциал, плебей жидовского роду и племени, что, как известно, еще хуже, чем быть вовсе без роду и племени. А у нас его приняли ласково. И место хорошее дали, и невесту славную сосватали. Митрофаний всегда говорил, что мужчину делает жена, и для наглядности пояснял свою идею при помощи математической аллегории. Мол, мужчина подобен единице, женщина — нулю. Когда живут каждый сам по себе, ему цена небольшая, ей же и вовсе никакая, но стоит им вступить в брак, и возникает некое новое число. Если жена хороша, она за единицей становится и ее силу десятикратно увеличивает. Если же плоха, то лезет наперед и во столько же раз мужчину ослабляет, превращая в ноль целых одну десятую.

Для Матвея Бенционовича владыка подобрал девушку хорошую и домовитую, из обер-офицерских детей.

Зажили они в любви и согласии, а плодиться принялись так, что за первые десять лет супружества, истекшие как раз к началу нашего повествования, произвели на свет двенадцать потомков обоего (но по преимуществу женского) пола.

При желании Бердичевский мог бы занять и иную, более видную должность, хоть бы даже и председателя окружного суда, но по складу характера и природной конфузливости предпочитал держаться в тени; советы власти давал не в присутствии и не на ареопагах, а больше келейно, за чаем или тихой игрой в преферанс, до которой Антон Антонович был большой охотник. И обвинителем на процессах Матвей Бенционович тоже выступать не любил, ссылаясь на гнусавый голос и несчастливую внешность. Собою он и вправду был не красавец — кривоносый, дерганый, и одно плечо заметно выше другого. Его номинальный начальник окружной прокуратуры Силезиус, мужчина представительный, но очень глупый, читая в суде составленные Бердичевским речи, нередко срывал бурные овации, а Матвей Бенционович только вздыхал и завидовал.

Положение сего новоявленного *eminence grise** зиждилось на двух заволжских китах — владыке и губернаторе, но вот третий из китов, прекрасная Людмила Платоновна, хитроумного еврея не жаловала. Однако конфронтация между Бердичевским и баронессой носила характер не свирепой вражды, а скорее ревнивого соперничества, так что в прощенное Воскресенье обе стороны непременно друг перед другом каялись и чистосердечно друг друга же прощали, что вовсе не мешало соперничеству после Пасхи длиться и далее.

Увы, этому идиллическому, или, как по некоторой склонности к цинизму выражался сам Матвей Бенционович, *травоядному*, противостоянию пришел конец, когда

* серый кардинал (фр.).

на мирном заволжском горизонте возникла грозовая туча. Принесло ее холодным западным ветром со стороны лукавого, недоброго Петербурга.

* * *

Как-то вечером, тому три недели, полицейскому солдату, что стоит для порядка у въезда в город и по старой привычке называется у нас будочником, было видение. В дальнем конце Московского тракта, над которым, придушив закат, наливались густым фиолетом грозовые тучи, показалось облачко пыли, приближавшееся к Заволжску с небывалой для местных обычаев быстротой. Некоторое время спустя будочник услышал гортанное, клекочущее погикивание явно нехристианского звучания и уже тогда захотел перекреститься, да поленился (добавим от себя, зря). Вскоре после этого из пыльного шара, ходко катившегося по шоссе, вырвалась пара взмыленных вороных с выпученными от усердия безумными глазами, а над ними высвистывал кнутом чернобородый разбойник в косматой папахе и латаной черкеске, по-орлиному клекоча и свирепо вращая такими же кровавыми, как у коней, глазами. От этакого зрелища будочник разинул рот и даже подорожную не спросил. Разглядел только в окошке какого-то седого, благообразного человека, милостиво ему кивнувшего, а в глубине кареты еще и второго, но смутно — только остроносый профиль и сверкнувший пугающим блеском глаз. Карета прогрохотала по бульжнику длинной, полутораверстной Московской улицы, пересекла Храмовую площадь и свернула в ворота лучшей заволжской гостиницы «Великокняжеская». И еще, говорят, в ту самую пору как карета мчалась мимо архиерейского подворья, было знамение: невесть откуда налетела стая вороны и согнала с крестов владычьей домово́й церкви мирных сизарей, которые с незапамятных времен держали сей возвышенный пункт за свою исконную вотчину. Впрочем, про нападение воронов, вероятно, врут, потому что в нашем городе вообще врут легко и вдохновенно.

Назавтра уже было известно, что в Заволжск пожаловал ревизующий от Синода, чиновник для особых поручений при самом обер-прокуроре Победине, которого в империи звали не иначе как по имени-отчеству. Скажут: «Константин Петрович вчера опять государю наставление делал» или, к примеру: «У Константин Петровича здоровье на поправку пошло» — и никто не переспросит, что за Константин Петрович такой, — и без того ясно.

Осведомленные в высшей политике люди — те сразу с уверенностью сказали, что Константин Петрович губернией недоволен и что это сулит изрядные неприятности и владыке, и Антону Антоновичу. И причину сразу назвали: недостаточно прилежны заволжские управители в искоренении многоверства и насаждении православия.

Известно также сделалось и про личность ревизующего. Город наш хоть и удален от столиц, но все же не на Луне живем. Есть у нас и хорошее общество, и дочек наша аристократия в Петербург на сезоны вывозит, и письма от знакомых получает. Так что все примечательные и просто любопытные происшествия, случающиеся в большом свете, доходят и до Заволжска.

Владимир Львович Бубенцов обнаружился фигурой куда как любопытной. До прошлогоднего скандала, подробнее описанного не только в частных письмах из Петербурга, но и в газетах, служил он в гвардии, имел славу человека беспутного и опасного, какие не столь уж редко встречаются среди наших блестящих гвардионцев. Рано получил наследство, рано спустил его в кутежах, потом опять разбогател, играя в карты, и играл что-то очень уж удачно, так что и до дузей доходило, но без последствий. У нас ведь начальство к офицерским поединкам снисходительно, если дело обходится без смертельного исхода и тяжких увечий, и даже до некоторой степени поощряет, видя в этих ристалищах укрепление

рыцарского духа и воинской чести. Но, как говорится, повадился кувшин по воду ходить.

Кроме карт, была у Владимира Львовича еще одна страсть — женщины, и слыл он одним из первых столичных ловеласов. И вот соблазнил он одну девицу из незнатной, но вполне уважаемой семьи, да еще обошелся с ней как-то особенно жестоко, так что бедняжка даже пробовала вешаться. Подобных историй за Бубенцовым числилось много, но на сей раз с рук ему не сошло. У соблазненной девицы нашлись защитники, два брата, офицер и студент. Про Владимира Львовича все знали, что он стрелок от Бога, а вернее от черта, что дуэлей он не боится, так как запросто может пулей у противника пистолет из руки выбить и не раз это проделывал. Бретеру, живущему карточной игрой, репутация этакого рода необходима — отлично предохраняет от подозрений в нечистой игре и лишние скандалов.

Понимая, что одним картелем тут удовлетворения не получишь, братья девицы решили сквитаться с обидчиком по-своему. Оба они были смелые, богатырского сложения молодцы, хаживавшие на медведя с рогатиной. Как-то раз подкараулили Владимира Львовича у подъезда квартиры, когда он утром возвращался с очередной игры. Нарочно подгадали, чтобы он был в статском — иначе не избежать бы им суда за оскорбление мундира. Один, студент, сзади схватил Бубенцова за плечи и над землей приподнял, поскольку был много выше ростом, а второй, драгун, отхлестал Владимира Львовича арапником по лицу. И всё это прямо на улице, на глазах у прохожих. Бубенцов сначала брыкался, вырывался, ногами сучил, а когда понял, что не совладать, только жмурился, чтоб глаз не выбили. Когда братья вдоволь натешились, на землю его швырнули, избитый сказал — негромко, но люди услышали: «Дьяволом клянусь: весь род ваш пресеку». Именно так и сказал.

На рассвете следующего дня дрался с обоими, что у нас в России вроде как и не заведено, однако случай был особенный, и секундантам пришлось согласиться.

По условиям Владимир Львович сначала стрелялся со старшим братом. На тридцати шагах, с выходом на барьеры. Бубенцов не дал противнику и на пядь приблизиться, выстрелил сразу. Угодил пулей в такое место, что назвать стыдно. Драгун уж на что был мужчина крепкий, не слюняй, но покатился по земле, пронзительно воя и заливаясь слезами. И притом ясно было, что пуля попала именно туда, куда целил Бубенцов со своей дьявольской меткостью.

Тут же стал с младшим стреляться. А тот дрожит, лицо блее полотна, потому что брат все кричит и лекаря к себе не подпускает. От нервов выстрелил студент первым, не успев толком прицелиться, и, конечно, смазал. Тут-то Владимир Львович над ним и покуражился. Поставил на самый барьер, в десяти шагах, и долго дуло наводил. Секунданты уж думали, пожалеет мальчишку, попугает да в воздух выстрелит. Но Бубенцов рассудил по-своему.

Студент стоял перед ним боком, да еще и пистолетом на всякий случай чресла прикрывал. Колени подгибаются, по лицу холодный пот стекает. Только голова всё держится — то на черную дырку бубенцовского дула, то вбок, на раненого брата. Вот Владимир Львович и подгадал момент, когда юноша был профилем повернут — снес ему тяжелой пулей подбородок вчистую.

В общем, убить братьев не убил, а род пресек, как грозился. У старшего потомства отныне быть не могло, а за младшего кто ж теперь пойдет, когда у него лицо снизу фуляром прикрыто, слюна в отстойник стекает, да и говорит так невнятно, что без привычки не разберешь.

История с двойной дуэлью вызвала много шума, и получил Бубенцов суровое наказание — десять лет кре-

пости. Там бы и гнить ему в каменном мешке, но чем-то этот жестокий мститель заинтересовал самого Константина Петровича. Не один, не два и не десять, а много больше раз навещал обер-прокурор узника в каземате, вел с ним тихие, проникновенные беседы о человеческой душе, об истинном смысле православия и о крестном пути России. И такое эти разговоры возымели на Владимира Львовича воздействие, что увидел он свою грешную жизнь совсем в ином свете и устранился. Говорили, что через это прозрение открылся ему дар слезный, и нередко бывало, что они вдвоем с Константином Петровичем вовсе ни о чем не говорили, а просто плакали и молились. Стал арестант склоняться к тому, чтобы постриг принять, а затем, по всей вероятности, и схиму, но Константин Петрович не позволил. Сказал, рано вам еще, недостойны вы служить Властителю Небесному, пока не искупили своей вины перед властителем земным. Мол, послужите-ка сначала на службе невидной, скромной, нестяжательной, поучитесь смирению и благочестию. Бубенцов был согласен и на это, лишь бы угодить своему наставнику. И что же — выпросил обер-прокурор у государя высочайшее помилование для осужденного и взял его к себе в ведомство доверенным чиновником.

Известно, что более всего мы любим не тех, кто сделал нам благо, а тех, кого благодетельствовали сами и кто, по вечному нашему заблуждению, якобы должен испытывать к нам беспредельную признательность. Очевидно, именно поэтому Константин Петрович полюбил спасенного им грешника всей душой и стал возлагать на него немалые надежды, тем более что Бубенцов, по всеобщему признанию, выказал себя работником талантливым и неутомимым. Рассказывают, что он и в самом деле совершенно преобразился, с бретерством покончил полностью, да и с женским полом стал вести себя не в пример осмотрительней. С первой ответственной миссией —

искоренением скопчества в одной из северных губерний — Владимир Львович справился так решительно и энергично, что заслужил наивысшую похвалу от своего благодетеля и, более того, был удостоен высочайшей аудиенции. Разумеется, на всякого любимца Фортуны сыщутся и злые языки. Про нового обер-прокурорского фаворита говорили, что он озабочен не столько великим будущим России, сколько своим собственным в этой будущей России будущим, но, в конце концов, разве не приложим сей упрек ко всем государственным мужам, за очень редким исключением?

Вот какого необычного посланца направила высшая церковная власть в сонное заволжское царство, чтобы произвести в нем переворот и смятение. А метода, к которой прибег Владимир Львович для достижения своих пока еще не вполне ясных целей, была настолько оригинальна, что заслуживает подробного описания.

* * *

Первым делом эмиссар Святейшего Синода сделал ряд визитов, причем начал с губернатора, как того требовали учтивость и официальный характер поездки.

Антон Антонович, уже получивший о столичном госте все указанные выше сведения, ожидал увидеть неофита, этакого Матфея-мытаря, самую опасную разновидность вероблюстительского племени, и потому заранее настроился на крайнюю осторожность. Зато Людмила Платоновна, чью фантазию потрясло не столько духовное возрождение сего Кудеяра, сколько его былые прегрешения, была настроена решительно и непримиримо, хоть внутренне немножко и замирала сердцем. Губернаторше рисовалось, как в ее уютной гостиной объявится inferнальный красавец, погубитель невинных дев, волк в овечьей шкуре, и приготовилась, с одной стороны, не поддаться его сатанинским чарам, а с другой, с самого начала поставить супостата на место, ибо Заволжск — это ему не

развратный Санкт-Петербург, где женщины легкодоступны и безнравственны.

Нечего и говорить, что с такой репутацией, как у Бубенцова, да еще на провинциальном безрыбье, любой мужчина, хоть бы и не слишком авантажной наружности, имел бы все шансы показаться если не писанным красавцем, то по крайней мере «интересным типажем».

И все же в первую минуту губернаторша испытала глубокое разочарование. В гостиную с поклоном вошел субтильный, если не сказать щедедушный, господин на вид лет тридцати, до чрезвычайности подвижный в суставах («вихлястый» — определила Людмила Платоновна, любившая формулировки емкие и простые). Впрочем, справедливости ради признала она, визитер был отлично сложен, а во всей его узкой фигуре ощущалась упругая гибкость рапирного клинка, но это делало Владимира Львовича невыигрышно похожим на местного франтика мсье Дюдеваля, учителя танцев из Заволжского пансиона благородных девиц. И лицом Бубенцов оказался не красавец: черты острые, хищноватые, нос клювом, светлые немигающие глаза чем-то напоминают совиные. Некоторую привлекательность этой физиономии, пожалуй, придавали только брови вразлет и пушистые ресницы. Людмила Платоновна предположила, что ими-то он своих несчастных жертв и соблазнял. Однако для того, чтобы понравиться хозяйке губернаторского особняка, требовались достоинства посущественней, что она и дала ему понять, не дав руки для поцелуя.

При начале разговора петербургский ферт понравился ей и того меньше. Голос у него оказался негромкий, ленивый, с небрежным растягиванием гласных. По лицу вяло гуляла скучливо-любезная улыбка.

Впоследствии, когда заволжане получили возможность узнать Владимира Львовича получше, стало ясно, что такова была его обычная манера при первой беседе с не-

знакомыми людьми, если только он не поставил себе цели произвести на собеседника некое особенное, нужное ему впечатление. Тем сильнее был эффект внезапных метаморфоз, когда вялость и пустословие сменялись напором и неожиданными touché* — этим приемом Бубенцов владел в совершенстве.

С бароном и баронессой он завел разговор о всяких пустяках, к цели поездки никакого отношения не имевших: об утомительности дороги, о последних модах, о преимуществах английских лошадей перед арабскими. Антон Антонович слушал внимательно, поддакивал и прикидывал, насколько опасен сей болтун. Сам при этом изображал благонамеренную туповатость, что, заметим, у него замечательно получалось. Вывод у барона получился неутешительный: кажется, опасен, и даже весьма.

Людмила Платоновна из принципа в светской беседе участия не принимала, сидела с суровым видом, неприязненно разглядывала удивительно маленькие, изящные руки опасного чиновника, поигрывавшие кружевным веером (вечер выдался душный), и думала — тоже граф Нулин выискался.

В пять минут гость сообразил, кто из этих двоих главней, и на губернатора смотреть почти перестал, а говорил, обращаясь исключительно к губернаторше. Создавалось впечатление, что ему доставляет удовольствие раздражать Людмилу Платоновну скучающим, снисходительным взглядом из-под своих превосходных ресниц. От этого возмутительного разглядывания она чувствовала себя очень неуютно, будто вышла к гостю не вполне одетой.

А ближе к концу получасового визита случилось вот что. В залу заглянул секретарь, и барон, извинившись, отошел к столу подписать какую-то важную бумагу (собственно, даже известно какую — об освобождении книж-

* укол в фехтовании (фр.).

ной торговли от акцизных сборов). Тут Бубенцов все так же лениво, не меняя тона и выражения лица, спросил:

— Я слышал, любезная Людмила Платоновна, вы сильно благотворительностью увлекаетесь? Будто бы прямо рук не покладаете? Похвально, похвально...

Покоробленная тоном, каким были произнесены эти слова, губернаторша сухо и даже язвительно ответила:

— А разве есть времяпрепровождение более достойное для женщины моего положения?

Удивленно приподнялась ровная, будто нарисованная бровь, один мерцающий глаз воззрился Людмиле Платоновне прямо в душу, второй же, наоборот, прищурился и стал почти не виден.

— Ну и вопрос. Сразу видно, что вы никогда не любили и даже, кажется, вообще не знаете, что такое любовь.

Хозяйка вспыхнула, но не нашлась что сказать, да и вообще усомнилась — не прислышалось ли, потому что странные слова были произнесены безо всякого выражения. Тут и Антон Антонович вернулся, так что момент для отпора в любом случае был упущен.

Гость еще минут пять после этого болтал про какую-то ерунду, но губернаторша смотрела на него уже по-другому — то ли с испугом, то ли с неким ожиданием.

А уже откланиваясь и подойдя к ручке (на этот раз Людмила Платоновна почему-то поцелую не противилась), инспектор шепнул:

— Так ведь вся жизнь меж пальцев протечет. Грех.

Ловкий человек — воспользовался тем, что губернатор в этот момент самозабвенно, до челюстного хруста зевал, деликатно прикрыв рот сухой ладонью, и потому слышать нахальных слов не мог.

Только всего и было. Но, ко всеобщему, и более всех самого Антона Антоновича, удивлению, с того дня Людмила Платоновна стала отличать петербуржца — можно сказать, взяла под свое покровительство. Он повадился

часто бывать на ее половине и входил запросто, без доклада. И тогда по губернаторскому дому разносились звуки рояля, пение в два голоса и веселый смех. Антон Антонович сначала пытался участвовать в веселье, однако очень мучился явной своей излишностью, удалялся якобы для неотложных дел и потом мучился еще больше в тиши кабинета, ломая белые сухие пальцы. Были и выезды в узком кругу на пикник, и катания на лодке, и прочие дозволенные приличиями развлечения. Возможно, Владимиром Львовичем руководила искренняя симпатия к баронессе, которая, как мы уже упоминали, блистала и красотой, и качествами души, но несомненно и другое: тесная дружба с самой влиятельной женщиной губернии была нужна синодскому комиссару и для иных целей.

* * *

Прямо от супругов фон Гагенау вновь прибывший отправился с визитом к почтмейстерше Олимпиаде Савельевне Шестаго, хозяйке салона, оппозиционного губернаторскому. Общество Заволжска в ту пору было поделено на две негласные партии, которые можно условно определить как консервативную и прогрессистскую (последнюю еще иногда по старой памяти называли либеральной, хотя в нынешней России это слово решительно выходит из моды). Оба лагеря возглавлялись женщинами. Консервативная партия, как тому и надлежит быть, являлась правящей, и истинным ее вождем была Людмила Платоновна. Большинство чиновников и их жен по положению, роду деятельности и естественным убеждениям тяготели именно к этому штандарту.

В партию оппозиционную входили в основном люди молодые и дерзкие из числа учителей, инженеров и телеграфно-почтовых служащих, причем политическая окраска последних определялась принадлежностью к ведомству, которым руководил супруг Олимпиады Савельевны, на-

ходившийся в совершеннейшем рабстве у своей половины. Госпожа Шестаго в городе почиталась за красавицу, но совсем в ином роде, нежели губернаторша: брала не статностью и милодушием, а, напротив, худобой и злоязычием, или же грациозностью и интеллектуализмом, как определяла эти достоинства сама Олимпиада Савельевна. Происходила сия дама из рода купцов-миллионщиков и принесла мужу в приданое триста тысяч, о чем не забывала напомнить ему при малейшем помрачении семейного небосвода, по большей части исключительно безоблачного. В ее богатом, хлебосольном доме поощрялись такие экзотические для Заволжья обычаи, как безбожие, чтение запрещенных газет и вольные рассуждения о парламентаризме. На четверги Олимпиады Савельевны всякий мог приходиться запросто, и приходили очень многие, потому что, как было сказано, стол отличался обилием, да и разговоры по провинциальным меркам случались интересные.

Поскольку день первых визитов Бубенцова выпал как раз на четверг, он и заявился в стан прогрессистов, не озаботясь быть приглашенным, что — как и сам факт посещения почтмейстерши — свидетельствовало о доскональном знании обычаев и расстановки сил в губернии.

Появление петербуржца произвело среди либералов настоящий фурор, так как между собой они уже решили, что этот агент реакции прислан именно из-за них, искоренять в заволжском обществе вольнодумство и крамолу. С одной стороны, это было тревожно, с другой, пожалуй, приятно (еще бы, сам обер-прокурор обеспокоен заволжскими карбонариями), но больше все-таки тревожно.

Однако «агент реакции» оказался вовсе не страшен. Во-первых, он выказал полнейшее отсутствие всякого обскурантизма и совершенно свободно говорил о новой литературе — о графе Толстом и даже о французской натуральной школе, о которой в городе пока знали больше

понаслышке. Изрядное впечатление произвел и острый как бритва язык гостя. Когда инспектор народных училищ Илья Николаевич Федякин, слышший у прогрессистов язвой, каких мало, попробовал дать чересчур самоуверенному говоруну укорот, выяснилось, что Владимир Львович туземному зоилу не по зубам.

— Приятно слышать такие смелые суждения из уст служителя богобоязненности, — сказал Илья Николаевич, иронически щури глаза и поглаживая бороду, что у него обозначало нешуточное раздражение. — С обер-прокурором, поди, частенько этак вот о физиологической любви у Мопассана рассуждаете?

— «Физиологическая любовь» — это масло масляное, — тут же срезал оппонента Бубенцов. — Или у вас в Заволжске все еще преобладает романтический взгляд на отношения между полами?

Олимпиада Савельевна даже покраснела — так неловко ей стало перед умным человеком, что Федякин сидит у нее на самом почетном месте, во главе стола, и поспешила высказаться против всякого ханжества и притворства в половом партнерстве.

С почтмейстершей проворный петербуржец поступил еще решительней, чем с губернаторшей. Когда уходил — раньше всех прочих гостей, словно давая им возможность обстоятельно перемыслить ему косточки, — Олимпиада Савельевна, к тому времени уже совершенно ослепленная столичным блеском, вышла проводить дорогого гостя в прихожую. Протянула руку для пожатия (целовать у прогрессистов, разумеется, было не в заводе), и Бубенцов руку взял, но не за кисть, а за локоть. Мягким, но паразитично властным движением притянул хозяйку к себе и, ни слова не говоря, поцеловал в уста так крепко, что у бедной Олимпиады Савельевны, которую за все двадцать девять лет жизни никто еще так не целовал, ноги сделались будто ватные и потемнело в глазах. К гостям она

вернулась вся розовая и самым энергичным образом предвела попытки мстительного Ильи Николаевича денигрировать ушедшего.

Таким образом, посланец Константина Петровича в первый же день пребывания в губернии завел приятные отношения с обеими заволжскими царицами, причем дружба с Олимпиадой Савельевной была особенно приятна еще и тем, что дом этой дамы непосредственно примыкал к зданию почтамта, где директорствовал ее супруг, с которым Бубенцов очень скоро тоже оказался на приятельской ноге, так что без церемоний заходил к нему в кабинет и имел неограниченный доступ к единственному на все Заволжье телеграфному аппарату. Этой привилегией Владимир Львович усердно пользовался и даже обходился без помощи телеграфиста, поскольку, как выяснилось, превосходно умел обращаться с хитроумной машиной Бодо. Иной раз бывало, что синодский инспектор заглядывал на почтамт и за полночь, что-то там отправлял, получал и вообще держался как у себя дома.

* * *

Но если среди местных дам триумф балтийского варяга был сокрушителен и несомненен, то с мужчинами вышло менее гладко.

Единственным явным завоеванием на этом поприще (почтмейстер Шестаго не в счет, потому что лицо несамостоятельное) для Бубенцова стал союз с полицмейстером Лагранжем.

На то имелись свои причины. Феликс Станиславович Ягранж в городе был человеком новым, присланным взамен недавно почившего подполковника Гулько, многолетнего верного помощника во всех начинаниях Антона Антоновича и владыки Митрофания. Покойника у нас все любили, все к нему привыкли, и министерского назначения приняли настороженно. Новый полицмейстер был мужчина крупный, красивый, с аккуратными височка-

ми и живописно нафабранными усами. Вроде и услужлив, и к начальству почтителен, но архиерею не понравился — сам напросился ходить к преосвященному на исповедь, а слова говорил неискренние и чересчур интересничал по части набожности.

Заволжск полицмейстеру тоже не угодил. Прежде всего тем, что очень уж смирен и бессобытиен. По счастью, в губернии вовсе отсутствует революционная зараза, потому что до Митрофания и барона она завестись не успела, а после было не с чего. Ни больших мануфактур, ни университетов у нас нет, особенных социальных несправедливостей тоже не наблюдается, а какие есть, на те можно пожаловаться начальству, так что бунтовать вроде бы и незачем. Вопреки государственному обыкновению, в губернии даже нет собственного жандармского управления, потому что раньше, когда было, служащие от безделья спивались или впадали в меланхолию. Полицейстер в Заволжске заодно ведает и всеми делами жандармской части, на что первоначально и польстился Феликс Станиславович, когда соглашался на это назначение. Это уж он потом понял, как жестоко подшутила над ним судьба.

Обстоятельства, при которых завязалась дружба Бубенцова с полицейским предводителем, остались неведомы для местных жителей, хотя от их внимания вообще-то мало что укрывается, и произошло это сближение так стремительно, что возник слух: инспектор в губернию не просто так припожаловал, а по тайной ябеде Лагранжа, который решил не мытьем, так катаньем обратиться к своей персоне взоры высшей власти. Во всяком случае, после прибытия синодального инквизитора Феликс Станиславович произвел демонстрацию — вовсе перестал ходить на исповедь к преосвященному.

Итак, в считанные дни Бубенцов произвел в Заволжске настоящий *coup d'etat**, захватив почти все страте-

* государственный переворот (фр.).

гические пункты: администрацию в лице Людмилы Платоновны, полицию в лице Феликса Станиславовича и общественное мнение вкупе с почтой и телеграфом в лице Олимпиады Савельевны. Оставалось прибрать к рукам власть церковную и судебную, но тут-то и вышла осечка.

* * *

Владыка, к которому Бубенцов явился в пятницу, наутро после первых своих визитов, был с непрошеным проверяльщиком суров и, уклонившись от пустых разговоров, сразу спросил, в чем, собственно, состоят цель приезда и полномочия синодального эмиссара. Владимир Львович немедленно переменял манеру (а начинал этот постно-благостно, с цитатами из Священного Писания) и коротко, деловито изложил суть своей миссии:

— Владыко, вам отлично известно, что современная государственная линия в отношении религиозного обустройства России заключается во всемерном усилении руководящей и наставляющей роли православия как духовной и идейной опоры империи. Держава наша велика, но неустойчива, потому что одни верят в Христа трехперстно, другие двуперстно, третьи слева направо, пятые признают Иегову, а Христа отвергают, шестые и вовсе поклоняются Магомету. Думать можно и должно по-разному, но вера у многонационального народа, который хочет остаться единым, должна быть одна. Иначе нас ждут раздор, междуусобица и полный крах нравственности. Вот в чем состоит кредо Константина Петровича, и государь придерживается того же взгляда. Отсюда и настойчивые требования, с которыми Святейший Синод обращается к архипастырям тех губерний, где многочисленны иноверцы и схизматики. Из западных, из балтийских, даже из азиатских губерний архиереи ежемесячно доносят о тысячах и десятках тысяч обращенных. Из одного только Заволжья, где процветают и раскол, и магометанство, и даже язычество, никаких отрадных вестей не

поступает. Заявляю прямо: я прислан сюда прежде всего для разъяснения, чем вызвана эта пассивность — неумением или нежеланием.

Владимир Львович сделал уместную для сих слов паузу и продолжил уже значительно мягче:

— Ваше бездействие наносит ущерб монолитности империи и самой идее российской государственности, подает скверный пример прочим архиереям. Я с вами, владыко, совершенно откровенен, поскольку вижу в вас натуру практическую, а вовсе не прекраснодушного мечтателя, каким представляют вас некоторые у нас в Петербурге. Так что давайте говорить без экивоков, по-деловому. У нас с вами есть общий интерес. Нужно, чтобы здесь, в Заволжье, произошло настоящее торжество истинноверия — поголовный переход староверов в лоно православия, многотысячное крещение башкиров или еще что-нибудь столь же впечатляющее. Это будет спасительно для вас, поскольку ваша епархия выйдет из числа опальных, и весьма полезно для меня, потому что эти свершения станут прямым результатом моей поездки.

Видя недовольство на лице собеседника и ошибочно приняв эту гримасу за сомнение, Бубенцов добавил:

— Ваше преосвященство не знает, как взяться за дело? Не извольте беспокоиться. Для того я и прислан. Отлично все устрою, только не ставьте мне палок в колеса.

Владыка, как человек и в самом деле прямой, не стал ходить вокруг да около и ответил в том же тоне:

— Это ваше кредо — вредная глупость. Константин Петрович не вчера на свет родился и не хуже меня понимает, что насильно никого к иной вере не склонишь, и речь может идти лишь о следовании тому или иному религиозному обряду, а это в смысле монолитности государства никакого значения не имеет. Полагаю, что господин обер-прокурор преследует какие-то иные цели, к вере касательства не имеющие. Например, внедрение полицейских способов правления и в сферу духовную.

— Ну и что с того? — хладнокровно пожал плечами Бубенцов. — Наша с вами империя если и устоит, то лишь благодаря усилию воли, проявленному властью предержавшей. Всякий инакомыслящий и инаковерующий должен ежечасно помнить о том, что за ним есть досмотр и пригляд, что баловать и своенравничать ему не дадут. Свободы — это для галлов и англосаксов, наша же сила — в единстве и послушании.

— Вы мне толкуете про политику, а я вам про человеческую душу. — Митрофаній вздохнул и далее сказал такое, чего не следовало бы. — У меня в епархии новообращенных мало, потому что не вижу резона раскольников, мусульман и немецких колонистов в православие переманивать. По мне, пусть всякий верует как хочет, только бы в Бога веровал, а не в дьявола. Вели бы себя по-божески, и довольно будет.

Бубенцов, блеснув глазами, сказал — вкрадчиво, но с неприкрытой угрозой:

— Интересное суждение для губернского архиерея. Отнюдь не совпадающее с мнением Константина Петровича и государя императора.

К сему моменту Митрофанию уже всё стало ясно и про посетителя, и про его дальнейшие вероятные демарши, поэтому владыка не церемонясь поднялся, показывая, что разговор окончен:

— Знаю. Оттого и сообщаю вам свое суждение без свидетелей, для полной меж нами недвусмысленности.

Поднялся и Бубенцов, коротко сказал с поклоном:

— Что же, за откровенность благодарю.

Удалился и более своими посещениями архиерейское подворье не обременял. Объявление войны было сделано и принято. Наступила пауза, обычная перед началом генеральной баталии, и ко времени, когда начинается наша история, это затишье еще не окончилось.

* * *

Вскоре после неудачного наступления на твердыню веры последовал набег на опору правосудия. Просвещенный сво-

ими доброхотами, к тому времени уже многочисленными, Бубенцов подступился не к председателю окружного суда и не к окружному прокурору, а к помощнику сего последнего Матвею Бенционовичу Бердичевскому.

Беседа состоялась в Дворянском клубе, куда Матвея Бенционовича приняли сразу же по выслуге им личного дворянства на основании рекомендации барона фон Гагенау. В клуб Бердичевский заглядывал частенько, и не из фанаберии, свойственной выскочкам, а по более прозаической причине: дома у многодетного товарища прокурора царил такой шахсей-вахсей, что даже сему чадолюбивому отцу семейства иной раз требовалась передышка. Обыкновенно Матвей Бенционович сидел вечером один в клубной библиотеке и играл сам с собой в шахматы — достойных противников по этой мудреной игре в нашем городе у него не было.

Владимир Львович подошел, представился, предложил сыграть. Получил право первого хода, и на какое-то время в библиотеке воцарилась полная тишина, лишь изредка по доске звонко постукивали малахитовые фигурки. К удивлению и удовольствию Бердичевского, соперник ему попался нешуточный, так что пришлось повозиться, но все же мало-помалу черные стали брать верх.

— Процессик бы, — вздохнул вдруг Бубенцов, прервав молчание.

— Что-с?

— Мы ведь с вами одного поля ягоды, — душевно сказал Владимир Львович. — Лезем вверх, срывая ногти, а все вокруг только и норовят спихнуть вниз. Вы — выкrest, вам трудно. Вся ваша опора — губернатор и владыка. Однако уверяю вас, ни первый, ни тем более последний долго не продержатся. Что с вами-то будет? — Поставил слона, объявил: — Гарде.

— Процессик? — переспросил Матвей Бенционович, сосредоточенно глядя на доску и вертя пальцами кончик

своего длинного носа (имелась у него такая неприятная привычка).

— Именно. Над раскольниками. Кошунства там какие-нибудь, а еще лучше бы изуверства. Глумление над православными святынями тоже неплохо. Начать надобно с какого-нибудь купчины, из особо почитаемых. У богатого человека мощна всегда впереди веры идет. Как следует прижать — поймет свою выгоду, отступится, а за ним и многие потянутся. Сейчас со староверов, поди, и полиция мзду имеет, и консисторские, и ваши судейские, а тут мы с них возьмем не деньгами — троеперстием, и чтоб непременно с чады, домочадцы и прихлебатели. Каково?

— Не имеют, — ответил Матвей Бенционович, вычисляя какую-то головоломную комбинацию.

— В каком смысле?

— Полиция и консисторские с раскольников. И судейские тоже. У нас в губернии не заведено-с. Пешечку возьму.

— А ферзь? — удивился Бубенцов, но тут же не мешкая ферзя сожрал. — Вот так же и покровители ваши съедены будут, и в самом скором времени. Мне, господин Бердичевский, понадобится в помощь опытный законник, хорошо знающий местные условия. Подумайте. Это ведь большой карьерой пахнет, хоть бы даже и не по чисто юридической, а по церковно-судебной части. Там и ваше еврейство не помеха. Многие столпы благозакония происходили из вашей нации, да и сейчас среди выкрестов имеются ревностнейшие пропагаторы православия. И про последствия упрямства тоже подумайте. — Он красноречиво помахал взятым ферзем. — У вас ведь семья. И я слышал, снова прибавление ожидается?

Отчаянно труся и оттого избегая поднимать глаза от доски, Матвей Бенционович пробормотал:

— Извините, сударь, но, во-первых, вам мат. А во-вторых (это он произнес уже совсем почти что шепотом и

с сильным дрожанием голоса) — вы негодяй и низкий человек.

Сказал и зажмурился, вспомнив разом и про двойную дуэль, и про двенадцать детей, и про грядущее прибавление.

Бубенцов усмехнулся, глядя на побледневшего храбреца. Оглянулся, нет ли кого поблизости (никого не было), преобильно щелкнул Матвея Бенционовича по кривому носу и вышел вон. Бердичевский шмыгнул ноздрями, уронил на шахматную доску две вишневые капли, сделал неубедительную попытку догнать обидчика, но в глазах от выступивших слез всё затянулось радужной пленкой. Матвей Бенционович постоял-постоял и снова сел.

* * *

И теперь осталось только рассказать про свиту необычного синодального проверяльщика, ибо в своем роде эта пара была не менее колоритной, чем сам Владимир Львович.

Секретарем при нем состоял губернский секретарь Тихон Иеремеевич Спасенный, тот самый благообразного вида господин, что ласково кивнул будочнику из окна черной кареты. По самой фамилии этого чиновника, а еще более по манере держаться и разговаривать было ясно, что происходит он из духовного звания. Говорили, что Константин Петрович приблизил его к своей особе, выдвинув из простых псаломщиков — видно, усмотрел в скромном причетнике нечто особенное. В Синоде Тихон Иеремеевич состоял на должности мелкой, невидной и малооплачиваемой, однако часто бывал удостоен доверительных, с глазу на глаз, бесед с самим обер-прокурором, так что многие, даже и среди иерархов, его побаивались.

К Бубенцову этот тихий как мышь чиновничек был приставлен в качестве ока доверяющей, но проверяющей власти и поначалу выполнял свои обязанности добросовестно, но ко времени прибытия вышеупомянутой кареты в Заволжск совершенно подпал под чары своего временного начальни-

ка и сделался безоговорочным его клеветом, очевидно рассудив, что «никтоже может двема господинома работати». Чем взял его Владимир Львович, нам неизвестно, но думается, что для такого изобретательного и талантливого человека задача оказалась не из трудных. Тихон Иеремеевич сохранил верность своему ремеслу, только теперь шпионил и вынюхивал не во вред Бубенцову, а исключительно ради его пользы — очень возможно, что, будучи человеком дальнего ума, углядел в подобной смене вассальной зависимости для себя выгоду. При невеликом росте и вечной привычке втягивать голову в плечи Спасенный обладал противоестественно длинными, клешастыми руками, свисавшими чуть не до колен, поэтому Владимир Львович первое время звал его Орангутаном, а после приспособил ему еще более обидную кличку Срачица. (Дело в том, что Тихон Иеремеевич отличался истовой набожностью, через слово, к месту и не к месту, употреблял речения из Священного Писания и как-то раз имел неосмотрительность произнести перед своим сюзереном, что во избежание от лукавого носит под сюртуком некую особенную сорочку, которую назвал «освященной срачицей».) На шутки начальника Спасенный, как подобает христианину, не обижался и лишь кротко повторял: «Окропиши мя иссопом и очишуся, омыеши мя и паче снега убелюся».

Губернский секретарь повсюду тенью следовал за Бубенцовым, однако при этом каким-то чудом успевал еще и мелькать в самых неожиданных местах, благо в Заволжске он освоился на удивление быстро. То его видели в храме подпевающим на клиросе, то на базаре торгующимся из-за меда с пасечниками-староверами, то в салоне у Олимпиады Савельевны беседующим со стряпчим Коршем, который считается у нас в губернии первым докой по наследственным делам.

Поразительно, как субъект, подобный Спасенному, мог водиться и даже приятельствовать с зверообразным

бубенцовским кучером. Этот Мурад был суший абрек, разбойник с большой дороги. В Заволжске его окрестили Черкесом, хотя был он не из черкесов, а из какого-то другого горского племени. Ну да кто их там, чернобородых, разберет. Мурад состоял при Владимире Львовиче не только кучером, но и камердинером, и дядькой, а при случае и телохранителем. Никто толком не знал, с чего он был так по-собачьи предан своему господину. Известно лишь, что ходил он за Бубенцовым с самого детства и достался ему в наследство от отца. Бубенцов-старший, из кавказских генералов, когда-то давно, лет двадцать или тридцать назад, спас юного Мурада Джураева от мести кровников, увез с собой в Россию. Может, и еще что-то там было особенное, но этого заволжанам вызнать не удалось, а Мурада расспрашивать храбрости не хватило. Больно уж страшно он смотрелся: башка бритая, лицо всё заросло густым черным волосом до самых глазищ, а зубы такие — руку по локоть откусит и выплюнет. По-русски Мурад говорил мало и нехорошо, хоть прожил среди православных много лет. Веру тоже сохранил магометанскую, за что подвергался миссионерскому просвещению со стороны Тихона Иеремеевича, но пока безрезультатно. Одевался по-кавказски: в старый бешмет, стоптанные чуваки, на поясе — большущий, окованный серебром кинжал. В кривоногой раскачливой походке Мурада, в широких плечах ощущалась звериная сила, и мужчины в его присутствии чувствовали себя скованно, а женщины простого звания пугались и замирали. Как это ни странно, у кухарок и горничных Черкес пользовался репутацией интересного кавалера, хотя обходился с ними грубо и даже свирепо. На второй неделе бубенцовского пребывания заволжские пожарные сговорились с мясниками поучить басурмана уму-разуму, чтоб не портил чужих девок. Так Мурад в одиночку разметал всю дюжину «учителей» и потом еще долго гонялся за ними по улицам, Федьку-

мясника догнал и, верно, убил бы до смерти, если б не подоспел Тихон Иеремеевич.

До убийства не дошло, но некоторые из горожан, кто подальновидней, призадумались, чувствуя в этом скандале, а особенно в том, что полиция не посмела остановить буяна, приближение смутных времен. И то сказать, погромыхивало в губернской атмосфере, и черное небо озабралось пока еще безгласными, но зловещими зарницами.

Однако не слишком ли мы уклонились от основной линии нашего повествования? Сестра Пелагия давно уж вошла в широко распахнутые ворота дроздовского парка, и теперь придется за ней поспевать.

III

МИЛЫЕ ЛЮДИ

Дождь застиг Пелагию в полусотне шагов от ворот. Он полился дружно, обильно, весело, сразу дав понять, что намерен вымочить до нитки не только рясу и платок инокини, но и нижнюю рубашку, и даже вязанье в поясной сумке. И Пелагия утрашилась. Оглянулась, не идет ли кто, подобрала полы и припустила по дороге с замечательной резвостью, чему способствовали занятия английской гимнастикой, которую, как уже говорилось, сестра преподавала в епархиальной школе.

Достигнув спасительной аллеи, Пелагия прислонилась спиной к стволу старого вяза, надежно укрывшего ее своей густой кроной, вытерла забрызганные очки и стала смотреть на небо.

И было на что. Ближняя половина высокого свода сделалась лилово-черной, но не того глухого, мрачного

цвета, какой бывает в беспросветно пасмурные дни, а с маслянистым отливом, будто некий небесный гимназист из озорства опрокинул на голубую скатерть фиолетовые чернила. До отдаленной половины скатерти пятно еще не распространилось, и там по-прежнему царствовало солнце, а по бокам с обеих сторон выгнулись две радуги, одна поярче и поменьше, другая потусклее, но зато и побольше.

А через четверть часа всё поменялось: ближнее небо стало светлым, дальнее темным, и это означало, что ливень кончился. Пелагия сотворила молитву по случаю благополучного избавления от хлябей и зашагала по длинной-предлинной аллее, выведившей к помещицкому дому.

Первым из обитателей усадьбы, встретившихся путнице, был снежно-белый щенок с коричневым ухом, выскочивший откуда-то из кустов и сразу же, без малейших колебаний, вцепившийся монахине в край рясы. Щенок еще не вышел из младенческого возраста, но нрав уже имел самый решительный. Крутя лобастой башкой и сердито порыкивая, он тянул на себя плотную ткань, и было видно, что так просто от этого занятия не отступится.

Пелагия взяла разбойника на руки, увидела шальные голубые глазки, розовый в черную крапинку нос, свисавшие на стороны бархатные щечки, отчего-то перепачканные землей, а иных подробностей рассмотреть не успела, потому что щенок высунул длинный красный язычок и с редкостным проворством облизал ей нос, лоб, а заодно и стекла очков.

На время ослепнув, монахиня услышала, как кто-то ломится через кусты. Запыхавшийся мужской голос сказал:

— Ага, попался! Опять землю где-то жрал, бисово отродье! Извиняй, сестрица, что лукавого помянул. Это его, несмышлениша, тятка с дедом приучили. Уф, спасибо, поймала, а то мне за ним не угнаться. Шустрый, чертяка. Ой, снова извиняй.

Пелагия одной рукой прижала теплое, упругое тельце к груди, другой сняла обляюявленные очки. Увидела перед собой бородатого человека в ситцевой рубашке, плетчатых штанах, кожаном фартуке — по виду садовника.

— Держите Закусая вашего, — сказала она. — Да покрепче.

— Откуда ты его прозвание знаешь? — поразился садовник. — Или бывала у нас? Что-то не вспомню.

— Нам, лицам монашеского звания, через молитву много чего открывается, обычным людям неведомого, — назидательно произнесла Пелагия.

Поверил бородатый, нет ли — неизвестно, но вынул из кармана пятиалтынный и с поклоном сунул инокине в сумку.

— Прими, сестрица, от чистого сердца.

Пелагия отказываться не стала. Самой ей деньги были не нужны, но Богу дарение, хоть бы и малое, в радость, если от чистого сердца.

— Ты в дом-то не ходи, — посоветовал садовник, — не сбивай зря ноги. Наши господа божьим людям милостыни не подают, говорят «принцы».

— Я к Марье Афанасьевне, с письмом от владыки Митрофания, — предъявила свои полномочия Пелагия, и дроздовский житель почтительно сдернул с головы картуз, поклонился, перешел с «сестрицы» на «матушку».

— Что ж сразу не сказали, матушка. А я как дурень с денежкой сунулся. Пожалуйте за мной, провожу.

Шел первым, держа обеими руками извивающегося, сердито повизгивающегося Закусая.

Справа, на лужайке, подле белокаменной беседки бродил чудной господин в широкополой шляпе и крылатке. Он держал под мышкой немалого размера ящик черного лакированного дерева, в руке — длинную треногу с острыми, окованными железом концами. Воткнул треногу в землю, водрузил ящик сверху, и стало ясно, что это фо-

тографический аппарат, которые даже и в нашей отдаленной губернии уже перестали быть редкостью.

Господин оглянулся, на монашку посмотрел мельком, без интереса, а садовнику сказал:

— Что, Герасим, настиг беглеца? А я вот по парку брожу. Снимаю, как пар от земли идет. Редкий оптический эффект.

Красивый был господин, с ухоженной бородкой, длинными вьющимися волосами, сразу видно, что не из местных. Пелагии он понравился.

— Художник это по фотографическим картинам, — пояснил спутнице Герасим, когда немного отошли. — Из самого Питербурха. Гостят у нас. Они Степана Трофимовича, управляющего нашего, приятели. А звать их Аркадий Сергеевич господин Поджио.

Прошли еще шагов сто, а до зеленой крыши было шагать и шагать. Сзади зачмокали копыта, топча слегка размокшую дорожку. Обернулась Пелагия — увидела легкую одноколку, а в ней румяного барина в белой пуховой шляпе и полотняном сюртучке.

— Хорошего здоровьичка, Кирилл Нифонтович, — поклонился Герасим. — К ужину поспешаете?

— А куда ж еще? Тпру, тпру!

Выцветшие маленькие глазки, лучившиеся детски-наивным любопытством, воззрились на Пелагию, круглые щеки сложились складочками в добродушную улыбку.

— Кого это ты, Герасим, конвоируешь? Ого, и наследный инфант при тебе.

— Сестрица барыне послание от владыки несет.

Ездок сделал почтительную мину, приподнял с распаренной лысины шляпу:

— Позвольте отрекомендоваться. Кирилл Нифонтович Краснов, здешний помещик и сосед. Садитесь, матушка, прокачу, что ж вам утруждать. И собакуса давайте прихватим, а то Марья Афанасьевна, поди, без него ску-

част. Глядит с высокого крыльца, не видно ль милого гонца.

— Это из Пушкина? — спросила Пелагия, усаживаясь рядом с симпатичным говоруном.

— Польщен, — поклонился тот, щелкнув кнутом. — Нет, это я сам сочиняю. Строчки льются из меня сами собой, по всякому поводу и вовсе без повода. Только вот в стихотворения не складываются, а то был бы славен не меньше Некрасова с Надсоном.

И продекламировал:

Мои стихи легки, как блохи.
Поверьте мне, мои стихи
Не так уж, в сущности, плохи,
Или, верней, не так уж плохи.

Через минуту-другую уже подъезжали к большому дому, снаряженному всеми атрибутами великолепия, каким оно рисовалось минувшему столетию, — дорической колоннадой, недовольными львами на постаментах и даже медными gros-егерсдорфскими единорогами по краям лестницы.

В прихожей Краснов почему-то шепотом спросил у миловидной горничной:

— Что, Танюша, как она? Видишь, Закусая ей вот доставил.

Синеглазая пухлогубая Танюша только вздохнула:

— Очень плохи. Не едят, не пьют. Всё плачут. Только недавно доктор уехал. Ничего не сказал, головой вот этак покачал и уехал.

* * *

В спальне у больной было сумрачно и пахло лавандовыми каплями. Пелагия увидела широкую кровать, тучную старуху в чепце, полулежавшую-полусидевшую на груди пышных подушек, и еще каких-то людей, рассматривать которых прямо сразу, с порога, было неудобно, да и темновато — пусть сначала глаза привыкнут.

— Закусаюшка? — басом спросила старуха и приподнялась, протягивая дряблые полные руки. — Вот он где, брыластенький мой. Спасибо, батюшка, что доставил. (Это Краснову.) Кто это с вами? Монашка? Не вижу, подойди! (Это уже Пелагии.)

Та приблизилась к кровати, поклонилась.

— Вам, Марья Афанасьевна, пастырское благословение и пожелание скорейшего выздоровления от владыки. С тем и послал меня, инокиню Пелагию.

— Что мне его благословение! — сердито молвила генеральша Татищева. — Сам отчего не пожаловал? Ишь, черницу прислал, отделался. Вычеркну к лешему из духовной всё, что церкви отписано.

Щенок уже был у нее на руках и вылизывал старое, морщинистое лицо, не встречая ни малейшего противодействия.

У ног Пелагии раздался зычный лай, и на постель взгромоздился белыми лапами широкогрудый курносый кобель с обиженно наморщенным крутым лбом.

— Не ревнуй, Закидайка, — сказала ему больная. — Это же твой сынок, кровиночка твоя. Ну, дай и тебя приласкаю.

Она потрепала Закусаева родителя по широкому загривку, стала чесать ему за ухом.

Пелагия тем временем искоса разглядывала прочих, кто находился в спальне.

Молодой человек и девица, вероятно, были внуком и внучкой генеральши. Он — Петр Георгиевич, она — Наина Георгиевна, оба Телиановы, по отцу. Им, надо полагать, и главная выгода от завещания.

Пелагия попыталась представить, как этот ясноглазый, переминающийся с ноги на ногу брюнет подсыпает бедным псам яд. Не получилось. Про девушку, писаную красавицу — высокую, горделивую, с капризно приспущенными уголками рта — плохого думать тоже не хотелось.

— Был еще и мужчина в пиджаке и русской рубашке, с простым и приятным лицом, которому удивительно не шли пенсне и короткая русая бородка. Кто таков — непонятно.

— Пресвященный прислал вам письмо, — сказала Пелагия, протягивая Татищевой послание.

— Что ж ты молчишь? Дай.

Марья Афанасьевна пригляделась к монашке получше. Видно, отметила и очки, и манеру держаться — поправилась:

— Дайте, матушка, прочту. А вы все ужинать ступайте. Нечего тут заботу изображать. Матушка тоже кушать пожалуйте. Таня, ты ей комнату отведи — ту, угловую, в которой давеча Спасенный этот ночевал. И очень складно выйдет. Он Спасенный, а она спасенная, потому что Христова невеста. Если Владимир Львович придет, как грозился, Спасенного этого во флигель отселить. Ну его, противный.

* * *

Обустроив гостью в светлой, опрятной комнатке первого этажа, выходящей окном в сад, словоохотливая Таня рассказывала про то, кто такой Спасенный, что останавливался здесь прежде. Пелагия про Спасенного знала (да и как ей было про него не знать, если на архиерейском подворье в последние недели только и разговоров было, что о синодальном инспекторе и его присных), но слушала внимательно. Правда, Таня почти сразу перешла на бубенцовского черкеса — какой он страшный, а все же таки тоже человек, и ему ласкового слова хочется.

— Как я вечером во дворе с ним повстречалась — задрожала. А он посмотрел на меня своими черными глазами и вдруг как обхватит вот тут. Я аж обмерла вся, а он... — рассказывала Таня полушепотом, недовзбив подушку, да вдруг спохватилась. — Ой, матушка, что это я! Вам про такое слушать нельзя, вы инокиня.

Пелагия улыбнулась милой девушке. Умылась с дороги, потерла мокрой щеткой рясу, чтоб отчистить дорожную пыль. Немножко постояла у окна, глядя в сад. Был он чудо как хорош, хоть и запущен. А может, оттого и хорош, что запущен?

Вдруг где-то близко послышались голоса. Сначала мужской, приглушенный и прерывающийся от сильного чувства:

— Клянусь, я сделаю это! После этого тебе все равно жить здесь станет невозможно! Я заставлю тебя уехать!

Совсем немного любовных речей довелось слышать сестре Пелагии в своей жизни, однако все же достаточно, чтобы сразу определить — это был голос человека безумно влюбленного.

— Если и уеду, то не с вами, — донесся девичий голос еще ближе, чем первый. — И посмотрим еще, уеду ли.

Бедняжка, подумала Пелагия про мужчину, она тебя не любит.

Стало любопытно. Тихонько толкнув створку окна, она осторожно высунулась.

Комната была самая крайняя, справа от окна уже находился угол дома. Девушка стояла как раз на ребре, видная со спины, и то лишь до половины. По розовому платью Пелагия сразу поняла, что это Наина Георгиевна. Жалко только, мужчину из-за угла было не видно.

В этот миг донесся звон колокола — звали к ужину.

* * *

Стол был накрыт на просторной веранде, обращенной балюстрадой и лестницей в сад, за деревьями которого угадывался простор Реки, пронесившей свои воды мимо высокого дроздовского берега.

Пелагия увидела немало новых лиц и не сразу разобралась, кто есть кто, но трапеза и последовавшее за ней чаепитие длились долго, так что понемногу всё прояснилось.

Помимо уже известных монахине брата с сестрой, фотохудожника Аркадия Сергеевича Поджио и соседа-

помещика Кирилла Нифонтовича Краснова, за столом сидели давешний мужчина в русской рубашке (тот самый, с некрасивой, но располагающей внешностью), еще один бородач с мужицким лицом, но в твидовом костюме пожухлая особа женского пола в нелепой шляпке с украшением в виде райских яблочек.

Некрасивый оказался здешним управляющим Степаном Трофимовичем Ширяевым. Бородач в твиде — Донатом Абрамовичем Сытниковым, известным богачом из исконных заволжских староверов, не так давно купившим неподалеку дачу. Про пожухлую особу, напротив, выяснилось, что она не то что не заволжская, но даже вовсе не русская, и зовут ее мисс Ригли. Какова ее роль в Дроздовке, понять было трудно, но, вероятнее всего, мисс Ригли принадлежала к распространенному сословию француженок, англичанок и немок, которые вырастили своих русских подопечных, выучили их, чему умели, да так и прижились под хозяйским кровом, потому что без них жизнь семьи представить стало уже невозможно.

В начале ужина сестру Пелагию ожидало неприятное потрясение.

К трапезе вышла Марья Афанасьевна, ведя на поводке Закидая с Закусаем и опираясь на Танино плечо. Видно, от архиереева письма генеральше полегчало, хоть настроение ее отнюдь не улучшилось. Преосвященный всегда говорил, что иного больного нужно не лекарствами пичкать, а хорошенько разозлить. Надо думать, именно эту методу в данном случае он и применил.

Отца с сыном отвели в сторонку, где первого уже ждала миска с мозговыми костями, а второго — с гусиной печенкой. Раздался хруст, чавканье, и два зада, большой и маленький, ритмично закачали белыми обрубками хвостов.

— Что это у вас, мисс Ригли, за оранжерея на шляпе? — спросила Татищева, оглядывая стол и явно высматривая, к чему бы придраться. — Хороша инженерю выискалась. Хотя

теперь что же, она у нас богатая наследница. Пора о женихах подумать.

Пелагия наострила уши и с большим, чем прежде, вниманием рассмотрела англичанку. Отметила живость мимики, тонкость губ, лукавые морщины вокруг глаз.

Мисс Ригли от внезапного нападения ничуть не оробела и безо всякого раболепства парировала выпад, почти не обнаруживая акцента:

— О женихах думать никогда не поздно. Даже и в вашем, Марья Афанасьевна, возрасте. Вы столько целуетесь с вашим Закидаем, что давно пора бы узаконить ваши отношения. А то какой пример Наиночке.

По смешку, прокатившемуся среди ужинающих, Пелагия поняла, что хозяйка грозна больше с виду и тиранство ее носит скорее номинальный характер.

Получив отпор от англичанки, генеральша навела свой гневный взор на монахиню.

— Хорош у нас владыка, а у меня племянничек. Хоть сдохни тут, ему лишь шутки. Что глазами хлопаешь, матушка? — Сердито обратилась она к Пелагии, и снова на ты. — Познакомьтесь, господа. Перед вами новоявленный Видок в рясе. Она-то меня и спасет, она-то злоумышленника на чистую воду и выведет. Вот уж спасибо, удружил племянник Мишенька. Послушайте-ка, что он тут пишет.

Марья Афанасьевна достала злополучное письмо, нацепила очки и прочла вслух:

— «...А чтобы вы, тетенька, окончательно успокоились, посылаю к вам свою доверенную помощницу сестру Пелагию. Она — особа острого разума и быстро разберется, кому помешали ваши драгоценные псы. Если кто из ваших ближних и вправду желает вам зла, во что верить не хотелось бы, то Пелагия выявит и разоблачит пакостника».

За столом стало тихо, а какое при этом у кого было выражение лица, Пелагия не видела, ибо сидела ни жива

ни мертва, покраснев и уткнувшись носом в тарелку с наливовым суфле.

В смущении она пребывала еще очень долго, стараясь обращать на себя как можно меньше внимания. Впрочем, никто с ней разговора и не заводил. Единственным ее наперсником при этом то ли намеренном, то ли случайно сложившемся остракизме был нахальный Закидай, пролезший под столом и высунувший из-под скатерти сморщенную морду прямо Пелагии на колени. Свою миску с мозговыми костями Закидай уже опустошил и теперь безошибочно определил, кто из сидящих за столом наиболее податлив к вымогательству.

Старший в роду белых русских бульдогов немигающе смотрел на инокиню, чуть наклонив на сторону круглую башку и наморщив сократовский лоб. Хоть Пелагия была голодна, но есть под этим проникающим в душу взглядом ей показалось совестно. Она тихонько взяла с вилки кусочек суфле, опустила руку под скатерть. Пальцы обдало жарким дыханием, щекотнуло шершавым языком, и рыба исчезла.

Разговор за столом между тем складывался интересный, о таланте и гении.

— Про меня все смолоду говорили: «талант, талант», — иронически щурясь, рассказывал Поджио. — Пока глуп был, очень этим гордился, а как в ум вошел, призадумался: только талант? Почему Рафаэль гений, а я всего лишь талант? В чем между ним и мною разница? В Италию ездил, на Рафаэлевую мадонну смотрел — явный гений. А погляжу на свои полотна — вроде всё, как нужно. И оригинально, и тонко, потоньше, чем у Рафаэля, много потоньше. И сразу видно, что талантливо, уж прошу извинить за нескромность, *а не ге-ний*, — разделяя слоги, произнес он и сделал звук губами, словно из пустышки воздух выпускал. — Оттого и бросил живопись, что талант у меня был, а гения не было. Фотографические картины теперь делаю, и, говорят, хорошие.

Талантливые. Но это ничего, ведь гениев в фотографическом искусстве пока нету, и Рафаэль свет не застит. — Аркадий Сергеевич невесело рассмеялся. — А вот у Степы, когда вместе в Академии учились, пожалуй что и гений обещался. Зря бросил писать, Степан. Я видел, как ты давеча акварельку набросал. Техника, конечно, запущена, но смело, смело. Такие штуковины теперь в парижских салонах за большие деньги идут, а ты еще двадцать лет назад угадал. Скажи, вот ты после стольких лет снова за кисть взялся — душа не запела?

Степан Трофимович Ширяев ответил упрямо и неохотно, глядя в скатерть:

— Запела, не запела. Какая разница. А акварельку я так, от безделья намалевал. Косить уже откосили, жать еще рано. Передышка... Что прошлое вспоминать. Как сложилось, так и ладно. Талант, гений, не один ли черт. Надо делать дело, к которому приставлен. И чем прилежней, тем лучше.

Пелагии показалось, что Ширяев за что-то сердится на Поджио, да и тот, кажется, был несколько обескуражен отповедью. Желая перевести беседу в шутовское русло, он обернулся к монахине и с преувеличенной почтительностью спросил:

— А что по поводу гения и таланта полагает святая церковь?

Тема разговора инокине была интересна, да и собеседники нравились, поэтому она не стала уходить от ответа:

— Про позицию церкви вам лучше спросить кого-нибудь из иерархов, а по моему скромному разумению, весь смысл земной жизни состоит в том, чтобы гений в себе открыть.

— В этом смысл? — удивился Аркадий Сергеевич. — А не в Боге? Ну и сестрица.

— Я думаю, что в каждом человеке гений спрятан, маленькая такая дырочка, через которую Бога видно, —

стала объяснять Пелагия. — Только редко кому удастся в себе это отверстие сыскать. Тычутся все, как слепые котята, да все мимо. Если же свершится такое чудо, то человек сразу понимает — вот оно, ради чего он в мир пришел, и живет он дальше спокойно и уверенно, ни на кого не оглядываясь. Вот это и есть гений. А таланты много чаще попадаются. Это те, кто окошка того волшебного не нашел, но близок к нему и отсветом чудесного сияния питается.

Для вящей убедительности она взмахнула рукой, указывая на небо, да так неудачно, что зацепила широким рукавом чашку и залила Кириллу Нифонтовичу всю брючину.

Он, бедный, аж на одной ножке заскакал — так горячо было. Скачет, охает и приговаривает:

А коварная девица,
Шемаханская черница,
Говорит тому царю:
«Я живьем тебя сварю».

Пелагии со стыда в пору под землю провалиться — чуть не расплакалась. И про талант не вышло договорить, очень уж все смеялись.

Степан Трофимович, правда, попытался было продолжить разговор и спросил, внимательно глядя на монахиню:

— Вот вы как про гений думаете?

Но Марья Афанасьевна, сильно скучавшая во все время теоретической дискуссии, бесцеремонно вторглась в беседу:

— Вы, матушка, чем рассуждать о материях да людей кипятком шпарить, лучше разгадали бы мне поскорей, кто Загуляя с Закидаем травил.

В это время Герасим как раз вносил из сада вазу с яблоками, грушами и сливами. Появление садовника подействовало на мисс Ригли, до сего момента безучастно

курившую пахитоски, неожиданным и возбуждающим образом.

— Что вы будто с ума сошли с этими вашими бульдогами! Просто прожорливые твари, вечно по саду бегают, и маленького бэби тоже приучили. А в саду какой только дряни нет. Вчера собственными глазами видела дохлую ворону, честное слово! Вы бы лучше, добрая сестра, расследовали, кто мой газон затоптал.

По столу пронесся полувздых-полустон, и Пелагия поняла, что газон мисс Ригли, очевидно, был у дроздовских аборигенов притчей во языцех.

— Нет, кто его затоптал, я вам сама назову, — воинственно воздела палец англичанка. — Вы только помогите мне найти улики, а то у нас тут в очевидные вещи верить не желают.

— Сдался нам ихний газон паршивый, — сказал Герасим в сторону, раскладывая фрукты поавантажной. — Очень нужно его топтать.

— Это у них давний газават с мисс Ригли, — пояснил монахине Петр Георгиевич, весело морща красноватый нос. — Она критикует Герасима за леность и в педагогических целях разбила квадратную сажень настоящего английского газона — там, возле обрыва. Хочет показать, как должна выглядеть трава в парке. Ну а Герасим учиться не желает и даже, кажется, совершил диверсию. Во всяком случае, третьего дня кто-то основательно потоптался на бесценном газоне.

— Уж вам-то, Петр Георгиевич, грех, — обиженно сказал Герасим. — На эту щетину обгрызанную не то что ступить — плюнуть противно. Нечего природу поганить, пусть произрастает всякая зелень и древесность, как Господь положил.

— Он еще на Господа ссылается! — прокомментировала эту доктрину мисс Ригли. — Мужчинам только бы оправдание найти, чтобы ничего не делать.

Однако перебранка вышла довольно ленивая, без истинного азарта, да и тягучий августовский вечер никак не располагал к ожесточению.

Возникла продолжительная, нетягостная пауза, и вдруг Наина Георгиевна не совсем впопад произнесла, ни к кому не обращаясь:

— Да, мужчины жестоки и преступны, но без них совершенно нечего было бы делать на свете.

На протяжении всей трапезы внучка генеральши была печальна и задумчива, в общей беседе не участвовала и, похоже, к ней даже не прислушивалась. Пелагия всё поглядывала на нее, пытаясь понять, всегдашнее ли это ее поведение или же сегодня с Наиной Георгиевной происходит нечто особенное. Может быть, причина ее странной отрешенности объясняется разговором, обрывок которого донесся до слуха монахини перед ужином? Но кто тогда был ее собеседник — тот, с глуховатым от страсти голосом? Один из тех, кто сидит сейчас за столом?

И еще Пелагия поражалась тому, как причудливо обшлося Провидение с братом и сестрой, распорядившись одним и тем же набором черт совсем по-разному. Петр Георгиевич, молодой еще человек (по виду лет под тридцать), имел черные волосы, выгоревшие на солнце брови и ресницы и мучнисто-белый цвет лица, на котором нелепо выделялся большой красный нос. У Наины же Георгиевны распределение красок было прямо противоположным: золотистые волосы, черные брови и ресницы, нежно-розовые щечки и точеный, с прелестной горбинкой носик. Такая красавица, безусловно, могла закружить голову и подвигнуть на любые безумства. С точки зрения Пелагии, барышню немного портил своенравный изгиб рта, но очень вероятно, что именно эта ломаная линия больше всего и сводила мужчин с ума.

Похоже, Наина Георгиевна была в Дроздовке на особом положении — невнятная фраза, оброненная ею, по-

влекла за собой несколько напряженное молчание, словно все ждали, не добавит ли она чего-то еще.

И Наина Георгиевна добавила, но следуя какой-то своей внутренней мысли, так что понятней не стало:

— Любовь — всегда злодейство, даже если она счастливая, потому что это счастье обязательно построено на чьих-то костях.

Ширяев дернул головой, словно от удара, да и Поджио улыбнулся как-то вымученно, а богач Сытников, напирая на «о», спросил:

— Это в каком же смысле, позвольте узнать? — И обхватил рыжеватую, с проседью бороду в горсть крепкими короткими пальцами.

— Любовь не бывает без предательства, — продолжила Наина Георгиевна, глядя прямо перед собой широко раскрытыми черными глазами. — Потому что любящий предаст родителей, предаст друзей, предаст весь мир ради кого-то одного, кто этой любви, может быть, и недостоин. Да, любовь — тоже преступление, это совершенно очевидно...

— И в каком смысле «тоже»? — пожал плечами Сытников. — Что у вас за привычка говорить недомолвками?

— Это она интересничает, — фыркнул брат. — Прочла где-то, что в столицах современные барышни непременно изъясняются загадками, вот и упражняется на нас.

В этот момент к Петру Георгиевичу подошла Таня подлить чаю в чашку, и Пелагия заметила, как молодой человек на миг стиснул пальцами ее руку.

— Благодарю вас, Татьяна Зотовна, — нежно сказал он, и горничная вспыхнула, метнув взгляд украдкой на Марию Афанасьевну. — А что вы думаете про любовь?

— Нам думать не положено, — пролепетала Таня. — Для того образованные люди есть.

— Однако у нашей инокини отменный аппетитец, — заметил Краснов, показав на пустое блюдо, с которого

Пелагия только что взяла последний ломоть ветчины. — Ничего, сестрица, что скоромное?

— Ничего, — застеснялась Пелагия. — Нынче праздник Преображения Господня, устав позволяет.

И сделала вид, что подносит ветчину ко рту. Закидай тут же возмущенно ткнул ее мордой в коленку — мол, не забывайся. Пелагия незаметно опустила руку, запихнула ветчину вымогателю в пасть и слегка толкнула ладонью в мокрый холодный нос: всё, больше нету. Закидая тут же как ветром сдуло.

— За что люблю предписания нашей православной церкви, — сказал Краснов, — так это за продуманность диетических установлений. Вся сложная система постов и разговений, если оценивать ее с медицинской точки зрения, идеальным образом упорядочивает работу желудка и кишечника. Нет, право, что вы смеетесь, я серьезно! Осенний и зимний мясоеды призваны поддержать рацион питания в холодное время года, а великий пост прекрасно обеспечивает очищение кишечника перед весенне-летним травоядением. Своевременное опорожнение кишечника — краеугольный камень интеллектуальной и духовной жизни! Я, например, компенсирую несоблюдение постов ежевечерними клистирами из настоя ромашки и всем рекомендую делать то же самое. Я на эту тему даже катрен сложил:

Не спи, красавица, постой,
Досадной не свершай промашки.
Принять забыла ты настой
Всеочистительной ромашки.

— Да ну вас совсем, Кирилл Нифонтович, — махнула рукой Марья Афанасьевна, отсмеявшись. — Вы, матушка, его не слушайте, он у нас сторонник прогресса. На велосипеде по лугу ездит, коров пугает. И в гости к нему без предупреждения заявиться не вздумайте, он ча-

стенку на крыше голышом сидит — солнечные ванны принимает. Тьфу, срам! А видите, у него вокруг плечи щетина ежом? Это он в начале лета всякий раз волоса начисто сбривает, у него, видите ли, макушка дышит. Имени недавно перезаложил, чтобы из Заволжска к себе домой телеграфный провод протянуть. А зачем, знаете? Чтоб с почтмейстером по телеграфу в шашки играть. И добро бы еще играл хорошо, а то все время проигрывает.

— И что с того? — ничуть не обиделся Кирилл Нифонтович. — Я же не для самолюбия играю, а в назидание нашим заволжским дикарям. Пусть знают, что такое прогресс. Ведь в Европе что ни день новые открытия и изобретения, в Америке нынче строят такие дома, что до облаков достают, а наши двоеперстцы долгополые от паровоза шарахаются, на газовый фонарь жмурятся, чтоб сатанинским пламенем не опоганиться.

— Это верно, что наши старoverы к новому недоверчивы, да не все же, — вступился за своих Сытников. — Молодые подрастут, и у нас тут всё переменится. Вот днями заезжал ко мне сюда один купец из беспоповцев, Аввакум Силыч Вонифатьев, рядился лес продавать. Да вы, поди, помните — я, перед тем как его идти встречать, рассказывал тут за часом, как его в пятнадцать лет за тридцатитрехлетнюю невесту выдавали. Вас, Петр Георгиевич, не было, вы в Заволжск ездили.

Степан Трофимович кивнул:

— Как же, история колоритная, в духе местных обычаев. Бубенцов еще сказал, что власть потому и хочет ваше дикое раскольничество искоренить, чтобы избавиться от эдакого варварства. А вы, Донат Абрамыч, с ним поругались.

— Вот-вот, тот самый Вонифатьев.

— И что, продал он вам лес? — спросил Ширяев. — Какой? Сколько десятин?

— Хороший, чистая сосна. Без малого три тысячи десятин, только далеконок, в верховьях Ветлуги. Немалые

деньги содрал, тридцать пять тысяч. Ну да ничего, я тому лесу дам лет пять—десять подрасти, туда как раз и узкоколейку протянут, а потом возьму на нем верных тысяч триста. Но не о том речь. С Вонифатьевым сынок был, занятый мальчуган. Пока мы с его папенькой, как у нас заведено, сходились, расходились, плевали, снова сходились, прежде чем по рукам ударить, я мальчонку этого, чтоб не скучал, в библиотеку посадил с яблоками и пряниками. Заглядываю, не уснул ли — а он мой учебник по электромоторам читает (я из Москвы недавно выписал, интересуюсь). Удивился, спрашиваю — тебе зачем? А он мне: вырасту, дяденька, и через лес дорогу электрическую пушу. Просеку рубить и рельсы класть — это долго и дорого. Я, говорит, столбы крепкие поставлю и по ним подвесные вагонетки погоню. Дешевле выйдет, быстрей и удобней. А вы с Бубенцовым говорите — дикари...

— Закидай! — вскинулась вдруг Марья Афанасьевна, заполошно всплеснув руками. — Закидаюшка! Где Закидай? Что-то я его давно не вижу!

Все заозирались по сторонам, а сестра Пелагия заглянула и под стол. Бульдога на террасе не было. Маленький Закусай, раскинув лапы, мирно сопел подле пустой миски, а вот его родитель куда-то запропастился.

— В сад сбежал, — констатировала мисс Ригли. — Нехорошо. Опять какой-нибудь дряни нажрется.

Генеральша схватилась за сердце.

— Ой, что же это... Господи... — И истошно закричала: — Закидаюшка! Где ты!?

Пелагия с изумлением увидела, что из глаз Татишевой катятся крупные истеричные слезы. Хозяйка Дроздовки попыталась подняться, да не смогла — мешком осела в соломенное кресло.

— Милые, хорошие... — забормотала она. — Идите, бегите... Сыщите его. Герасим! Ах, ну скорей же! Уйди ты, Таня, со своими каплями. Беги со всеми, ищи. Капли

мне вон матушка даст, она все равно парка не знает...
Найдите мне его!

Вмиг терраса опустела — все, даже строптивая Миос Ригли и своенравная Наина Георгиевна, бросились разыскивать беглеца. Остались лишь всхлипывающая Марья Афанасьевна да сестра Пелагия.

— Двадцать маю, лейте тридцать...

Трясущейся рукой Татищева взяла стакан с сердечными каплями, выпила.

— Дайте мне Закусаю! — потребовала она и, приняв щенка, прижала к груди теплое сонное тельце.

Закусай приоткрыл было глазки, тоненько твякнул, но просыпаться передумал. Немного побарахтался, забираясь генеральше поглубже под увесистый бюст, и затих.

Из-за деревьев доносились голоса и смех перекликающихся между собой искателей, которые разбрелись по обширному парку, а несчастная Марья Афанасьевна сидела ни жива ни мертва и все говорила, говорила, словно пыталась отогнать словами тревогу.

— ...Ах, матушка, вы не смотрите, что у меня тут полон дом народу, я ведь, в сущности, страшно одинока, меня по-настоящему и не любит никто, кроме моих деточек.

— Разве этого мало? — утешительно молвила Пелагия. — Такие прекрасные молодые люди.

— Вы про Петра с Наиной? А я про моих собачек. Петр с Наиной что... Я им только помеха. Детей моих всех Господь прибрал. Дольше всех Полиночка, младшая, зажилась, но и ей век выпал недолгий. Умерла родами, когда Наина появилась. Славная она была, живая, сердцем горячая, а по-женски дура душой, вот и Наина в нее. Выскочила Полиночка замуж против нашей с Аполлон Николаичем воли за паршивого грузинского князька, который только и умел, что пыль в глаза пускать. Я с ними и знаться не хотела, но когда Полиночка преставилась, сироток пожалела. Выкупила их и к себе забрала.

Пелагия удивилась:

— Как это выкупили?

Генеральша пренебрежительно махнула рукой:

— Очень просто. Пообещала папаше ихнему, что оплатчу его долги, если бумагу мне напишет, что никогда более к сыну и дочери не подойдет.

— И подписал?

— А куда ему деваться было? Или подписывать, или в яму садиться.

— Так ни разу и не объявился?

— Отчего же. Лет пятнадцать тому прислал мне слезное моление. Не о встрече с детьми молил — о денежном вспомоществовании. А после, сказывают, вовсе в Америку уехал. Жив ли, нет ли, неизвестно. Но подпортил-таки мне внуков своей петушиной кровью. Петя вырос ничемником, недотепой. Из лица выгнали за проказы. Из университета отчислили за крамолу. Насилу вымолила через министра, чтоб мне его под опеку выслали, а то хотели прямо в Сибирь. Мальчик-то он добрый, чувствительный, да уж больно того... глуп. И характера нет, ни к какому делу не годен. Пробует Степан Трофимычу помогать, да только проку от него, как от монашки приплоду.

Пелагия закашлялась, давая понять, что находит сравнение неудачным, но Марье Афанасьевне подобные тонкости были недоступны. Она с мукой в голосе воскликнула:

— Господи, да что же они так долго? Уж не случилось ли чего...

— А что Наина Георгиевна? — спросила Пелагия, желая отвлечь Татищеву от беспокойных мыслей.

— В мать, — отрезала хозяйка. — Такая же блажная, только еще от князька страсть к фасону унаследовала. Раньше слово было для этого хорошее, русское — суете-сие. То актеркой хотела стать, всё монологи декламировала, то вдруг в художницы ее повело, а теперь вообще не

поймешь что несет — заговариваться стала. Сама я виновата, много баловала ее девчонкой. Жалела, что маленькая, что сирота. И на Поляночку сильно похожа была... Что, ведут?!

Она приподнялась на кресле, прислушалась и снова села.

— Нет, показалось... Что с ними будет, как помру — бог весть. Вся надежда на Степана. Честный он, верный, порядочный. Вот бы Наине какого мужа надо, и любит он ее, я вижу, да разве она понимает, что в мужчинах ценить надо? Степа — воспитанник наш. Вырос здесь, поехал в Академию на художника учиться, а тут Аполлон Николаевич преставился. Так Степан, хоть и мальчишка еще был, учебу бросил, вернулся в Дроздовку, взял в руки хозяйство и ведет дело так, что мне вся губерния завидует. А ведь не по сердцу ему это занятие, я вижу. Но ничего, не ропщет, потому что долг понимает... Виновата я перед ним, грешница. Повздорила позавчера и с ним, и с внуками, из-за Загуляя не в себе была. Переделала духовную, теперь вот самой совестно...

Пелагия открыла было рот спросить, что за изменения сделаны в завещании, но прикусила язык, ибо с Марьей Афанасьевной происходило нечто диковинное.

Генеральша разинула рот, выпучила глаза, складки ниже подбородка заходили мелкими волнами.

Удар, испугалась монахиня. И очень просто — при такой дебелости далеко ли до апоплексии.

Но Татищева признаков паралича не выказывала, а наоборот, рывком вскинула руку и указала пальцем куда-то инокине за спину.

Пелагия обернулась и увидела, что к лестнице из сада, оставляя на земле алый след, ползет Закидай. Из белой бугристой головы пса торчал крепко засевший топорик, почему-то выкрашенный синим, так что вся эта бело-синие-красная гамма в точности повторяла цвета российского флага.

Закидай полз из последних сил, высунув язык и глядя в одну точку — туда, где застыла охваченная ужасом Марья Афанасьевна. Не скулил, не повизгивал, просто полз. У самой веранды силы его иссякли, он ткнулся башкой в нижнюю ступеньку, два раза дернулся и замер.

Татищева зашелестела платьем, кренясь набок, и прежде чем сестра Пелагия успела ее подхватить, повалилась на пол — голова старухи сочно стукнулась о сосновые доски. Лишившийся колыбели Закусай мягким белым мячиком покатился по веранде и жалобно твякнул спросонья.

IV

ГНЕЗДО АСПИДОВ

Удара доктор не обнаружил, но и обнадеживать не стал. Сказал, нервная горячка, медицинская наука тут ничего поделать не может. Бывает, что и совершенно здоровый человек от потрясения в считанные часы спорает, а тут преклонные лета, и сердце, и истерический склад натуры. На вопрос, что же все-таки делать, чем лечить, подумав, ответил странно: «Отвлекать и радовать».

А чем ее отвлечешь, если она все время только об одном говорит? Чем порадуешь, если у нее из глаз беспрестанно слезы текут? Да еще никого из близких к себе не подпускает, кричит: «Все вы убийцы!»

Уехал доктор, взяв за визит положенную мзду, и на семейном совете было решено просить сестру Пелагию взять на себя духовную опеку над болящей. Тем более что и сама Марья Афанасьевна, не желавшая видеть ни внуков, ни соседей, ни даже управляющего, про монахиню всё время спрашивала и требовала ее к себе в спальню чуть не каждый час.

Пелагия шла на зов, садилась подле изголовья и терпеливо выслушивала лихорадочные речи генеральши. Шторы в комнате были задвинуты, на столике горела лампа под зеленым абажуром, пахло анисом и мятными лепешками. Татищева то всхлипывала, то испуганно вжималась в подушку, то вдруг впадала в ярость, но это, впрочем, ненадолго, потому как долго гневаться сил у нее уже не было. Почти постоянно под боком у нее лежал Закусай, которого Марья Афанасьевна гладила, называла «сироткой» и закармливала шоколадом. Бедняжка совсем истомился от неподвижности и время от времени устраивал бунт с лаем и визгом. Тогда Таня брала его на поводок и уводила погулять, однако все время, пока они отсутствовали, хозяйка тревожилась и поминутно взглядывала на большие настенные часы.

Пелагия, конечно, жалела страдальицу, но в то же время и удивлялась, откуда в слабом, еле ворочающем языке человека столько злобы.

Марья Афанасьевна говорила, целуя Закусая в сморщенную мордочку:

— Насколько же собаки лучше людей!

Прислушиваясь к голосам, смутно доносившимся откуда-то из глубин дома, ненавидяще шипела:

— Не дом, а гнездо аспидов.

Или же просто, уставившись на руки инокини, проворно постукивавшие спицами, кривилась.

— Что это вы, матушка, вяжете? Гадость какая. Немедленно выбросьте.

Однако неприятнее всего были приступы подозрительности, охватывавшей генеральшу по нескольку раз на дню. Тогда-то прислуга и кидалась разыскивать сестру Пелагию. Находили ее у себя в комнате, или в библиотеке, или в парке и доставляли к Марье Афанасьевне, а та уже съежилась вся, забилась под одеяло — видно только испуганно блестящие глаза — и шепчет:

— Я поняла, это Петька, больше некому! Он меня ненавидит, извести хочет! Его ведь здесь насильно держат, я за него перед исправником отчитываюсь. Он меня «бенкендорфом» обзывал и еще по-всякому. Он это, он, телиановское отродье! Во всем я ему помеха. Хотел деревенских ребятишек учить, я не дала, потому что ничему хорошему он не научит. Денег тоже не даю — нигилистам своим отошлет. А тут еще совсем с ума съехал, удумал на Таньке моей жениться. Это на горничной-то! «Вы, говорит, бабушка, не смейте ей тыкать, вы в ней должны человека увидеть». Хорошо выйдет, а? Если мой внук на дворовой вертихвостке женится! Ладно бы еще любил ее без памяти, всякое бывает, так нет. Это у него идея — себя на алтарь положить, чтобы из полутрамотной девки просвещенную женщину сделать. «Великие дела, говорит, для великих людей, а я человек маленький, и дело мое будет маленькое, но зато хорошее. Если каждый из нас хоть одного кого-то счастливым сделает, так уже его жизнь не впустую прошла». Я ему: «Не сделаешь ты девку счастливой без любви, хоть озолоти ее всю, хоть все на свете книжки ей вслух прочитай. Зачем Таньке голову морочишь? Я уж ей и жениха присмотрела, прасолова сына, в самый раз ей будет. А ты в нее только ненужную амбицию поселяешь, хочешь, чтоб она всю жизнь несбывшимся маялась». И ведь, что самое-то стыдное, даже не спит с ней, такой малахольный! Я чай, если б похаживал к ней по ночам, быстро бы перебесился и в ум вошел. Ну что вы на меня, матушка, с укоризной-то глядите? Я жизнь прожила, знаю, что говорю.

А час спустя у ней в голове было уже другое:

— Нет, это Наинка. Взбесилась от томления. Я эту натуру отлично знаю, сама такая была. Помню, как станет невтерпеж до жизни дорваться, так и задушила бы родителей своими руками, только бы на волю. Особенно когда семнадцати лет сдуру в приходского попа влюби-

лась. Красивый он был, молодой, с бархатным голосом. Чуть не сбежала с ним, хорошо папенька-покойник перехватил, выдрал как следует да в чулан запер. Вот и Наинка втрескалась в кого-нибудь, вон их сколько вокруг нее кружит, кобелей. И бабка ей уже помеха, счастью ее мешают. Выбрала себе кого-нибудь, на кого я ни в жизнь не соглашусь, знает это и решилась через мой труп своего добиться. Она это может, такой характер. Ах, Наинка, Наинка, я ли тебя не любила, я ли тебе всю душу не отдала... Закусаенька мой, ангел мой белокрыленький, один ты меня не предашь. Ведь не предашь, мой сладенький?

Потом, некое время спустя, Пелагия заставляла Марию Афанасьевну в самоотверженном умиротворении. Всклипывая от собственного благородства, генеральша говорила:

— Сядь-ка, матушка, послушай. Открылось мне: Степан это, и я его не виню. Сколько уж мне можно его век заедать. И так он почитай двадцать лет безвылазно при мне состоит. От мечты отказался, талант в землю зарыл, до сорока годов бобылем дожил. Я ведь на его неустанных трудах приживальствую. Без него давно бы мужнино состояние в дым обратила, при моей-то дурости, а он и сохранил, и преумножил. Только ведь тоже живой человек. Поди, думает: «Пожила, старуха, и будет, пора совесть знать». Это ему Поджио своим приездом голову вскрыжил, ясное дело. Степа мольберт с чердака достал, краски из города привез, и глаза у него сделались какие-то другие. Что ж, я понимаю и не сужу... Хотя что же, мог бы и прямо сказать. Так, мол, и так, Мария Афанасьевна, потрудился на вас достаточно, а теперь прошу отпустить меня. Но не скажет, не из таких. Стыдно. Проще старуху со свету сжить, чем перед ней неблагодарным предстать. Я эту породу знаю, там и гордости, и страсти много намешано... Ах нет, что ж я слепота такая! Не Степан это,

Поджио! — И тянется кверху, силится приподняться с подушек. — Степан, может, втайне и желает, чтоб я поскорее издохла, но не станет он собачек безответных травить. А Поджио станет! Для одной только забавы или хоть из дружбы, чтобы приятеля от кабалы освободить! Развращенец он, бес! Он и к Наине подбирался, то картинку с ней рисовал, то фотографировал ее. И Степана он с глузду сбивает... Я давно примечаю, как он на меня волком зыркает. Он, он! Ишь, загостился-то, третий месяц уже. А вначале говорил «на месяцок». И не съедет, пока в гроб меня не вгонит!

В самом скором времени возникала и новая убежденность, такая же незыблемая:

— Сытников! Это же страшный человек, ему только барыши подавай, он за них черту душу продал. Не зря говорят, что он на деньгах женился, а после жену отравил. И причина известна, по какой я ему поперек дороги стала! Горяевская пустошь! Давно он ко мне подкатывается, чтоб ему уступила, хочет там пристань торговую поставить — больно место удобное. А я сказала, не продам. Будет он мне баржами своими вид поганить! Но этот от своего не отступится. У него закон такой: всё непременно должно по его быть. Иначе ему и жизнь не в жизнь. Жену уморил и меня уморить хочет! Как меня не станет, Петька с Наинкой не то что пустошь, всё ему тут продадут, а сами хвост в руки и в столицы-заграницы. Так Донату прямой резон меня скорей на тот свет спровадить. Только вот им всем, — тянула старуха вверх вяло сложенный кукиш. — Я третьего дня не зря духовную сызнава переделала, всё как есть отписала англичанке. Попугать их хотела, а теперь так и оставлю. Я им нехороша стала, так у них Джаннетка за барыню будет. Попляшут тогда.

Сначала Пелагия выслушивала путанные речи больной очень внимательно, сопоставляла с собственными сооб-

ражениями и наблюдениями, но каждая новая гипотеза была диковинней предыдущих.

Последняя и вовсе оказалась за пределами здравого рассудка.

— Киря Краснов, — отчеканила Марья Афанасьевна, едва Таня в очередной раз привела монахиню в спальню. — Хитрый, бестия, а дурачка ломает. Он ведь что сюда каждый день таскается? Денег ему от меня надо. Осенью именно у него с молотка пойдет, со всеми расчудесными телеграфами. Он говорит: «Я тогда умру». И умрет, непременно умрет. Куда ему без Красновки деваться? Ходит ноет. Дай ему полторы тысячи проценты заплатить. А я сказала: не дам. Давала уже, и не раз. Хватит. Так он мне отомстить решил. Верно, думает: я умру, так и ты, ведьма старая, жить не будешь.

Пелагия стала увещевать страждущую — чтобы к разуму вернуть и еще из-за того, что не приведи Господь и вправду умрет, а грешно покидать свет в таком ожесточении:

— Марья Афанасьевна, так, может, одолжить Кириллу Нифонтовичу, он и успокоится? Что уж вам эти полторы тысячи рублей? На тот свет не унесете, там деньги не пригодятся.

Этот простой довод на Татищеву подействовал.

— Да-да, — пробормотала она, глядя на спящего Закуся, и ее воспаленный взгляд смягчился. — Зачем мне, всё равно мисс Ригли достанется. Я дам ему. Пусть еще годик покуролесит. Я ему две тысячи дам.

— Да и с духовной нехорошо, — продолжила инокиня, ободренная успехом. — Мисс Ригли, конечно, особа достойная, но хорошо ли это будет по отношению к Петру Георгиевичу и Наине Георгиевне? Ведь они не виноваты, что вы их в праздности воспитали и никакому делу не научили. Они же без наследства по миру пойдут. И перед Степаном Трофимовичем вам на том свете совест-

но будет. Вон он сколько лет на вас потратил, все лучшие годы. И сами вы говорили, что он много увеличил ваше состояние. Не грех ли?

— Грех, матушка, — жалким голосом признала Татищева. — Ваша правда. Погорячилась я. Не только ведь внуков наделить нужно, есть и иные родственники. Эй, Таня! Позовите-ка ее... Таня, пускай pošлют в город к Коршу. Хочу, чтоб приехал завещание переделывать.

* * *

В промежутках между вызовами в генеральшину спальню Пелагия по большей части гуляла в парке. Немало времени провела в дощатой будке, расположенной неподалеку от обрыва. Здесь, выкрашенные в синий цвет, лежали мотыги, лопаты, пилы, грабли, тяпки и прочие садовые инструменты из Герасимова арсенала. Именно отсюда неведомый злодей и взял топор. Пелагия брала с пола и терла в пальцах засохшие комочки земли, ползала на корточках вокруг домика, но никаких зацепок не обнаружила. Будка не запиралась, топор мог взять кто угодно, и следов ни снаружи, ни внутри не обнаружилось. Оставалось только ждать, что будет дальше.

За два дня исходила весь парк вдоль и поперек. Наткнулась и на знаменитый английский газон — квадратик аккуратно подстриженной травки, на которой и вправду недавно кто-то изрядно потоптался, но упругие стебельки уже начали распрямляться, и было видно, что скоро очаг цивилизации восстановится во всей своей красе. Отсюда было рукой подать до Реки, дул свежий ветерок, а рядом с газоном качала еще зелеными, но уже неживыми веточками тонкая, подвядаящая осинка. Монахиня навевалась сюда часто — сидела в белой беседке над высокой кручей, довязывала поясок для сестры Эмилии и подолгу застывала, глядя на широкую Реку, на небо, на заливные луга дальнего берега. Хорошо было и

бродить по лужайкам, по заросшим тропам, где воздух звенел пчелиным гудом и шелестел листвою.

Но покой был мнимый, не истинный, инокиня чувствовала в наэлектризованном дроздовском воздухе смятение и слышала некий звон, будто кто-то терзал тонкую, до предела натянутую струну. Даже удивительно, как это в первый день усадьба предстала перед ней чуть ли не Эдемским садом. Пелагия ни за кем нарочно не подсматривала и не подслушивала, однако то и дело становилась невольной свидетельницей каких-то малопонятных сцен и озадаченной наблюдательницей туманных взаимоотношений между здешними жителями. Очевидно, и нервический разговор, обрывок которого она случайно услышала из своего окна, был здесь совершенно в порядке вещей.

На третий день, утром, Пелагия медленно брела наугад через кусты, жмурясь от просеянного сквозь листву солнечного света, и вдруг увидела впереди полянку, а на ней, спиной к кустам, — Ширяева и Поджио. Оба в широкополых шляпах, полотняных балахонах, с этюдниками. Окликать не стала, чтоб не отрывать от творчества, а посмотреть было любопытно, особенно после того, что говорили накануне про дарование Степана Трофимовича.

Сестра привстала на цыпочки, высунувшись из-за зарослей малины. Увидела, что у Аркадия Сергеевича на бумаге акварелью набросан старый дуб, что высился на противоположном конце поляны, и удивительно похож — прямо заглядение. Работа Степана Трофимовича, увы, разочаровала. Краски были набросаны невпопад, кое-как: то ли дуб, то ли какой-то леший с непомерно большой растрепанной головищей, и кистью Ширяев водил чудно, будто дурака валял — мазнет не целя, потом еще и еще. Поджио, тот выписывал мелко, с тщанием. Монахине его творение понравилось гораздо больше. Толь-

ко смотреть на него было скучно — мазню Степана Трофимовича разглядывать оказалось куда интересней. В целом же сцена выглядела умирительно: старые товарищи предаются любимому делу и даже не разговаривают промеж собой, потому что им и так все ясно про искусство и друг про друга.

Внезапно Ширяев взмахнул рукой размашистой обычного, и с кисти на эскиз полетела россыпь зеленых клякс.

— Это невыносимо! — вскричал Степан Трофимович, оборотясь к приятелю. — Притворяться, обсуждать игру света и тени, говорить про природу в то время, как я тебя ненавижу! Не-на-ви-жу!

И Поджио развернулся к нему так же резко, так что старые товарищи вдруг сделались похожи на петухов перед схваткой.

Пелагия обмерла и испуганно присела на корточки. Стыд-то какой, если застигнут черницу за подглядыванием.

Дальше не смотрела, а слушала — поневоле, боялась зашуршать, если попятится.

— Ты был с Наиной? (Это Степан Трофимович.) Признаться, был?!

Слово «был» прозвучало с особым смыслом, от которого Пелагия покраснела и очень пожалела, что из любопытства сунулась смотреть на эскизы.

— Таких вопросов не задают и признаний не делают, — в тон Ширяеву ответил Аркадий Сергеевич. — Это не твое дело.

Степан Трофимович задохнулся:

— Ты разрушитель, ты дьявол! Ты всё загрязняешь и оскверняешь самым своим дыханием! Я столько лет люблю ее. Мы говорили, мечтали. Я обещал ей, что когда... когда буду свободен, увезу ее в Москву. Она станет актрисой, я снова займусь живописью, и мы узнаем, что такое счастье. Но она больше не хочет быть актрисой!

— Зато теперь она хочет стать художницей, — насмешничал Поджио. — Во всяком случае, еще недавно хотела. Чего она хочет сейчас, я не знаю.

Ширяев не слушал, выкрикивая бессвязное, но, видно, наболевшее:

— Ты негодяй. Ты даже ее не любишь. Если б любил, мне было бы больно, но я бы терпел. А ты просто от скуки!

Раздался шум, треск раздираемой ткани. Пелагия раздвинула руками кусты, боясь, не дойдет ли до смертоубийства. Было близко к тому: Степан Трофимович схватил Аркадия Сергеевича обеими руками за ворот.

— Да, от скуки, — прохрипел тот придушенным голосом. — Сначала. А теперь я потерял голову. Я ей больше не нужен. Еще неделю назад она умоляла меня увезти ее в Париж, говорила про студию в мансарде с видом на бульвар Капуцинов, про закаты над Сеной. И вдруг всё переменялось. Она стала холодна, непонятна. И я схожу с ума. Вчера... вчера я сказал ей: «Отлично, едем. Всё к черту. Пусть Париж, мансарда, бульвар — всё как ты хочешь». Пусти, дышать нечем.

Ширяев разжал пальцы, спросил с мукой:

— И что она?

— Расхохоталась. Я... я стал сам не свой. Я угрожал ей. Мне есть чем... Тебе это знать не нужно. После узнаешь, уж все равно будет. — Поджио неприятно засмеялся. — О, я превосходно понимаю, в чем там дело. Мы с тобой, Степа, больше не валируемся, выпущены в отставку без пенсионера. Нашлась фигура поинтересней. Но я не позволю обращаться с собой как с сопливым гимназистом! Если б она знала, какие женщины валялись у моих ног! Я растопчу ее в грязи! Я заставлю ее уехать со мной!

— Мерзавец, ты не смеешь ей угрожать. Я раздавлю тебя, как червяка!

С этими словами Степан Трофимович снова ухватил бывшего однокашника за горло, и уже куда основательней, чем прежде. Мольберты полетели наземь, а мужчины, сцепившись, рухнули в густую траву.

— Господи, Господи, не допусти, — тихонько запричитала сестра Пелагия, вскочила на ноги, ибо шороха при данных обстоятельствах можно было не опасаться, отбежала шагов на двадцать и закричала:

— Закуса-ай! Это ты там шумишь? Противный мальчишка! Снова сбежал!

Возня на поляне сразу прекратилась. Пелагия туда не пошла — зачем конфузить людей, а еще немножко покричала, потопала в кустах и удалилась. Довольно того, что петухи эти опомнились и в человеческий облик вернулись. А то далеко ли до греха.

Решила по парку больше не ходить, тихонько посидеть в библиотеке.

И надо же, угодила из огня да в полымя.

* * *

Только устроилась в пустой просторной комнате с высокими шкафами, сплешь в уютных золотых корешках, только забралась с ногами в огромное кожаное кресло и раскрыла вкусно пахнущий стариной том Паскалевых «Lettres provinciales», как скрипнула дверь и кто-то вошел — за высокой спинкой не видно, кто именно.

— Здесь и объяснимся, — раздался спокойный, уверенный голос Сытникова. — В вашем доме в библиотеку редко кто заглядывает, не потревожат.

Пелагия хотела кашлянуть или высунуться, но не успела. Другой голос (то была Наина Георгиевна) произнес слова, после которых обнаружить себя означало бы только поставить всех в неловкое положение:

— Снова руку и сердце будете предлагать, Донат Абрамыч?

Как она всех тут приворожила-то, покачала головой Пелагия, пожалев степенного, хладнокровного промышленника, которому, судя по насмешливости вопроса, рассчитывать на взаимность не приходилось.

— Нет-с, — все так же спокойно произнес Сытников. Скрипнула кожа — очевидно, сели на диван. — Теперь могу предложить только сердце.

— Как прикажете вас понимать?

— Объясню. За последние дни я разобрался в вас лучше, чем за все месяцы, что таскаюсь сюда из-за ваших черных глаз. Вижу, что ошибался. В супруги вы мне не годны, да вам и самим ни к чему. Я человек не болтливый, но прямой, без обиняков. Из своих чувств я секрета от вас не делал, но и не навязывался. Давал вам время понять, что кроме меня для вас настоящей пары здесь нет. Степан Трофимович — фантазер, да и скучен, вы с вашим характером от него через полгода или в петлю полезете, или в развратпуститесь. Поджио — так, разве что для забавы пригоден. Вы ведь его всерьез и не принимали, да? Мелочь человечешко, пустышка. А теперь еще это новое ваше увлечение. Я, собственно, не возражаю. Порезвитесь, я подожду, пока у вас блажь пройдет. Только на сей раз с огнем играете, этот господин огромные зубищи имеет. Да только вы ему ни к чему, у него иной интерес. Сейчас вы не в себе, вам мои слова — одна докука, а всё же послушайте Доната Сытникова. Я как каменная стена, и опереться можно, и спрятаться. Об одном прошу: как лопнет ваш прожект, не кидайтесь головой в омут. Жалко этакой красоты. Лучше пожалуйте ко мне. В жены вас теперь не возьму, не резон, а в любовницы — со всей моей охотой. Вы глазами-то не высверкивайте, а слушайте, я дело говорю. Любовницей вам приятнее и ловчее будет — ни хозяйственных забот, ни детородства, а пересудов вы не побоитесь. Да и какие, помилуй Бог, пересуды. Я теперь замыслил главную контору в Одессу

перенести. Тесно мне на Реке, на морские пути выхожу. Одесса — город веселый, южный, свободных нравов. Кем захотите стать, тем и станете. Хотите — картины пишите, лучших учителей найду, не Аркашке вашему чета. А хотите — театр вам подарю. Сами будете выбирать, какие пьесы ставить, любых актеров нанимайте, хоть из Петербурга, и все лучшие роли будут ваши. У меня денег на всё хватит. А человек я хороший, надежный и не истасканный, как ваш избранник. Вот вам и весь мой сказ.

Наина Георгиевна эту немыслимую речь дослушала до самого конца, ни разу не перебила. Правда и то, что перебивать такого, как Сытников, не всякий и решился бы — очень уж солидный был человек.

Но когда он замолчал, барышня засмеялась. Негромко, но так странно, что у Пелагии пробежал мороз по коже.

— Знаете, Донат Абрамыч, если мой, как вы выражаетесь, «прожект» и в самом деле лопнет, я уж лучше в омут, чем с вами. Да только не лопнет. У меня билет есть выигрышный. Тут такие бездны, что дух захватывает. Хватит мне куклой быть тряпичной, которую вы все друг у друга на лоскуты рвете. Сама буду свою судьбу за хвост держать! И не только свою. Если жить — так сполна. Не рабой, а хозяйкой!

Снова скрипнула кожа — это поднялся Сытников.

— О чем вы толкуете, не пойму. Вижу только, не в себе вы. Потому ухожу, а над моим словом подумайте. Оно твердое.

Открылась и закрылась дверь, но Наина Георгиевна ушла не сразу. Минут пять, а то и долее до слуха Пелагии доносились безутешные, полные самого горького отчаяния всхлипы и сосредоточенное шмыгание носом. Потом раздался шепот — не то злой, не то страстный. Монахиня прислушалась и разобрала повторенное не раз и не два:

— Ну и пусть исчадие, пусть, пусть, пусть. Все равно...

Когда уже можно стало, Пелагия вышла в коридор, отправилась в свою комнату. На ходу озабоченно качала головой. Всё шепот из головы не шел.

* * *

Но до комнаты монахиня не дошла, встретила по дороге Таню. Горничная несла в одной руке узелок, другой тянула на поводке упирающегося всеми четырьмя лапами Закусяя.

— Матушка, — обрадовалась она. — Не желаете со мной? Марья Афанасьевна уснули, так я в баньку собралась, с утра протоплена. Помоемся, я с песиком побуду. А после вы его покараулите. Очень выручите. Что, уж мне и в мыльню с ним? И так житья нет от ирода слюнявого.

Пелагия ласково улыбнулась девушке, согласилась. В бане по крайней мере подслушивать и подглядывать не за кем.

Банька стояла позади дома — приземистая избушка из янтарных сосновых бревен с крохотными оконцами под самой крышей, пузатая труба сочилась белым дымом.

— Мойтесь, я посижу, — сказала инокиня в маленьком чистом предбаннике, опустилась на лавку и взяла щенка на руки.

— Вот спасибочко вам, так выручили, так выручили, а то все бегашь-бегашь, употела вся, а ни помыться, ни на речку сбегать, — зачастила Таня, проворно раздеваясь и распуская стянутые в узел русые волосы.

Пелагия залюбовалась ее точеной смуглой фигурой. Просто Артемида, владычица лесная, не хватает только колчана со стрелами через плечо.

Едва Таня исчезла за дощатой дверью мыльни, снаружи раздался легкий стук.

— Танюша, Танечка, — зашептал в самую дверную щель мужской голос. — Отвори, душенька. Я знаю, ты там. Видел, как с узелком шла.

Никак Краснов? Пелагия в некотором смятении вско-
чила, зашуршав рясой.

— Слышу, как платышком шуршишь. Не надевай его,
оставайся как есть. Отвори мне, никто не увидит. Что
тебе, жалко? Не будет же. А я в твою честь стишок сло-
жил. Вот послушай-ка:

Как тучка, влагою полна,
Мечтает дождиком излиться,
Как желтоликая Луна
К Земле в объятия стремится,
Так я, алкая и горя,
На Таню нежнуюзираю
И вздуть прелестницу мечтаю
Еще с седьмого декабря.

Видишь, и число запомнил, когда мы с тобой на санях
катались. С того самого дня тебя и полюбил. Хватит от
меня бегать, Танюшенька. Ведь Петр Георгиевич про тебя
стихов слагать не станет. Открой, а?

Ухажер застыл, прислушиваясь, а через полминуты
продолжил уже с угрозой:

— Да открывай же, вертихвостка, а то я Петру Геор-
гиевичу расскажу, как ты давеча с Черкесом-то. Я видел!
Сразу перестанет на вы называть. И Марье Афанасьевне
скажу, а она тебя, гулящую, со двора взашей. Открой,
говорю!

Пелагия рывком распахнула дверь, сложила руки на
груди.

Кирилл Нифонтович, в белой толстовке и соломен-
ной шляпе, так и замер на пороге с широко разведенны-
ми руками, и губы сложены сердечком в предвкушении
поцелуя. Голубые глазки растерянно захлопали.

— Ой, матушка, это вы... Что ж вы сразу-то не сказа-
ли? Посмеяться решили?

— Над иными и посмеяться не грех, — сурово ответи-
ла Пелагия.

Краснов сверкнул взглядом, в котором не осталось и следа обычной детской наивности. Повернулся, нырнул за угол баньки и был таков.

И впрямь гнездо аспидов, подумала сестра Пелагия.

* * *

После бани, распаренные и умиротворенные, не спеша шли по вечерней прохладе: мокрые волосы туго обтянуты платками (у Тани белым, у монахини черным). Помыли и Закусяя, невзирая на твяканье и визг. Теперь он стал еще белее, и короткая шерстка топорщилась, как пух у утенка.

Возле конюшни стояла запыленная черная карета. Угрюмый чернобородый мужик в грязной черкеске и круглой войлочной шапочке распрягал вороных коней.

Таня схватила Пелагию за локоть, обмирающим голосом выдохнула:

— Приехали... Господин Бубенцов приехали.

А сама, будто привороженная, смотрела на азиата, заводившего лошадь в конюшню.

Пелагия вспомнила угрозу Кирилла Нифонтовича и посмотрела на свою спутницу повнимательней. Лицо у той сделалось неподвижным и словно бы сонным, зрачки расширились, полные розовые губы приоткрылись.

Черкес коротко взглянул на женщин. Не поздоровался, не кивнул — повел в поводу второго коня.

Таня медленно подошла к нему, поклонилась, тихо сказала:

— Здравствуйте, Мурад Джураевич. Снова к нам?

Он не ответил. Стоял, хмуро смотрел в сторону, наматывая на широкое мохнатое запястье узорную уздечку.

Потом вернулся к карете, стал обметать пыль.

Таня потянулась за ним.

— Устали с дороги? Молочка холодного не хотите? Или кваску?

Черкес не обернулся, даже плечом не повел.

Пелагия только вздохнула, покачала головой, пошла дальше.

— Одежа у вас вон вся грязная, — донесся сзади Танин голос. — Сняли бы, я постираю. К завтраму высохнет. Вы ночевать будете?

Молчание.

У входа в дом Пелагия оглянулась и увидела, что бубенцовский кучер, всё такой же пасмурный, идет к раскрытым воротам конюшни, ведя Танию за руку — точь-в-точь как перед тем вел лошадь. Девушка послушно переступала быстрыми, мелкими шажками, а за ней так же покорно тащился на поводке Закусай.

* * *

Перед генеральшиной спальней смиренно стоял седой, но, впрочем, не старый еще мужчина с сильно мятым, улыбчивым лицом, в наглухо застегнутом черном сюртуке и черных же драдедамовых брючках, до блеска вытертых на коленях. В длинных, сцепленных чуть не на середине ляжек руках он держал пухлый молитвенник.

— Благословите, матушка! — вскричал он тонким голосом, едва завидев Пелагию, и преградил ей путь. — Аз осьмь Тихон Еремеев Спасенный, червь недостойный. Позвольте ручку вашу святую поцеловать. — И уж потянулся своей ухватистой длиннопалой пятерней, но Пелагия спрятала руки за спину.

— Нам не положено, — сказала она, разглядывая смиренника. — И устав воспрещает.

— Ну тогда без ручки, просто осените крестным знаменем, — легко согласился Спасенный. — Мне и то благостно будет. Не откажите, ибо сказано: «Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоея».

Получив благословение, поклонился в пояс, однако с дороги не ушел.

— Вы ведь, верно, и есть сестра Пелагия, посланница пречестнейшего и преосвященнейшего владыки Митро-

фания? Извещен, что вселены в каморку, мною прежде занимаемую, и очень тому рад, потому что вижу истинно достойную особу. Сам же размещен во флигеле, среди рабов и прислужников, и как бы речено мне: изыди из места сего, бо недостойн те быти здесь. Не ропщу и повинуюсь, памятуя слова пророка: «Аще гонят вы во граде, бегайте в другой».

— Что же вы к Марье Афанасьевне не войдете? — спросила монахиня, смущенная услышанным.

— Не смею, — кротко молвил Спасенный. — Водню, что вид мой сей благородной боярыне отвратителен, да и почтенный начальник мой Владимир Львович Бубенцов велел ожидать здесь, у врат чертога. Позвольте я перед вами дверку распахну.

Он наконец посторонился, открывая перед Пелагией створку, и все-таки исхитрился ткнуться мокрыми губами в руку.

В комнате возле кровати сидел тонкий, изящный господин, покачивая перекинутой через колено ногой с маленькой и узкой ступней. Он оглянулся на звук, но, увидев, что это монахиня, тут же снова обернулся к лежащей и продолжил прерванную речь:

— ...Как только узнал, тетенька, что вы еще хуже расхворались, бросил к дьяволу все государственные дела и к вам. Корш мне сказал, стряпчий. Он собирается быть к вам завтра с утра. Ну, что это вы раскисать вздумали? Право, стыд. Я-то вас собрался замуж выдавать, уж и жениха присмотрел, тишайшего старичка. Не никнет, будет у вас по струнке ходить.

Поразительно — в ответ раздался слабый, но явственный смешок.

— Ну тебя, Володя. Что за старичок-то? Поди, плохонький какой-нибудь?

«Тебя»? «Володя»? Пелагия не верила своим ушам.

— Очень даже не плохонький, — засмеялся Бубенцов, блеснув белыми зубами. — И тоже генерал, вроде покойного дяденьки. Вот такие усы, грудь колесом, а как пойдет мазурку скакать — не остановишь.

— Да ты всё врешь, — дребезжаще рассмеялась Марья Афанасьевна и тут же зашлась в приступе кашля, долго не могла отдышаться. — ...Ох, проказник. Нарочно выдумываешь, чтоб меня, старуху, развлечь. И вправду, вроде полегче стало.

Присутствие Бубенцова явно шло больной во благо — она даже не спросила Пелагию, где Закусай.

Получалось, что зловредный инспектор, про которого Пелагия слышала столько скверного, в том числе и от самого владыки, вовсе не такой уж сатана. Монахиня нашла, что Владимир Львович, пожалуй, ей нравится: легкий человек, веселый и собою хорош, особенно когда улыбается.

Пусть еще посидит с Марьей Афанасьевной, отвлечет ее от черных мыслей.

Бубенцов стал препотешно описывать, как Спасенный агитирует дикого Мурада за христианский крест в ущерб магометанскому полумесяцу, и Пелагия тихонько попятилась к выходу, чтоб не мешать.

Толкнула дверь, и та стукнулась о что-то нежесткое, тут же подавшееся назад. В коридоре, согнувшись пополам, раскорячился Тихон Иеремеевич. Подслушивал!

— Грешен, матушка, грешен в суелюбобпытствии, — пробормотал он, потирая ушибленный лоб. — Зяло ужзвлен и постыжен. Удаляюсь.

Два соглядата под одной крышей — не много ли будет, подумала сестра Пелагия, глядя ему вслед.

* * *

Вечером все, как обычно, сошлись на террасе у самовара. Владимир Львович вел себя совсем иначе, чем в спальне у Марьи Афанасьевны. Был неулыбчив, сдержан,

сух — одним словом, держался как человек, который знает себе цену, и цена эта много выше, чем у окружающих. Таким он понравился Пелагии гораздо меньше. Можно сказать, совсем не понравился.

Не было только Татищевой, которую Таня поила чаем в спальне, да из всегдашних гостей отсутствовал Сытников — он ушел сразу же после того, как в Дроздовку прибыла черная карета. Взял шляпу, палку и отправился домой — до его дачи было с три версты пешего хода через парк, через луг и поля. Сначала Пелагия удивилась, но после вспомнила про размолвку, произошедшую между Донатом Абрамовичем и Бубенцовым по вопросу о дикости староверов, и поведение промышленника разъяснилось. На месте Сыникова обосновался Спасенный, почти не принимавший участия в разговоре. Лишь в самом начале, усаживаясь за стол и обозревая всё прянично-конфетно-вареньевое изобилие, строго молвил:

— Многоядение вредит чистоте души. Вот и святой Кассиан наставлял богаты многоястия и излишества брашен, не пресыщались насыщением чрева, ниже привлекались сластию гортани.

Однако Владимир Львович бросил ему:

— Помолчи, Срачица, знай свое место.

И Тихон Иеремеевич не только смиренно умолк, но и принялся усердно вкушать имеющихся на столе брашен.

Направление беседы определилось очень скоро. Всеобщим вниманием завладел Бубенцов, начавший рассказывать об удивительных открытиях, которые ужаснули Заволжск, завтра приведут в трепет всю губернию, а послезавтра всколыхнут и целую империю.

— Вы, вероятно, слышали о двух безголовых трупах, выброшенных на берег в Черноярском уезде, — начал Владимир Львович, хмуря красивые брови. — Полицейское расследование не смогло установить личность убитых, ибо без головы это почти и невозможно, одна-

ко же выяснилось, что трупы совсем свежие, не старше трех суток, а значит, преступление совершено где-то неподалеку, в пределах Заволжской губернии. Узнав об этом, я стал размышлять, с какой целью злоумышленнику или злоумышленникам понадобилось отрезать жертвам головы.

Здесь Бубенцов сделал паузу и насмешливо осмотрел присутствующих, словно предлагая разгадать эту шараду.

Все молчали, неотрывно глядя на рассказчика, а Наина Георгиевна, та и вовсе подалась вперед, впившись в него своими ослепительными черными глазами. Впрочем, она в продолжение всего вечера смотрела только на Владимира Львовича, не слишком и таясь. Странный это был взгляд: по временам Пелагии мерещилось в нем чуть ли не отвращение, но еще более того — жгучий интерес и какое-то не просто страстное, а словно бы и болезненное изумление.

Монахиня заметила, что Степан Трофимович и Поджио, сидевшие далеко друг от друга, будто сговорившись, беспрестанно вертят головами, попеременно глядя то на барышню, то на предмет ее иступленного внимания. У Ширяева на щеке багровела двойная царапина (не иначе — след ногтей), у Аркадия Сергеевича под правым глазом белела пудра.

Бубенцов же, казалось, не придавал взглядам Наины Георгиевны никакого значения. До сих пор он ни разу к ней не обратился, а посматривать если и посматривал, то с ленивым равнодушием.

Поскольку пауза в рассказе затягивалась, а хотелось послушать дальше, сестра Пелагия предположила:

— Может быть, головы отрезали именно для того, чтобы убиенных нельзя было опознать?

— Как бы не так. — Губы Владимира Львовича ненадолго растянулись в удовлетворенной улыбке. — До этих ухищрений местные душегубы не додумались бы. Тем

более что убитые явно не из здешних жителей, иначе хватились бы, что кто-то пропал, и опознали бы. Тут другое.

— Что же? — спросил Петр Георгиевич. — Да не томите же!

— Ропша, — ответил Бубенцов, сложил руки на груди и откинулся на спинку стула, словно всё уже исчерпывающе разъяснил.

Раздался звон — это сестра Пелагия уронила на пол ложечку и ойкнула, прикрыв ладонью уста.

— Что-что? — недослышал Кирилл Нифонтович, мельком оглянувшись на звон. — Польша? Поляки ссыльные шалят? С чего это вдруг? У них уж и возраст не тот.

— Ропша? — озадаченно переспросил Петр Георгиевич. — А, погодите-ка... Это из летописи! Новгородский гость, которому при Иоанне Третьем в здешних краях отсекали голову язычники. Но, позвольте, при чем здесь Ропша?

Ноздри синодального инспектора хитро дрогнули.

— Ропша ни при чем, а вот язычники очень даже при чем. Нам давно доносят, что здешние зытяки, внешне придерживаясь обрядов православия, втайне поклоняются идолам и свершают разные мерзкие обряды. Между прочим, во времена Ропши здесь жило то же племя и божки у них были те же самые.

— Невероятно, — пожал плечами Ширяев. — Я знаю зытяков. Тихий, смиренный народец. Да, у них есть свои обычаи, свои суеверия и праздники. Возможно, что и от древних верований что-то осталось. Но убивать и резать головы? Чушь. Что же они тогда после Ропши перерыв на пятьсот лет устроили?

— То-то и оно. — Бубенцов победительно повел взглядом вдоль стола. — Проведенное мной дознание выявило прелюбопытный фактец. С недавнего времени у лесных зытяков распространился слух, что в скором времени по Небесной Реке приплывет на священной ладье бог Ши-

шига, много веков спавший на облаке, и надо будет угощать его любимой пищей, чтобы Шишига не прогневался. А любимая пища у этого самого Шишиги, как явствует из летописи, — человеческие головы. Отсюда и мое предположение (собственно, и не предположение даже, но полнейшая уверенность), что Шишига к зытякам уже приплыл, и при этом чертовски голоден.

— Что вы такое говорите! — вскричал Степан Трофимович осердясь. — Какне-то нелепые домыслы!

— Увы, не домыслы. — Владимир Львович принял вид строгий и, можно даже сказать, государственный. — Тихон Иеремсевич тут времени даром не терял, обзаведся своими людишками, в том числе и в самых отдаленных уездах. Так вот, осведомители доносят, что среди зытяцкой молодежи наблюдаются непонятное брожение и агитация. Имеется сведение, что где-то в глухой чаще, на поляне, водружен истукан, изображающий бога Шишигу, и что туда-то и доставлены отсеченные головы.

— Bravo! — Наина Георгиевна вдруг всплеснула руками и зааплодировала. Все смотрели на нее с недоумением. — Шишига и человеческие жертвоприношения — это просто гениально! Я знала, Владимир Львович, что не ошиблась в вас. Представляю, что за шум на всю Россию вы устроите из этой истории.

— Лестно слышать, — склонил голову Бубенцов, с некоторым удивлением встретив ее взгляд, внезапно сделавшийся из брезгливо-изумленного восторженным. — Скандал и в самом деле общегосударственного масштаба. Разгул самого дикого язычества — позор для европейской державы, а вина целиком и полностью лежит на местных властях, прежде всего церковных. Хорошо, что здесь как раз оказался я. Можете быть уверены, дамы и господа, что я досконально разберусь в этой истории, отыщу виновных и верну лесных дикарей в лоно церкви.

— Не сомневаюсь, — ухмыльнулся Поджио. — Ох и везучий же вы человек, господин Бубенцов. Такой счастливый билет вытянуть.

Но Владимир Львович, кажется, прочно вошел в образ государственного мужа и инквизитора — шутить он сейчас был не расположен.

— Напрасно комикуете, сударь, — строго сказал он. — Дело страшное и даже чудовищное. Мы не знаем, сколько таких безголовых лежит на дне рек и озер. Верно также и то, что будут новые жертвы. Нам уже известно от доверенных людей, как обставлен ритуал убийства. Ночью к одинокому путнику подкрадываются сзади служители Шишиги, накидывают на голову мешок, затягивают на шее веревку и волокут в кусты или иное укромное место, так что несчастный и крикнуть не может. Там отрезают голову, тело бросают в болото или в воду, а мешок с добычей относят на капище.

— Oh my God! — перекрестилась мисс Ригли.

— Надо непременно сыскать это капище и выписать ученых из Императорского этнографического общества, — с азартом предложил Кирилл Нифонтович. — Идолопоклонство с охотой за головами — это же редчайшее явление для наших широт!

— Ищем, — зловеще молвил Бубенцов. — И найдем. По телеграфу из Петербурга мною уже получены все необходимые полномочия.

— Помните? — снова невпопад воскликнула Наина Георгиевна. — Нет, помните у Лермонтова?

Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья.

Господа, ну что вы такие скучные, господа? Смотрите, какая луна, сколько в ней таинственной, злой силы!

Пойдемте гулять в парк. Право, Владимир Львович, пойдемте!

Она вскочила и порывисто подбежала к Бубенцову, протягивая ему тонкую руку. Что-то с Наиной Георгиевной произошло, и, похоже, что-то очень хорошее — лицо ее сияло экстазом и счастьем, глаза сверкали искрами, точеные ноздри пылко раздувались. Внезапный порыв взбалмошной барышни никого особенно не удивил — видно, все привыкли к резким перепадам ее настроения.

— Можно и погулять, — благодушно произнес Краснов, поднимаясь. — Вот вам моя рука, мисс. — И предложил англичанке руку, галантно согнув ее калачом. — Только чур не бросать меня, а то налетят сзади и мешок на голову, ха-ха.

Наина Георгиевна всё стояла перед Владимиром Львовичем, протягивая ему руку, однако Бубенцов не делал встречного движения и только смотрел на красавицу снизу вверх спокойным и уверенным взглядом.

— Недосуг, Наина Георгиевна, — сказал он наконец ровным тоном. — Надо посидеть с тетенькой. И еще я намеревался перед сном составить памятную записку для полицейской охраны. Есть распоряжение из Петербурга приставить ко мне стражу. Дело-то нешуточное. Я уже и первую угрозу нынче получил, письменную — она к делу приложена.

Барышня ласково молвила ему:

— Ах, милый Владимир Львович, лучшая стражница — любовь. Вот кому надобно доверяться, а не полиции.

Если отказ Бубенцова и расстроил ее, то виду она не показала.

— Ну как хотите. — Кротко улыбнулась, повернулась к остальным мужчинам и уже иным голосом, повелительным, требовательным, провозгласила: — Идемте в парк. Только каждый сам по себе, чтобы страшней было, и станем перекликаться.

Она сбежала по ступенькам и растаяла в темноте. Ширяев, Поджио и Петр Георгиевич молча последовали за ней. Последний, правда, обернулся и спросил:

— А вы что же, сестра Пелагия? Идемте, вечер и вправду чудо.

— Нет, Петр Георгиевич, я тоже к вашей бабушке наведуясь.

И пошла Пелагия следом за грозным инспектором, а на террасе, что минуту назад была полна людей, остался один Спасенный, накладывавший в вазочку малинового варенья.

* * *

— Завтра с утра вам станет гораздо лучше, тетенька, и мы поедем кататься, — тоном непререкаемой уверенности говорил Бубенцов, держа Марью Афанасьевну за запястье и глядя ей прямо в глаза. — Вот только сначала сделаем дельце со стряпчим. Это очень хорошо и правильно, что вы его вызвали. А то, право, стыд и смех — Дроздовку приживалке оставлять. Это все равно как если бы Елизавета Английская завещала корону придворной шутихе. Так, тетенька, не делают.

— А кому же завещать? Петьке с Наинкой? — едва слышно возразила Татищева. — Всё на ветер пустят. Продадут имение, и не приличному человеку, потому что у дворян нынче и денег нет, а какому-нибудь денежному мешку. Он парк выкорчует, в доме фабрику откроет. Джаннетка же ничего менять не станет, всё оставит как есть. Петру с Наинкой будет денег давать, они ей как родные, а баловать не позволит.

— Королева Елизавета поступила иначе — сделала наследником Иакова Стюарта, хотя у нее имелись родственники и поближе, чем он. А всё потому, что заботилась о благе своего владения. Стюарт был муж истинно государственного ума. Королева могла быть уверена, что он не только сохранит, но и многократно укрепит ее

державу. Знала она и то, что он, будучи бесконечно ей благодарен, восславит ее память и не обидит дорогих ее сердцу сподвижников.

Больше всего Пелагию поразило то, что Владимир Львович ничуть не стеснялся присутствием посторонних. Ну, Таня, допустим, дремала, обессиленно откинувшись на стуле — умаялась за день, но сама Пелагия сидела рядом, у самого подножия кровати, и нарочно стучала спицами как можно громче, чтобы бесстыдник пришел в чувство.

Какой там!

Бубенцов наклонился ближе, по-прежнему глядя Татищевой в глаза.

— Я-то ведь знаю, как увековечить вашу память. Вам не надгробье каррарского мрамора нужно и не часовня. Это всё мертвые камни. Вам же иной памятник потребен, живой и прекрасный, который распространится из Дроздовки по всей России, а потом и по всему миру. Кто продолжит ваше благородное и многотрудное дело по выведению белого бульдога? Ведь для них для всех это глупый каприз, нелепая причуда. Ваша мисс Ригли собак терпеть не может.

— Это правда, — проскрипела Марья Афанасьевна. — В прошлом году она даже посмела завести себе кота, но Загуляй с Закидаем разодрали его напополам.

— Вот видите. А я собачник с детства. У отца были превосходные борзые. Я, можно сказать, вырос на псарне. Нужно еще лет десять, чтобы от этого крепыша, — Владимир Львович потрепал за ухо Закусай, сладко сопевшего под боком у генеральши, — развернулась прочная, устойчивая порода. Назовут эту породу «татищевской», так что и сто, и двести лет спустя...

В этот миг Закусай, разбуженный прикосновением и сосредоточенно наблюдавший за рукой, что рассеянно те-

ребила ему ухо, предпринял решительное действие — цапнул своими острыми, мелкими зубками холеный палец.

— А! — коротко вскрикнул Бубенцов от неожиданности и дернул рукой, отчего щенок кубарем полетел на пол, но ничуть не обиделся, а радостно гавкнул, немного помотал крутолобой головенкой и вдруг устремился прямо к двери, прикрытой не совсем плотно, так что оставалась щель.

— Держите его! — в панике рванулась с подушки Марья Афанасьевна. — Таня, Таня! Он опять!

Горничная вскочила со стула, ничего не понимая спросонья, поднялся и Владимир Львович.

Круглый белый задик застрял в узкой щели, но ненадолго. Толстые ножки часто-часто затопали по полу, дверь приоткрылась чуть шире, и Закусай вырвался на свободу.

— Стой! — крикнул Бубенцов. — Не волнуйтесь, тетенька, сейчас поймаю.

Втроем — Владимир Львович, Пелагия и Таня — выбежали в коридор. Щенок белел уже в дальнем конце. Увидев, что его почин оценен по достоинству, торжествующе твякнул и свернул за угол.

— В сад сбежит! — ойкнула Таня. — Там двери нараспашку!

Закусай бегал быстрее, чем преследователи, — выскочив на веранду, Пелагия едва успела увидеть белое пятнышко, резво прыгнувшее с лестницы прямо в темноту.

— Надо скорее его выловить, а то тетенька с ума сойдет, — озабоченно сказал Бубенцов и скомандовал повоенному: — Ты, как тебя, налево, монашка направо, я прямо. Кричите остальным, чтобы тоже искали. Вперед!

Через минуту сонное спокойствие парка нарушилось многоголосыми воззваниями к беглецу.

— Закусайчик! Закусаюшка! — звала Пелагия.

— Закусай! Иди сюда, скаженный! — тоненько кричала где-то за малинником Таня.

— Господа, Закусай сбежал! — бодрым кавалерийским тенорком извещал разбредшихся по парку гуляющих Бубенцов.

И те не преминули отозваться.

— Ау! — откуда-то издалека откликнулся Петр Георгиевич. — Не уйдет, мучитель! Отыщем и казним!

— Ату его, ату! — заулюлюкал из березовой рощицы Кирилл Нифонтович. — Мисс Ригли, я на поляну, а вы давайте вон туда!

И уже повсюду хрустели ветки, раздавались веселые голоса, рассыпался смех. Начинаясь привычная, превратившаяся в ритуал игра.

Сестра Пелагия старательно всматривалась во тьму, прислушивалась — не донесется ли откуда-нибудь знакомое повизгивание. И некоторое время спустя, минут через десять, уже неподалеку от речного берега, увидела-таки впереди что-то маленькое, белое. Ускорила шаг — точно он, Закусай. Уморился бегать и залег под засохшей осинкой, в двух шагах от англичанкиного газона.

— Вот ты где! — тихонько пропела Пелагия, думая только о том, чтобы не вспугнуть сорванца — потом разыскивай его по полю по всем зарослям.

Сбоку в кустах шуршали скорые шаги — видно, кто-то поспешал сюда же.

Монахиня подкралась к щенку, нагнулась и с победительным возгласом «Повался!» схватила обеими руками за круглые теплые бока.

Закусай не пискнул, не шевельнулся.

Пелагия быстро присела. Сердце у нее съежилось, словно расхотев качать кровь, и от этого в груди стало тесно и очень горячо.

Голова у щенка была странно сплюснутая, а, рядом лежал большой плоский камень, блестя под луной влажным пятном налипшей сырой земли. Здесь же виднелась и ямка, откуда камень выдернули.

В смерти мордочка у Закуся сделалась вытянутой и печальной. Сейчас он и в самом деле был похож на ангелочка.

Шаги в кустах всё шуршали, но не ближе, а, наоборот, дальше и глуше. Только теперь Пелагия поняла: кто-то поспешал не сюда, а отсюда.

V

СТРАШНО

Марья Афанасьевна умирала. Еще в самом начале ночи, когда по истошным Таниным воплям догадалась о случившемся, лишилась языка. Лежала на спине, хрипела, пучила глаза на потолок, а пухлые пальцы мелко-мелко перебирали край одеяла, всё что-то стряхивали, стряхивали и никак не могли стряхнуть.

Из города на лучшей тройке привезли доктора. Он пощупал больную там и сям, помял, послушал через трубку, сделал укол, чтоб не задыхалась, а потом вышел в коридор, махнул рукой и сказал:

— Отходит. Соборовать надо.

Потом сидел в гостиной, пил чай с коньяком, вполголоса беседовал со Степаном Трофимовичем о видах на урожай да раз в полчаса заглядывал в спальню — дышит ли. Марья Афанасьевна пока дышала, но всё слабее и слабее, подолгу проваливаясь в забытье.

Уж далеко за полночь доставили отца благочинного, подняв с постели. Он приехал вострепанный, не до конца проснувшийся, но в полном облачении и со святыми дарами. Однако когда вошел к умирающей, она открыла глаза и непримиримо замычала: не хочу.

— Собороваться не хотите, бабуленька? — пугливо спросил Петр Георгиевич, сильно взбудораженный драматическими событиями.

Татищева едва заметно качнула головой.

— А что же? — наклонилась к ней сестра Пелагия. — Батюшку не желаете?

Та медленно смежила веки, потом снова открыла и, с трудом приподняв дрожащий палец, показала куда-то в сторону и вверх.

Пелагия проследила за направлением перста. Слева и сверху ничего особенного не было: стена, литография с видом Петербурга, портрет покойного Аполлона Николаевича, фотография преосвященного Митрофания в полном архиерейском облачении.

— Вы хотите, чтобы вас владыка соборовал? — догадалась монахиня.

Генеральша снова смежила веки и палец опустила. Стало быть, так.

Опять послали в Заволжск, на епископское подворье, и стали ждать приезда Митрофания.

До утра так никто и не ложился, все разбрелись по дому. Где-то тихонько переговаривались по двое-трое, кто-то, напротив, тихо сидел в одиночестве. У Пелагии не было возможности наблюдать за поведением каждого, а жаль, потому что тут могло бы многое открыться. Глядишь, убийца бедного маленького Закусяя себя чем-нибудь и выдал бы. Но христианский долг превыше мирских забот, и монахиня неотлучно сидела у ложа Марьи Афанасьевны, читая молитвы и шепча слова утешения, которых страдала, вернее всего, и не слышала. Лишь на рассвете Пелагия зачем-то наведлась в сад, отсутствовала с полчаса и вернулась в сильной задумчивости.

Взошло солнце, стало карабкаться выше и выше, уж и полдень миновал, а преосвященного всё не было. Доктор только головой качал — говорил, что больная дер-

жится из одного упрямства: вбила себе в голову во что бы то ни стало дожидаться племянника и теперь ни в какую не отойдет, пока его не увидит.

Приехал стряпчий Корш. Бубенцов выставил Пелагию за дверь, чтоб не мешала переписывать духовную. В свидетели призвал Спасенного и Краснова, потому что Наина Георгиевна не выходила из своей комнаты, Петр Георгиевич попросил его уволить, а Степан Трофимович лишь брезгливо поморщился: до завещаний ли в такую минуту.

Очень всё это Пелагии не понравилось, но сделать ничего было нельзя. Появился Донат Абрамович Сытников, но вступать в чужие семейные дела не пожелал — пусть будет, как будет (из чего следовало, что вовсе не так уж он заинтересован в Горяевской пустоши, как мерещилось мнительной Марье Афанасьевне).

Только зря бился Бубенцов над умирающей, никакой переделки не вышло. Час спустя Корш, утирая платком пот, вышел из спальни и попросил квасу.

— Нет таких обычаев, чтобы по мычанию последнюю волю угадывать, — сердито объяснил он сестре Пелагии. — Я им не шут балаганный, а член нотариальной гильдии. — И велел закладывать бричку, даже обедать не пожелал.

Владимир Львович выскочил за ним мрачнее тучи. Догнал строптивого Корша, взял под локоть и громко что-то зашептал. Что — неизвестно, только Корш все равно уехал.

Было слышно, как Бубенцов во дворе бешено крикнул вдогонку бричке:

— Пожалее!

Стряпчий укатил, но взамен прибывали все новые и новые гости, прознавшие о печальном событии. Тут были и соседские помещики, и многие губернские нотабли, в том числе даже и предводитель дворянства. Вряд ли

столько публики приехало бы проститься с генеральшей Татищевой, если б не слухи, ходко распространившиеся по заволжским весям. На лицах собравшихся, помимо уместного случаю скорбного ожидания, прочитывалась еще и некоторая ажитация, часто звучали тихонько произносимые свистящие слова «завещание» и «щенок».

Вокруг мисс Ригли происходило странное движение, и чем дальше, тем оно становилось заметнее. Когда окончательно выяснилось, что завещание остается в силе, англичанка и вовсе угодила в некое подобие водоворота. Малоознакомые, а то и вовсе незнакомые дамы и господа подходили к ней, произносили слова, преисполненные самого горячего сочувствия, и с любопытством заглядывали в глаза. Иные же, наоборот, подчеркнуто сторонились наследницы, всем своим видом выказывая ей осуждение и даже брезгливость. Бедная мисс Ригли совсем потеряла голову и только время от времени порывалась кинуться на поиски Петра Георгиевича и Наины Георгиевны, чтобы непременно с ними объясниться.

Однако Наина Георгиевна так и не вышла из своей комнаты, а Петром Георгиевичем завладел Бубенцов. Выйдя на двор, чтобы посмотреть, не едет ли наконец владыка, Пелагия увидела, как Владимир Львович быстро уводит растерянного Петю подальше от публики: одной рукой придерживает за плечо, другой жестикулирует. Донесся обрывок фразы: «расследовать обстоятельства и опротестовать, всенепременно опротестовать».

Впрочем, дел у государственного человека хватало и без того. Утром к нему из города сломя голову пригалоупировал нарочный, после полудня еще один. Оба раза Владимир Львович надолго уединялся с гонцами в библиотеке, после чего таинственные всадники столь же отчаянно устремлялись в обратном направлении. Видно было, что следствие по делу о пропавших головах ведется не за страх, а за совесть.

Митрофаній пожаловал ближе к вечеру, когда уже и не чаяли.

Подойдя к благословению, Пелагия с укором произнесла:

— То-то Марье Афанасьевне радости будет. Заждалась она, бедная.

— Ничего, — ответил преосвященный, рассеянно крестя всех, кто вышел во двор его встречать. — Это не она, а смерть заждалась. Ее же, пустоглазую, и потомить не вредно.

Был он какой-то неторжественный, деловитый. Будто приехал не соборовать умирающую, а инспектировать местное благочиние или еще по какому важному, но рабочему делу.

— Проветривай карету, а то душно, — зачем-то велел он келейнику, сидевшему рядом с кучером на козлах.

Пелагии же сказал:

— Ну давай, веди.

— Владыко, а святые дары? — напомнила она. — Ведь соборовать надо.

— Соборовать? Отчего же, можно и соборовать, елеосвящение и для здоровья полезно. Отец Алексий!

Из кареты, с переднего сиденья, грузно вылез иподиакон в парчовом стихаре и с дароносицей.

Прошли полутемным коридором, где по стенам стояли и кланялись люди, шелестели голоса: «Благословите, владыко». Митрофаній благословлял, но никого как бы не узнавал и вид имел сосредоточенный. Из спальни выгнал всех, с собой впустил только отца Алексия и Пелагию.

— Что, раба Божья, вознамерилась помереть? — строго спросил он у лежащей, называя ее на ты, и видно было, что не племянник Мишенька спрашивает, а строгий пас-

тырь. — Присишься к Отцу Небесному? А Он тебя звал или сама в гости набиваешься? Если сама, то грех это.

Но грозные слова на Марью Афанасьевну не подействовали. Она смотрела на архиерея неподвижным, суровым взглядом и ждала.

— Ладно, — вздохнул Митрофаний и потянул через голову черную дорожную рясу, под которой открылась златотканая риза с драгоценной епископской панагией на груди. — Готовьте, отче.

Диакон положил на прикроватный столик малое серебряное блюдо, насыпал в него из мешочка пшеничных зерен. Посередине поставил пустое кадило, разложил семь свечей. Митрофаний освятил елей и вино, влил в кадило, сам зажег свечи. Помазывая умирающей лоб, ноздри, щеки, губы, грудь, руки, стал тихо, с чувством произносить молитву:

— Отче Святой, Врачу души и телес, пославый Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющего и от смерти избавляющего: исцели и рабу Твою Марию от обдержавших ее телесных и душевных немощи, и оживотвори ее благодатию Христа Твоего, молитвами Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии...

Семикратно свершил владыка положенный обряд и молитву, каждый раз гася по одной свече. Марья Афанасьевна лежала смирно, кротко взирала на пламя свечек и беззвучно шевелила губами, как бы произнося: «Господи, помилуй».

Закончив моление, Митрофаний придвинул к кровати стул, сел и будничным голосом сказал:

— А причащать святых тайн пока повременим. Душаю, довольно будет и елеосвящения.

Татищева недовольно дернула углом рта, жалостно простонала, но владыка только рукой махнул.

— Лежи, слушай. С вечера не преставилась, значит, и еще повременишь, пока с тобой святитель беседовать станет. А если помереть вздумаешь, так от одной только строптивости.

После такой преамбулы преосвященный немного помолчал и заговорил уже по-другому, хоть негромко, но с печальной проникновенностью:

— Вот часто услышать можно, как говорят, в том числе и люди не слепо, а зряче верующие, что жизнь — дар от Господа драгоценный. А мне представляется, что и не дар это вовсе, ибо дар предполагает одно только душе и телу приятствие, в жизни же смертных человек приятности немного. Терзания телесные и духовные, грехи с пороками, утрата близких — вот наша жизнь. Хорош дар, а? Посему думается мне, что жизнь не как дар понимать нужно, а как некое послушание вроде тех, что монахам дают, и непременно каждому человеку свое — по пределу сил его, не больше, но и не меньше. Сила души у всех нас разная, оттого и тяжесть послушания тоже разная. Также и срок всякому назначен свой. Кого пожалеет Господь, того в младенчестве приберет. Иному средний срок назначит, а кого более всего испытать захочет — отяготит долголетием. Дар, он потом, после жизни будет. Мы, грешники неразумные, его страшимся и смертью называем, а смерть эта — долгожданная встреча с Всемиловитым Отцом нашим. Господь испытывает каждого на свой лад и никогда в бесконечной изобретательности Своей не повторится, однако большущий грех и большое расстройство для Родителя, если кто вздумает самочинно сокращать назначенный срок послушания. Не человек назначает сию встречу, а едино лишь Бог. Потому церковь так непреклонна к самоубийству, почитая его худшим из грехов. Плохо тебе, больно тебе, горько тебе, а ты терпи. Господь знает, у кого в душе сколько крепости, и лишнего груза на чадо Свое не возложит. Претерпеть надо, вынести и

через это душой очиститься и возвыситься. А то, что ты делаешь, — прямое самоубийство и есть, — засердился Митрофаний, сбившись с доверительной ноты. — Здоровая, крепкая старуха! Что ты тут комедию играешь? Из-за какого-то белого бульдога Господа огорчаешь, душу свою погубить хочешь! Не будет тебе от меня предсмертного отпущения, так и знай, потому что святая церковь самоубийцам потачки не дает! А коли заупрямишься, велю тебя похоронить за оградой, в земле неосвященной. И завещание твое перед светскими властями опротестую, потому что завещание самоубийц по российскому закону недействительно!

Глаза умирающей сверкнули яростным пламенем, губы зашлепали одна о другую, но не исторгли ни единого звука. Зато дрогнули благостно сложенные на груди руки, и та, что сверху, правая, с трудом сложилась в подобие кукиша.

— Вот-вот, — обрадовался епископ. — Уходи из жизни со знаменем дьявольским. В самый раз для тебя будет. Я персты твои, как помрешь, разлеплять не позволю. Так в гробу и лежи с шишом, пускай все полюбуются.

Генеральшины пальцы расцепились, выпрямились, ладонь десницы благолепно улеглась поверх шуйцы.

Преосвященный покачал головой и снова заговорил человечно, словно и не выходил из себя:

— Смотри, Мария, сколько ты за жизнь свою горечи испила: и супруга любимого схоронила, и четверых детей пережила. Ничего, не умерла. Неужто псы эти тупорылые тебе дороже родных людей? Право, стыд и срам.

Митрофаний подождал, не будет ли какого знака, но Марья Афанасьевна только закрыла глаза.

— Я ведь знаю, в тебе жизни еще много, не избыла ты свой срок, не наполнилась ею, как зерном колос, подобно патриархам ветхозаветным. Ты вот еще о чем подумай. Кому Господь долгую жизнь назначил, тем тяжелее

всего, потому что испытание их очень уж длинное. Но зато и награда им особенная. Чем дольше я на свете живу, тем более мне кажется, что дряхлая старость — даже и не испытание, а как бы некая от Бога милость. Вот уж воистину дар так дар. Лишь в глубокой и мудрой старости избавляется человек от страха смертного. Увядание плоти и самое угасание ума — благое предуготовление к иной жизни. Смерть не срезает тебя косою под ноги, а медленно входит, по капле, что, пожалуй, и не лишено сладости. Недаром многие старцы из числа великосхимников, кто дожил до древних лет, пребывают на склоне дней не столько здесь, сколько там, в райском блаженстве. Бывает, самая плоть их по смерти делается петляющей, что поражает людей. Да что говорить про святых старцев. У любого очень старого человека все знакомцы — кого любил, кого ненавидел — уже там, ждут его, он один позади задержался, и оттого не страшно ему. Доподлинно известно ему, что всякие — и умнее его, и глупее, и злее, и добрее, и смелее, и трусливее, — все, кого знал он, преодолели этот страшный порог, и ничего. А значит, не такой уж он и страшный...

Тут Марья Афанасьевна, слушавшая пространную проповедь владыки с необычайным вниманием, упокоенно улыбнулась, и Митрофаній сдвинул черные брови, потому что ожидал иного воздействия. Он вздохнул, перекрестился, увещевать больше не стал.

— Что ж, если чувствуешь ты, что тебе пора, если зовут тебя — задерживать не стану. И причащу, и отпою, и в освященную землю положу, как подобает. Это я тебя в сердца пугал. Помрай, коли решила. Если тебя жизнь ничем больше не держит, не прельщает, где уж мне, слабому, тебя удержать. Только вот... — Он обернулся к диакону и приказал: — Давайте, отче, несите.

Отец Алексий кивнул, вышел за дверь. В спальне стало тихо. Марья Афанасьевна лежала с закрытыми глаза-

ми, и лицо у нее было такое, будто она уже не на ложе, а посреди церкви, в раскрытом гробу, и из-под высоких сводов навстречу ей сладко поют ангелы. Митрофаній встал, подошел к висевшей на стене литографии, стал с интересом ее разглядывать.

А вскоре двери отворились, и диакон с келейником внесли плетеный короб с малым поверху окошечком. Поставили на пол я, поклонившись владыке, отошли к стенке.

В коробе что-то странным образом шуршало и чуть ли даже не попискивало. Сестра Пелагия от любопытства вытянула шею и на цыпочки встала, желая заглянуть в окошко, однако Митрофаній уже откинул крышку и запустил внутрь обе руки.

— Вот, тетенька, — сказал он обычным, непастырским голосом. — Хотел показать вам, пока не померли. Из-за того и припозднился. По моему приказанию посланцы мои обшарили всю округу, даже и телеграфом воспользовался, хоть, сами знаете, и не люблю этих новшеств. В помете у отставного майора Сипягина нашелся белый бульдожонок женского пола. И ухо, поглядите-ка, правильное. А из Нижнего в дар от купца первой гильдии Сайкина скороходным паровым катером два часа назад доставили белого же кобелька, полутора месяцев. Тот вообще по всем статьям молодец. Сучка — та не сплошь белая, с рыжими носочками, но зато исключительной криволапости. Звать Муся. Еле Сипягин отдал — дочка никак не хотела расставаться. Пришлось отлучением пригрозить, за погубление души христанской, что с моей стороны было даже и противозаконно. А кобелек пока без имени. Смотрите, какое у него ухо коричневое. Нос, как полагается, розовый, крапчатый, и, главное, мордой замечательно брудаст. Подрастут щенки — можно наново скрещивать. Глядишь, через два-три поколения белый бульдог и восстановится.

Он извлек из корзины двух пузатых щенков. Один был побольше, зло тявкал и сучил лапами, другой свисал смиренно.

Пелагия оглянулась на умирающую и увидела, что Марья Афанасьевна магическим образом переменялась и для гроба уже никак не годится. Она смотрела на бульдожат во все глаза, и пальцы на груди слабо шевелились, будто пытаясь что-то ухватить.

Едва слышный, дрожащий голос спросил:

— А слюнявы ли?

Преосвященный шепнул Пелагии: «Доктора», — а сам подошел к кровати и усадил обоих щенков генеральше на грудь.

— Да вот, полюбуйтесь сами. Так ниточкой и текут.

Пелагия выскочила в коридор с таким лицом, что доктор, оказавшийся неподалеку, понимающе кивнул:

— Всё?

Она помотала головой, еще не опомнившись от только что явленного Божьего чуда, и молча показала: идите, мол.

Доктор выглянул через две минуты. Вид у него был озадаченный и деловой.

— Впервые за двадцать семь лет практики, — сказал он собравшимся у двери и крикнул: — Эй, кто-нибудь! Горничная! Бульону горячего, и покрепче!

* * *

Владыка встретил Пелагию в отведенных ему покоях посвежевшим и веселым. Успел умыться, переодеться в светло-серый подрясник, выпить холодного кваску.

— Ну, что православные? — спросил он, лукаво улыбаясь. — Чай, про чудодейственное избавление толкуют?

— Разъехались почти все, — доложила Пелагия. — Еще бы, такое происшествие. Не терпится домашним и знакомым рассказать. Но предводитель еще здесь, также и Бубенцов со своим секретарем.

— Поджал, поди, хвост, бесенок? — Митрофаний по-серьезнел. — Пока ты тут, Пелагия, попусту время теряла, у нас в Заволжске такие дела пошли...

Монахиня приняла упрек безропотно, склонила голову. Что ж, виновата — не уберегла она малютку Закусая, а если Марья Афанасьевна на поправку пошла, то не ее стараниями.

— Бубенцов большую силу взял, таких турусов наворотил, такого шума на всю Россию поднял, прямо не знаю, отобьюсь ли...

И преосвященный поведал Пелагии то, что она уже слышала от самого Бубенцова, только у Митрофания толкование убийства выходило совсем иное.

— Бред и глупость все эти выдумки про бога Шишигу. Загубили какие-то лихие люди две человеческие души, раздели и головы отрезали — то ли от озорства, то ли по лютой злобе, то ли еще от чего. Мало ли каких извергов земля носит. А Бубенцов обрадовался, давай паутину плести. Летопись допотопная ему куда как кстати пришлась. Сам знаю, что зытяки наши христиане больше по названию и много подвержены языческим суевериям, но ведь тихий народец, мирный. Не то что убить, у них и красть-то заводу нет. А этот бес в считанные дни поднял муть со дна людских душ, расплодил наушников и клеветников. Как в Евангелии: «И тогда соблазнятся мнози, и друг друга предадут, и возненавидят друг друга». Тьфу, скверна какая! Теперь многие по вечерам боятся из дому выйти, и двери со ставнями на ночь запирают — уж этакого-то сраму у нас лет десять не было, с тех пор как всех разбойников повывели. Ну да ничего, Сатана — наваждение, а Господь — избавление. На всякую злую каверзу сыщется управа. Как нынче сыскалась здесь, в Дроздовке.

И вернувшись к отрадной теме, Митрофаний снова **пришел** в приятное расположение духа.

— Что, Пелагиюшка? — прищурил он смеющийся глаз. — Простительный это грех, если я погоржусь самую малость?

— Как тут не погордиться, — искренне молвила инокиня. — Не раздражится Господь. Спасли вы Марью Афанасьевну, и все это видели, все подтвердят.

— То-то. Особенно я рад, что мерзавцу этому неведомому, тихоне, что собачек истребил, все карты спутал. Паскудник уж, поди, ручонки потирал, что сгубил старушку, ан вот тебе. — И архиерей сложил из пальцев ту самую фигуру, которую еще малое время назад сам назвал «знамением дьявольским». — Порода у нас крепкая. Тетенька еще лет десять проживет, а Бог даст, и пятнадцать. И наново уродов своих мордастых выведет.

Совсем немного погордился Митрофаний и, видно, решил, что хватит. Взглянул на Пелагию испытующе, покачал головой:

— Что, непростое послушание вышло? А ты, верно, думала — пустяк, какие-то псы смехоподобные, я, моя, и не такие клубки распутывала? Только, видишь, дело само разрешилось. Я тут говорил «мерзавец», «паскудник», а надо бы «мерзавка» и «паскудина». Картина ведь ясная. Осерчала Марья Афанасьевна на законных наследников да в пику им составила духовную на англичанку эту. Не всерьез, конечно, для острастки. А у лютеранки от жадности помрачение рассудка вышло, в ее положении очень понятное. Из приживалок на старости лет вдруг богачкой сделаться. У кого хочешь мозги набекрень съедут.

— Мисс Ригли не старая, — сказала Пелагия. — Ей вряд ли больше пятидесяти.

— Тем более. Самый возраст, когда из человека начинает сила уходить и делается страшно завтрашнего дня. Выгнать ее теперь отсюда, и правильно. Неблагодарность — тяжкий грех, а предательство — наихудший.

— Нельзя допустить, чтоб выгнали, — решительно заявила Пелагия. — Мисс Ригли собак не убивала. Когда подсыпали яду Загуляю и Закидаю, завещание еще не было изменено в ее пользу. Я так думаю, что наследство тут вообще ни при чем.

— Как так ни при чем? Ради чего ж тогда было старуху в могилу загонять? И кто всё это умыслил, если не англичанка?

Митрофаній удивленно смотрел на свою духовную дочь, а та подвигала вверх-вниз рыжими, да ещё выгоревшими на солнце бровями, и — как с обрыва в речку:

— Ради чего, сама не пойму, а вот кто собачек извел, пожалуй, знаю.

В дверь деликатно, но настойчиво постучали — очень уж не ко времени. Заглянул иподиакон.

— Ваше преосвященство, все общество в гостинной, очень вас просят. Я говорю — отдыхают с дороги, а они: умоли, мол. Предводитель только вас дожидается, у него уж и коляска запряжена, но без вашего благословения ни в какую не едет. Может, выйдете?

С отца Алексия архиерей перевел взгляд обратно на Пелагию, на лбу прорисовались три поперечные морщины.

— Разговор у нас с тобой, Пелагия, надо думать, будет долгий. Пойдем в гостиную. Отбуду предписанное приличиями, а после продолжим.

* * *

В гостинной и в самом деле собралось целое общество, встретившее архиерея восторженным гудом и, верно, разразившееся бы аплодисментами, если б не почтение к высокому сану. Бубенцов и тот подошел, с чувством сказал:

— Вечная вам благодарность, владыко, за тетеньку.

Еще бы ему не благодарить — теперь можно сызнова вести подкоп под духовную. Довольное лицо Митрофа-

ния на миг омрачилось (очевидно, именно от этой мысли), и пастырь отвернулся от неприятного молодого человека, как бы забыв его благословить.

А с другой стороны уже подлезал Спасенный, слезливо приговаривал:

— Яков живот наш есть: цвет, и дым, и роса утрення воистину. Ручку, ручку вашу святую поцеловать...

— Господа! Господа! — провозгласил Краснов. — Только что родилось стихотворение. Послушайте, господа, экспромт. В стиле великого Державина! «Ода на чудесное избавление дроздовской царицы Марьи Афанасьевны от смертных опасности».

Припав к ликующей цевнице,
От всех счастливых россиян
Пою, блаженством осиян,
Я исцеление царицы.

От яда черная змея,
Твоей рабы неблагодарной,
Погибли смертию коварной
Пребелы ангелы твои.

Но Провидение не дало
Свершиться гнусности такой,
Владыки твердою рукой
Изъято мерзостное жало!

— Кирилл Нифонтович! — дрожащим голосом вскричала мисс Ригли, прервав декламацию и протягивая к поэту свои тощие руки. — Неужто и вы от меня отступились!

Владимир Львович недобро улыбнулся:

— Отлично! Вот уж воистину на воре шапка горит.

Как-то само собой вышло, что англичанка оказалась в середине пустого круга, словно намеренно выставленная на всеобщее обозрение.

— Мисс Ригли и правда не любила бабушкиных бульдогов, но предположить, что она... Нет-нет, немислимо, —

замотал головой Петр Георгиевич. — Вы ее совсем не знаете, Владимир Львович. То есть, конечно, со стороны все это может показаться и даже, наверное, не может не показаться в высшей степени подозрительным, однако же как человек, знающий мисс Ригли с раннего детства, могу полностью за нее ручаться и уверяю вас, что это предположение совершенно не имеет...

— Она это, англичанка, больше некому, — прервал его сбивчивые уверения один из гостей. — И умысел, право, какой-то нерусский. Не просто взять и убить, а сердце человеку надорвать. Больно мудрено для православного. Да что говорить, дело ясное.

Спасенный присовокупил:

— Очи имущи да видите, уши имущи да слышите.

— Ах, перестаньте, что за чушь! — К мисс Ригли подошла Наина Георгиевна и взяла ее за руку. — Don't listen to them. They do not know what they are saying*. — Оглянувшись, барышня окинула всех ненавидящим взглядом. — Уж и приговор вынесли! Я Джаннету в обиду не дам!

Англичанка всхлигнула и благодарно припала лбом к плечу своей воспитанницы.

— Однако, Наина Георгиевна, это не в вашей власти — предотвратить полагающееся по закону разбирательство, — заметил предводитель. — Мы, разумеется, понимаем и уважаем ваши чувства, однако же пускай полиция разбирается, имеется ли в этой истории состав преступления и кто несет ответственность. По моему глубокому убеждению, здесь именно преступление, и трактоваться оно должно как покушение на убийство. Уверен, что так же решит и суд присяжных.

— Это каторга? — в ужасе пискнула мисс Ригли, затравленно оглядываясь по сторонам. — Сибирь?

— Да уж не Брайтон, — зловеще ответил предводитель, гордившийся знанием европейских курортов.

* Не слушайте их. Они сами не знают, что говорят (англ.).

Англичанка опустила голову и тихо заплакала, видно, уже ни на что не надеясь. Наина Георгиевна, вся порозовев от негодования, обняла ее за плечи и стала нашептывать что-то утешительное, но мисс Ригли только горько повторяла:

— Нет-нет, я здесь чужая, *the Jury will condemn me** ...

Сестра Пелагия, сердце которой разрывалось от этой жалостной сцены, с мольбой взглянула на преосвященного. Тот успокоительно кивнул. Стукнул посохом по полу, кашлянул, и все сразу замолчали, почтительно к нему обернувшись.

— Оставьте эту женщину, — пророкотал владыка. — Она невиновна.

— Но как же завешание, ваше преосвященство? — Предводитель развел руками. — Ведь первый следственный принцип: *cui prodest***.

— Граф Гавриил Александрович, — наставительно погрозил ему пальцем епископ, — пироги должен пекчи пирожник, ваше же дело — попекаться о нашем дворянстве, а не дознаниями заниматься, к чему у вас, уж не прогневайтесь, и предрасположения никакого нет.

Предводитель смущенно улыбнулся, а Митрофаный так же неспешно продолжил:

— Не следовало бы пренебрегать заверениями сего молодого человека и девицы, знающих эту особу чуть не от своего рождения. А если вам того недостаточно, то извольте: первого пса погубили, когда завешание еще не было переделано на госпожу Ригли. Где ж тут, Гавриил Александрович, ваш *prodest*, а?

— Хм, верно! — шелкнуд пальцами непочтительный Поджио. — Владыка-то остёр.

Вконец сконфуженный предводитель развел руки еще шире:

* присяжные меня осудят (*англ.*).

** [Ищи] кому выгодно (*лат.*).

— Но позвольте, кто же тогда поубивал собак? Или это так и останется сокрытым тайной?

Молчание было столь напряженным, взгляды, со всех сторон обращенные к архиерею, были полны таким ожиданием, что Митрофаний не вынес соблазна.

— От людей сокрыто, да Богу ведомо, — сказал он веско. — А от Него и служителям Его.

Тут уж в гостиной всякое шевеление прекратилось. У дверей, схватившись обеими руками за тесемку белого передника, замерла горничная Таня. Скептически склонил голову Бубенцов. Мисс Ригли потянулась платочком вытереть слезы, да и замерла. Даже гордая Наина Георгиевна смотрела на владыку будто замороженная.

Митрофаний взял за руку Пелагию, вывел на середину комнаты.

— По моему наказу здесь несколько дней прожила сестра Пелагия, мое зоркое око. Велю тебе, дочь моя, рассказать этим людям то, что ты выявила. Дело это слишком взбудоражило умы и замутило души, так что не будем с тобой келейничать.

Пелагия опустила глаза и подвигала вперед-назад по переносице очки, что являлось у нее признаком неудовольствия, но сердиться на владыку ей было неместно. Оставалось только повиноваться.

— Если благословяете, отче, расскажу, — сказала она, переборов понятное волнение. — Но сначала повинюсь и попрошу прощения. Мне бы раньше разобраться следовало. И детеныш невинный был бы жив, и Марья Афанасьевна избежала бы горестного потрясения, чуть не сведшего ее в могилу. Припозднилась я, только сегодня поутру мне кое-что открылось, да и то не до конца...

Все слушали монахиню очень внимательно, кроме разве что Владимира Львовича — тот стоял подбоченясь и взирал на черницу с насмешливым удивлением. Да и его клевет Тихон Иеремеевич, заразившись примером

своего господина, воспользовался паузой, чтобы вполголоса, словно бы про себя, изречь:

— Жены ваша да молчат, не повелесе бо им глаголати, но повиноватися, якоже и закон глаголет.

— Не искажайте Священного Писания, это грех великий и к тому же наказуемый, — не спустил ему каверзы Митрофаній. — У святого апостола сказано «в церквах да молчат» — в том смысле, что во время богослужения длинноязыкие жены помалкивать должны, однако христианский закон рта женщинам не затыкает. Это вы, почтенный, видимо, с магометанством спутали.

— Виноват, владыко, памятью стал скуден, — смиренно отвечив Спасенный и низко, чуть не до земли поклонился преосвященному.

Пелагия перекрестилась, зная, что в самом скором времени в тихой зале разразится вопль содомский и гоморрский, но делать нечего, начала:

— Тут в Дроздовке три убийства произошло, одно пять дней назад, другое третьего дня, а последнее вчера вечером. Именно что убийства, хоть и не людей убивали. Первое убийство было подготовлено заранее, с осторожным умыслом. Кто-то хотел разом отравить и Загуляя, и Закидая. Во второй и третий раз вышло по-другому: убийца не готовился вовсе, а действовал впопыхах, бил тем, что под руку подвернулось. Когда убили Закидая, в ход пошел топор, взятый из садовой будки. Вчера хватило и обычного камня. Много ли дитяти надо? Поди, и пискнуть не успел...

Монахиня снова перекрестилась, хотя по собаке и не полагалось бы. Ну да ничего, хуже не будет.

— Ясно одно: убийство собак с завещанием никак не связано, потому что, как указал владыка, перемена духовной не сказалась на злом намерении собакоубийцы. Этот человек все равно довел свое черное дело до конца. То ли хотел таким образом извести Марью Афанасьевну,

то ли добивался какой-то иной, нам неизвестной цели. Но и в сем последнем случае поступки этого человека двойные отвратительны — из-за равнодушия, с которым убийца взирал на страдания несчастной женщины. Ведь не мог же убийца не понимать, что разрушает ее душевное и физическое здоровье... А самое загадочное здесь вот что. — Пелагия подтянула сползшие очки. — К чему понадобилась такая спешка с Закидаем и Закусаем? Зачем убийце было так рисковать? Оба раза в парке гуляли люди. Могли увидеть, разоблачить. Я, например, вчера чуть не застягла злоумышленника на месте преступления, даже слышала шаги, но, грешным делом, побоялась вдогонку бежать, а когда духом укрепились — уж поздно было. В ожесточении и дерзости преступника чувствуется какая-то особенная страсть. То ли ненависть, то ли страх, то ли еще что. Не знаю и гадать не берусь. Вся надежда, что злоумышленник, а вернее, злоумышленница сама нам расскажет.

— Злоумышленница?! — ахнул Ширяев. — То есть вы, сестра, хотите сказать, что убийца женского пола?

Все заговорили разом, а Митрофаній взглянул на Пелагию с некоторым сомнением и, кажется, уже пожалел, что уполномочил ее на разоблачения.

— Так это все-таки англичанка? — вконец запугался граф.

Наина Георгиевна с вызовом вскинула точеный подбородок.

— Нет, вам же было сказано, что нет. Намек очевиден. Кроме мисс Ригли, здесь только одна женщина — я.

— А Татьяна Зотовна тебе не женщина? — оскорбился Петр Георгиевич за честь своей Дульсиней, но сразу же понял, что заступничество не вполне удачно, и смеялся. — Ах, простите, Таня, я совсем не в том смысле...

Опомнившись, он подскочил к инокине сердитым петушком:

— Что за бред! Кликушество! С чего вы взяли, что это женщина? Откровение вам, что ли, было?

Тихон Иеремеевич, видимо, всё еще не простивший Пелагии ссылки во флигель, привел уместное высказывание:

— Уста глупых изрыгают глупость.

И оглянулся за поддержкой на своего хозяина, однако Бубенцов на него даже не взглянул, а вот на монахиню смотрел уже не так, как раньше, но с явным интересом. Чудно вел себя нынче Владимир Львович: обыкновенно в обществе соловьем разливался и не терпел, чтобы кому-то другому внимали, а тут за весь вечер ни разу рта не раскрыл.

— Откровения не было, — спокойно ответила Пелагия, — да и ни к чему оно, когда довольно обычного человеческого разума. Как рассвело, наведалась я туда, где вчера Закусяя убили. Земля там вокруг вся истоптанная, кто-то ходил вокруг того места, и довольно долго. Возле ямки, что от камня осталась — след правой ноги глубже, как если бы кто-то оперся на нее, нагибаясь. И еще один, точно такой же, там, где убийца склонился, чтобы ударить шенка по голове. Башмачок дамский, на каблуке. Обувь на каблуке в доме носят только двое — мисс Ригли и Наина Георгиевна. — Пелагия достала из поясной сумки листок бумаги с обведенным контуром подошвы. — Вот этот след, длина стопы девять с половиной дюймов. Можно приложить, чтобы удостовериться.

— У меня нога не девять с половиной дюймов, а одиннадцать, — испуганно заявила мисс Ригли, уже во второй раз за вечер попав под подозрение. — Вот, господа, смотрите.

В подтверждение англичанка высоко задрала ногу в шнурованном ботинке, но никто смотреть не стал — все бросились оттаскивать Наину Георгиевну от сестры Пелагии.

Экзальтированная девица кричала, тряся монахиню за ворот:

— Вынюхала, высмотрела, черная мышка! Да, я это сделала, я! А зачем, никого не касается!

Очки полетели на пол, затрещала ткань, а когда Наину Георгиевну наконец отцепили, на щеке у инокини сочилась кровью изрядная царапина.

Вот когда начался вопль содомский и гоморрский, предвиденный Пелагией.

Петр Георгиевич неуверенно засмеялся:

— Нет, Наиночка, нет. Зачем ты на себя наговариваешь? Снова оригинальничаешь?

Но громче был голос Ширяева. Степан Трофимович с мукой выкрикнул:

— Наина, но зачем? Ведь это страшно! Подло!

— Страшно? Подло? Есть пределы, за которыми не существует ни страха, ни подлости!

Она сверкнула иступленным взглядом, в котором не было и тени виноватости, раскаяния или хотя бы стыда — лишь экстаз и странное торжество. Можно даже сказать, что в облике Наины Георгиевны в эту минуту проглядывало что-то величавое.

— Bravo! Я узнал! «Макбет», акт второй, сцена, кажется, тоже вторая. — Аркадий Сергеевич сделал вид, что рукоплещет. — Те же и леди Макбет.

От крови руки алы у меня,
Но сердце белого белей,
И мне не стыдно.

Публика в восторге, вся сцена закидана букетами. Bravo!

— Жалкий шут, бездарный гладкописец, — прошипела опасная барышня. — Из искусства вас выгнали, и ящик ваш деревянный спасет вас ненадолго. Скоро всякий кому не лень станет фотографом, и останется вам одна дорога — живые картинки на ярмарке представлять!

Петр Георгиевич взял сестру за руки:

— Наина, Наина, опомнись! Ты не в себе, я позову доктора.

В следующий миг от яростного толчка он чуть не полетел кубарем, и гнев разъяренной фурии обрушился на родственника:

— Петенька, братец ненаглядный! Ваше сиятельство! Что сморщился? Ах, ты не любишь, когда тебя «сиятельством» зовут! Ты ведь у нас демократ, ты выше титулов. Это оттого, Петушок, что ты фамилии своей стесняешься. «Князь Телианов» звучит как-то сомнительно. Что за князья такие, про которых никто не слыхивал? Если б был Оболенский или Волконский, то и «сиятельством» бы не побрезговал. Ты женись, женись на Танюшке. Будет княгиня тебе под стать. Только что ты с ней делать-то будешь, а, Петя? Книжки умные читать? Женщине этого мало, вовсе даже недостаточно. На другое-то ты не способен. Тридцать лет, а всё отроком. Сбежит она от тебя к какому-нибудь молодцу.

— Черт знает что такое! — возмутился предводитель. — Такие непристойности при владыке, при всех нас! Да у нее истерика, самая натуральная истерика.

Степан Трофимович потянул нарушительницу приличий к дверям:

— Идем, Наина. Нам нужно с тобой поговорить.

Она зло расхохоталась:

— Ну как же, непременно поговорить и слезами чистыми омыться. Как вы мне надоели со своими душевными разговорами! Бу-бу-бу, сю-сю-сю, — передразнила она, — долг перед человечеством, слияние душ, через сто лет мир превратится в сад. Нет чтобы девушку просто обнять и поцеловать. Идиот! Сидел по-над просом, да остался с носом.

Хотел было что-то сказать и Сытников, уж и рот раскрыл, но после расправы, учиненной над предшествен-

никами, почел за благо промолчать. Только всё равно перепало и ему:

— Что это вы, Донат Абрамович, сычом на меня смотрите? Не одобряете? Или собачек пожалели? А правду говорят, что вы жену вашу семипудовую отравили поганим грибом? Для новой супруги вакансию освобождали? Уж не для меня ли? Я, правда, тогда еще в коротких юбочках бегала, но вы ведь человек обстоятельный, далеко вперед смотрите!

Она захлебнулась коротким, сдавленным рыданием и бросилась к двери — все испуганно расступились, давая ей дорогу. На пороге Наина Георгиевна остановилась, окинула взглядом залу, на миг задержалась взглядом на Бубенцове (тот стоял с веселой улыбкой, явно наслаждаясь скандалом) и объявила:

— Съезжаю. В городе буду жить. Думайте обо мне что хотите, мне дела нет. А вас всех, включая пронырливую монашку и самого благочестнейшего Митрофания, предаю ана-феме-е-е-е.

Выкинув напоследок эту скверную шутку, она выбежала вон и еще громко хлопнула дверью на прощание.

— В старину сказали бы: в юницу вселился бес, — грустно заключил Митрофаний.

Обиженный Сытников пробурчал:

— У нас, в купечестве, посекали бы розгами, бес в два счета бы и выселился.

— Ой, как бабушке-то сказать? — схватился за голову Петр Георгиевич.

Бубенцов встрепенулся:

— Нельзя тетеньке! Это ее погубит. После, не сейчас. Пусть немного оправится.

Предводителя же заботило другое:

— Но что за странная ненависть к собакам? Вероятно, и в самом деле род помешательства. Есть такая психическая болезнь — кинофобия?

— Не помешательство это. — Пелагия разглядывала платок — перестала ли кровоточить оцарапанная щека. Хорошо хоть очки не разбились. — Тут какая-то тайна. Нужно разобраться.

— И есть за что ухватиться? — спросил владыка.

— Поискать, так и сыщется. Мне вот что покою не даст...

Но договорить монахине не дал Ширяев.

— Что ж это я, совсем одеревенел! — Он затряс головой, словно прогоняя наваждение. — Остановить ее! Она руки на себя наложит! Это горячка!

Он выбежал в коридор. Следом бросился Петр Георгиевич. Аркадий Сергеевич немного помялся и, пожав плечами, пошел за ними.

— Истинно собачья свадьба, — констатировал Сытников.

* * *

Луна хоть и пошла на убыль, но все еще была приятно округла и сияла не хуже хрустальной люстры, да и звезды малыми лампичками как могли подсвечивали синий потолок неба, так что ночь получилась ненамного темнее дня.

Владыка и Пелагия небыстро шли по главной аллее парка, сзади, сонно перебирая копытами и позвякивая сбруей, плелись лошади, тянули за собой почти сливавшуюся с деревьями и кустами карету.

— ...Ишь, ворон, — говорил Митрофаней. — Видела, как он за Коршем-то посылал? Теперь уж не отступится, свое урвет. Девушка эта дерганая задачу ему облегчила — одной наследницей меньше. Я тебя, Пелагия, вот о чем прошу. Подготовь Марью Афанасьевну так, чтобы ее снова не подкосило. Легко ли такое про собственную внучку узнать. И поживи здесь еще некое время, побудь при тетеньке.

— Не подкосит. Сдается мне, отче, что Марья Афанасьевна людьми куда меньше, чем собаками, увлечена. Я, конечно, с ней посижу и чем смогу утешу, но для дела лучше бы мне в город перебраться.

— Для какого еще дела? — удивился преосвященный. — Дело окончилось. Да и разобраться ты хотела, зачем Наина эта псов истребила.

— Это меня и занимает. Тут, владыко, есть что-то необычное, от чего мороз по коже. Вы давеча прозорливо сказали про вселившегося беса.

— Суеверие это, — еще больше удивился Митрофаний. — Неужто ты в сатанинскую одержимость веришь? Я ведь иносказательно, для словесной фигуры. Нет никакого беса, а есть зло, бесформенное и вездесущее, оно и искушает души.

Пелагия блеснула на епископа очками снизу вверх.

— Как это беса нет? А кто сегодня весь вечер на людскую мерзость зубы скалил?

— Ты про Бубенцова?

— А про кого же? Он самый бес и есть, во всем положении снаряжении. Злобен, ядовит и прельстителен. Уверена я, в нем тут всё дело. Вы видели, отче, какие взгляды Наина Георгиевна на него бросала? Будто похвалы от него ждала. Это ведь она перед ним спектакль затеяла с криком и скрежетом зубным. Мы, остальные, для нее — пустота, задник театральный.

Архиерей молчал, потому что никаких таких особенных взглядов не заметил, однако наблюдательности Пелагии доверял больше, чем своей.

Вышли из парковых ворот на пустое место. Аллея перешла в дорогу, протянувшуюся через поле к Астраханскому шляху. Владыка остановился, чтобы подъехала карета.

— А зачем тебе в город? Ведь Наина там не задержится, уедет. Как распространится известие про ее художе-

ства, никто с ней знаться не захочет. И жить ей там негде. Непременно уедет — в Москву, в Петербург, а то и вовсе за границу.

— Ни за что. Где Бубенцов, там и она будет, — уверенно заявила монахиня. — И я должна тоже быть неподалеку. Что до людского осуждения, то Наине Георгиевне в ее нынешнем ожесточении это только в сладость. И жить ей есть где. Я слышала от горничной, что у Наины Георгиевны в Заволжске собственный дом имеется, в наследство достался от какой-то родственницы. Небольшой, но на красивом месте и с садом.

— Так ты полагаешь, здесь Бубенцов замешан? — Владыка поставил ногу на ступеньку, но в карету садиться не спешил. — Это бы очень кстати пришлось. Если бы уличить его в какой-нибудь очевидной пакости, ему бы в Синоде меньше веры стало. А то боюсь, не сладить мне с его ретивостью. По всем вероятностям, худшие испытания еще впереди. Ты вот что, завтра же возвращайся на подворье. Будем с тобой думу думать, как нашему горю помочь. Видно, и без госпожи Лисицыной не обойдемся.

Эти загадочные слова подействовали на монахиню странно: она вроде и обрадовалась, и испугалась.

— Грех ведь, владыко. И зарекались мы...

— Ничего, дело важное, много важнее предыдущих, — вздохнул архиерей, усаживаясь на сиденье напротив отца иподиакона. — Мое решение, моя и ответственность перед Богом и людьми. Ну, благословляю тебя, дочь моя. Прощай.

И карета, разгоняясь, почти бесшумно помчала по мягкой от пыли дороге, а сестра Пелагия повернула обратно в парк.

Шла по светлой аллее, и сверху тоже было светло, но деревья по сторонам смыкались двумя темными стенами, и выглядело так, будто монахиня движется по дну диковинного светоносного ущелья.

Впереди, прямо посреди дорожки, белел какой-то квадрат, а посреди него еще и чернел малый прямоугольник. Когда шли здесь с владыкой пять или десять минут назад, ничего подобного на аллее не было.

Пелагия ускорила шаг, чтобы поближе разглядеть любопытное явление. Подошла, села на корточки.

Странно: большой белый платок, на нем книжка в черном кожаном переплете. Взяла в руки — молитвенник. Самый обыкновенный, какие везде есть. Что за чудеса!

Пелагия хотела посмотреть, нет ли там чего между страниц, но тут сзади раздался шорох. Обернуться она не успела — кто-то натянул ей на голову мешок, обдирая щеки. Еще ничего не успев понять, от одной только неожиданности монахиня вскрикнула, но поперхнулась и засипела — поверх мешка затянулась веревочная петля. Здесь-то и подкатил звериный, темный ужас. Пелагия забилась, зашарила пальцами по мешковине, по грубой веревке. Но сильные руки обхватили ее и не давали ни вырваться, ни ослабить удавку. Кто-то сзади шумно и прерывисто дышал в правое ухо, а вот сама она ни вдохнуть, ни выдохнуть не могла.

Она попробовала ударить кулачком назад, но бить было неудобно — не размахнешься. Лягнула ногой, попала по чему-то, да вряд ли чувствительно — ряса смягчила.

Чувствуя, как нарастает гул в ушах и все больше тянет в утешительный черный омут, монахиня рванула из поясной сумки вязанье, ухватила спицы покрепче и всадила их в мягкое — раз, потом еще раз.

— У-у-у!

Утробный рык, и хватка ослабла. Пелагия снова махнула спицами, но на сей раз уже в пустоту.

Никто больше ее не держал, локтем под горло не охватывал. Она рухнула на колени, рванула проклятую удав-

ку, стянула с головы мешок и принялась хрипло хватать ртом воздух, бормоча:

— Мать... Пре...святая... Богоро...дица... защити... от враг видимых... и невидимых...

Как только самую малость посветлело в глазах, заозиралась во все стороны.

Никого. Но концы спиц были темны от крови.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

И БЛЮДИТЕСЯ ЗЛЫХ ДЕЛАТЕЛЕЙ

VI

СУАРЕ

А теперь мы пропустим месяц с лишком и перейдем сразу к развязке нашей путаной истории, вернее, к началу этой развязки, пришедшемуся на званый вечер для избранных гостей, что состоялся в доме Олимпиады Савельевны Шестаго. Сама почтмейстерша этот праздник во славу современного искусства предпочла назвать звучным словом *soirée*, пусть уж он так и остается, тем более что «суаре» этот в Заволжске забудут не скоро.

Что до пропущенного нашим повествованием месяца, то нельзя сказать, чтобы на его протяжении совсем ничего не происходило — напротив, происходило, и очень многое, однако прямой связи с главной нашей линией все эти события не имели, поэтому пройдемся по ним кратко, как говорили древние, «легкой стопой».

Скромное имя нашей губернии прогремело на всю Россию и даже за ее пределами. О нас чуть не каждый день принялись писать столичные газеты, разделившись на два лагеря, причем сторонники первого утверждали, что Заволжский край — поле новой Куликовой брани, где идет святой бой за Русь, веру и Христову церковь, а их оппоненты, напротив, обзывали происходящее средневековым мракобесием и новой инквизицией. Даже в лондонской «Таймс», правда, не на первой и не на вто-

рой странице, написали, что в Российской империи, в некоем медвежьем углу под названием *Zavolger* (sic!) вскрыты случаи человеческих жертвоприношений, по каковому поводу из Петербурга прислан царский комиссар и вся область отдана ему в чрезвычайное управление.

Ну, про чрезвычайное управление — это англичане наврали, однако дела и в самом деле пошли такие, что голова кругом. Владимир Львович Бубенцов, получив полнейшую поддержку из высоких сфер, развернул следствие по делу о головах (а точнее, об их отсутствии) с поистине наполеоновским размахом. Была создана Чрезвычайная комиссия по делу о человеческих жертвоприношениях, которую возглавил сам Бубенцов, а членами этого особенного органа стали присланные из Петербурга дознатели и еще несколько следователей и полицейских чиновников из местных — причем каждого Владимир Львович отобрал самолично. Ни губернатору, ни окружному прокурору комиссия не подчинялась и перед ними в своей деятельности не отчитывалась.

Трупов, к счастью, больше не находили, но полиция произвела несколько арестов среди зытяков, и кто-то из задержанных вроде бы признался: за глухими Волочайскими болотами, в черных лесах есть некая поляна, на которой в ночь на пятницу Шишиге жгут костры и приносят мешки с дарами, а что в тех мешках, ведомо только старейшинам.

Бравый Владимир Львович снарядил экспедицию, сам ее и возглавил. Рыскал среди болот и чащоб не один день и нашел-таки какую-то подозрительную поляну, хоть и без каменного истукана, но с черными следами от костров и звериными костями. В соседней зытяцкой деревне арестовал старосту и еще одного старичка, про которого имелись сведения, что он шаман. Посадили задержанных в телегу, повезли через гать, а на острове посреди болота на конвой напали зытяцкие мужики с дубинами и ножа-

ми — захотели отбить своих старцев. Полицейские стражники (их при Бубенцове состояло двое) пустились наутек, Спасенный с перепугу прыгнул в трясину и едва не утонул, но сам инспектор оказался не робкого десятка: застрелил одного из нападавших насмерть, еще двоих зарубил своим страшным кинжалом Черкес, а прочие бунтовщики разбежались.

После Владимир Львович вернулся в деревню с воинской командой, но дома стояли пустые — зытяки снялись с места и ушли дальше в лес. Бубенцовское геройство попало во все газеты, вплоть до иллюстрированных, где его прорисовали статным молодцом с усами вразлет и орлиным носом, от государя храбрецу вышла «Анна», от Константина Петровича — похвала, которой знающие люди придавали побольше веса, чем царскому ордену.

В губернии же все будто ополоумели. За лесными зытяками этаких дерзостей отродясь не водилось. Они и в пугачевскую-то годину не бунтовали, а у Михельсона проводниками служили, что же их теперь-то разобрало?

Кто говорил, что это Бубенцов их довел, бесчестно заковав и бросив в грязную телегу почтенных старейшин, но многие, очень многие рассудили иначе: прав оказался прозорливый инспектор, в тихом омуте, выходит, завелись нешуточные черти.

Тревожно стало в Заволжье. Поодиночке никто по лесным дорогам теперь не ездил, только артелью — и это в нашей-то тихой губернии, где про такие предосторожности за последние годы и думать позабыли!

Владимир Львович разъезжал при вооруженной охране, самочинно наведывался в уезды, требовал к ответу и городничих, и воинских начальников, и исправников, и все ему подчинялись.

Вот какое у нас образовалось двоевластие. А что удивляться? Владыка всем этим языческим бесчинием в глазах церковного начальства был скомпрометирован, и

многие из благочинных, кто держал нос по ветру, повадились ездить с поклоном уж не на архиерейское подворье, а в гостиницу «Великокняжескую», к Бубенцову. И административная власть тоже утратила былую незыблемость. Полицмейстер Лагранж, например, не то чтобы совсем вышел у губернатора из повиновения, но всякий полученный от Антона Антоновича приказ, вплоть до самых мелких вроде введения номеров для извозчичьих пролеток, бегал удостоверивать у синодального инспектора. Феликс Станиславович всем говорил, что барон досиживает на губернаторстве последние дни, а среди друзей и подчиненных даже высказывал предположение, что следующим заволжским губернатором будет назначен не кто-нибудь, а именно он, полковник Лагранж.

За этот минувший месяц всё здание нашего губернского жизнеустройства покосилось, хотя выстроено было вроде бы крепко, с умом, ибо возводили его не от крыши, как в прочих российских областях, а от фундамента. Впрочем, аллегория эта чересчур мудрена и требует разъяснений.

Каких-нибудь двадцать лет назад была у нас губерния как губерния: нищета, пьянство, невежество, произвол властей, на дорогах разбой. Одним словом, обычная российская жизнь, во всех частях нашей необъятной империи более или менее сходная. В Заволжье, пожалуй, было еще поглаже и поспокойнее, чем в иных краях, где людей в соблазн вводят шальные деньги. У нас всё обстояло степенно, патриархально, по раз и навсегда заведенному уставу.

Скажем, хочет купец товар по реке сплавить или через лес везти. Первым делом идет к нужному человеку (уж известно к какому, и в каждом уезде, в каждой волости свой), поклонится ему десятой частью, и езжай себе спокойно, не тронет никто и не обеспокоит — ни лихие люди, ни полиция, ни акцизные. А не поклонился, понадеялся на справную охрану или русский авось — пеняй на себя. Может, проедешь через лес, а может, и нет. И на

Реке тоже всякое может приключиться, особенно по ночному времени, да еще на стремнине.

Хочет кто в городе лавку или кабак открыть — то же самое. Поговори с нужным человеком, окажи ему уважение, десятину посули, и давай тебе Бог всякого преуспевания. И врач санитарный не пристанет, что на прилавке мухи, а в подвале крысы, и податной инспектор малой мздой удовольствуется.

Все знают про нужного человека — и исправник, и прокурор, и пристав, но никто ему не препятствует свои дела вести, потому что со всеми нужным человек дружит, а то и в родстве-кумовстве состоит.

Бывало, назначали из столицы честных начальников, да еще не просто честного пришлют, а решительного и делового, твердо намеренного всех на чистую воду вывести и немедленное царство справедливости и порядка утвердить, но и таким орлам Заволжье быстро крылья укорачивало. Получалось — добром, через подарки или иные какие любезности, а если уж совсем неподкупный, то наветом, оговором, благо в свидетелях недостатка не было, нужному человеку только свистнуть — кого хочешь оговорят.

А лет тридцать тому объявился у нас в городе полицмейстер, еще до покойного Гулько. Страх до чего непреклонный был. Всю полицию перешерстил: кого повыгонял, кого под суд отдал, прочих в трепет привел. От этого волнение произошло, нарушение давних, надежно отлаженных отношений меж серьезными людьми. Долго ли, коротко ли, но стал сей Робеспьер до нужных людей добираться, вот какой отчаянный. Тут его бесчинства и закончились. Пошел на утиную охоту с собственными сослуживцами, а лодка возьми и перевернись. Все выплыли, одному лишь начальнику не повезло. Всего полгода у нас и покуролесил. И это полицейский начальник, большой человек! А с исправником каким-нибудь не-

мудрящим или следователем, если строптив окажется, и много проще поступали: ночью стукнут дубиной по макушке или стрельнут из кустов, и дело с концом. Спишут на разбойников, которые в наших лесах водились в изобилии. Полиция немножко для виду поищет и закроет дело за невозможностью раскрытия. Ах, да что про это рассказывать, только попусту время тратить. В каждой губернии подобных историй пруд пруди.

И вот назначают к нам из Петербурга архиереем Митрофанья, во второй и окончательный раз. Без малого двадцать лет с тех пор миновало. Он уж местные порядки и обычаи знал и потому напролом не полез, начал со своего тихого ведомства: попов приструнил, чтоб не лихоимствовали, в монастырях строгости установил. Из благочинных некоторых сместил, иных усовестил, а еще навез с собой из столицы белого и черного духовенства из числа молодых академиков.

Стало в церквах и приходах не то что прежде. Священники и причетники трезвые, служат чинно, проповедуют нравственно и понятно, подношений сверх положенного не принимают. Не сразу, конечно, так установилось, года через два-три. И никого поначалу не растревожило это невиданное новшество, ни нужных людей, ни вороватых начальников. Расхотели попы сладко есть и мягко спать — их дело. А что стали с амвонов много о честности и добротолубии рассуждать, так им и положено. И вообще кто их, долгогривых, всерьез слушать будет. Но между тем авторитет духовных лиц стал постепенным и незаметным образом укрепляться, и в церквах сделалось не в пример люднее, чем прежде.

А тут, по еще не истершимся столичным связям Митрофанья, отправили в отставку старого губернатора, с которым у владыки были нешуточные контры. Прислали нового, Антона Антоновича фон Гаггенау, ему тогда едва

тридцать сравнялось. Был он весь налитой, кипучий, европейский и до справедливости просто лютый.

Побился барон с местными нравами, пободался, рога себе о сию каменную стену пообломал и стал от отчаяния впадать в административную суровость, отчего, как известно, все беды только усугубляются. Да слава Богу, оказался неглупый человек, хоть и немец — хватило ума за советом и наставлением к владыке прийти. Что, мол, за чудо такое? Как это Митрофаний в своем духовном ведомстве управляется, что у него всё чинно и пристойно, не то что у других губернских архиереев?

Владыко отвечивал, что это очень просто: надо помене управлять, и тогда дело будет управляться само собой. Лишь бы заложить крепкую основу, а остальное само приложится.

Как же приложится, откуда, горячо возражал молодой Антон Антонович, если народишко такой подлец и сволочь.

Люди бывают разные, есть и хорошие, и плохие, получал преосвященный, но по большей части они никакие, навреде лягушек, принимающих температуру окружающей среды. Тепло — теплые, холодно — холодные. Надобно сделать так, чтобы у нас в губернии климат потеплел, тогда и люди потеплее, получше станут. Вот в чем единственно долг власти — правильный климат создавать, а об остальном Господь позаботится, и сами люди не оплошают.

— Да как его утепляют, этот климат ваш? — силился уразуметь губернатор.

— Нужно в человеках взращивать и лелеять достоинство. Чтоб люди себя и других уважали. Человек, который понимает достоинство, не станет воровать, подличать, обманом жить — зазорно ему покажется.

Здесь барон в архиерее было разочаровался и даже рукой махнул:

— Э, да вы, владыко, идеалист. У нас ведь Россия, а не Швейцария. Давно ли крестьян по головам продавали, как скотину? Откуда ж здесь достоинство возьмется? На произрастание сего нежного растения идут века.

Митрофаний, который в ту пору моложе был и оттого имел слабость к словесной эффектности, ответил коротко и назидательно, на античный манер:

— Законность, сытость, просвещение. И более ничего-с (он в ту пору еще и словоерсы, бывало, употреблял для благозвучия).

— Ах, ваше преосвященство, мало ли я бьюсь за поддержание законности, а что толку! Никто не хочет жить по закону — ни нижние, ни верхние.

— И не будут хотеть. Люди исполняют только те законы, которые разумны и выгодны большинству. Мудрый законодатель подобен опытному садовнику в публичном парке. Тот, засеяв газоны, не сразу дорожки прокладывает, а прежде посмотрит, каким путем людям удобнее ходить — там и мостит. Чтобы не протапывали собственных тропинок.

— Так то мудрые, — понизив голос, произнес Антон Антонович крамольное. — А у нас в России всякие законы бывают. Не мы с вами их выдумываем, на то высшие инстанции есть. Но следить за исполнением сих законов предписывается мне.

Епископ улыбнулся:

— Существует закон божеский и закон человеческий. И соблюдать надо только те человеческие законы, которые божеским не противоречат.

Губернатор только пожал плечами:

— Этого я, увольте, не пойму. Я, знаете ли, немец. Для меня закон есть закон.

— На то я к вам и приставлен, — ласково молвил непонятливому Митрофаний. — Вы, сударь, у меня

спросите, какой закон от Бога, а какой от лукавого. Я разьясню.

И разьяснил, однако сие разьяснение заняло не час и не два, а много больше, и со временем долгие беседы с преосвященным вошли у молодого правителя в обыкновение...

БЕСЕДЫ ПРЕОСВЯЩЕННОГО МИТРОФАНΙΑ

Вставная главка

Тем, кто внимает нашему рассказу единственно из желания узнать, чем он завершится, и кому история нашего края безынтересна, эту главку позволительно вовсе пропустить. Никакого ущерба для стройности повествования от этого не произойдет. Здесь же приведены, да и то в отрывках, некоторые из высокоумных диалогов меж владыкой и губернатором (а именно три, хотя их было много больше), ибо беседы эти имели для Заволжья самые решительные последствия. Заодно уж при помощи ремарок, следующих за каждой из бесед, вкратце присовокупим, какие из этих прекраснодушных поучений претворились в действительность, а какие нет.

О чиновничьем сребролюбии

— Согласны ли вы, сын мой, что никакой, даже самый благонамеренный управитель не сможет воплотить свои полезные замыслы, не имея исправного рабочего инструмента в лице способных и честных помощников, того самого инструмента, который на вашем бюрократическом наречии именуется «аппаратом»?

— Совершенно согласен.

— И что же делать, если «аппарат» этот погряз в низменном сребролюбии?

— Не знаю, отче, оттого и пришел к вам. А главное, все чиновники таковы и других взять негде.

— Почему же негде? Частью можно из столиц привлечь прекрасномыслящих мужей, и поедут, потому что им хочется свои знания и убеждения на деле применить. Частью же и у нас честные чиновники найдутся, просто им сейчас ходу нет.

— Как же я их распознаю, честных этих, если они не на виду?

— Я здесь не первый год, знаю, кто чего стоит, и назову. Но сие лишь четверть дела, потому что любой человек от власти портится, если установлены неправильные заведения. И чиновники в большинстве своем начинают лихоимствовать не из-за порочности своей натуры, а потому, что так уж заведено, и кто не лихоимствует, на того косо смотрят и начальники, и подчиненные.

— Но как установить правильные заведения, чтобы лихоимство из моды вышло?

— Известна ли вам, сын мой, пословица, гласящая, что рыба гниет с головы? Это воистину так, и медицина также утверждает, что все болезни начинаются в голове. Добавлю к сему и обратное: у болящего выздоровление тоже начинается от головы. Прежде чем человек на поправку пойдет, он должен захотеть выздороветь и поверить в собственное выздоровление.

— Но с чего начать? Тут ведь главное — верный почин!

— Подберите себе в ближние помощники людей честных и дельных: вице-губернатора, управителя государственным имуществом, начальников акцизного и губернского управлений, окружного суда, а также руководителей контрольной и казенной палат. Ну и, конечно, полицейскую верхушку, это беспреренно. Для начала и довольно будет. Где людей взять — про то мы уже толковали, десяток-то годных по губернии и России наберется. И перво-наперво Уговор меж собой заключить: не для того мы за гуж беремся, чтобы обогатиться, а для того,

чтобы дело сделать. А кто слабину в себе почувствует — сам уходи или не обижайся, если тебя попросят уйти. Пусть каждый из ваших ближних помощников свое имущество публично заявит и впредь все свои доходы и расходы ни от кого не таит. Я, Антон Антонович, вообще той надежды придерживаюсь, что спасение России не из столиц, а из провинции придет. Это и из здравого смысла следует. Легче навести порядок в одной комнате, нежели во всем доме, в одном доме, нежели на всей улице, на одной улице, нежели во всем городе, и в одном городе, нежели во всей стране.

— Ну хорошо, допустим, голова будет честная, а ниже-то, ниже? Я в кругу товарищей буду о прекрасном витийствовать, и станем мы друг на друга любоваться, какие мы гордые да неподкупные, а мздоимцы по всей губернии как бесчинствовали, так и продолжают бесчинствовать. Всех за руку не поймаешь и под суд не отдашь.

— Не ловить воров надо, а надо сделать так, чтобы вору не заводились.

— Легко сказать!

— И сделать не так трудно. Пусть ваши ближайшие помощники, каждый из которых за важную область деятельности отвечает, себе по той же методе заместителей подберут — кто согласен на Уговор. Тут можно и нынешних некоторых на должности оставить, даже которые и мздоимствовали, но не по алчности или зломыслию, а потому, что издавна так заведено. Ну а самых лютых лихоимцев и безобразников — а их и я знаю, да и вы уже знаете, — тех, конечно, следует под суд отдать и судить по всей строгости, это уж бесспорно.

— Хорошо, предположим, мои помощники не воруют, их заместители тоже, ну а дальше?

— И дальше так. Это, Антон Антонович, называется психология. Сидит начальник на жалованье, мзды не бе-

рет, потому что боится или совестится. А подчиненный его разъезжает в карете четверкой и жена у него наряды из Парижа выписывает. Стерпит такое нормальный человек? Ни за что. И супруга ему не позволит, потому что у нее-то нарядов из Парижа нет, а у супруги нижестоящего Ивана Ивановича есть. И прижмет начальник Ивана Ивановича, скажет ему: ты, брат, или живи, как я, или вон со службы. Иван Иванович, если уж он на службе после сего остался, станет волком смотреть на сидящего под ним мздоимца Петра Петровича, хотя прежде ему по-такал и покровительствовал. Чем это Петр Петрович его лучше? Так и пойдет сверху до самого низа по всей пирамиде. Сами удивитесь, как скоро у нас чиновничество построжеет и праведность полюбит...

Ремарка. Так, конечно, не вышло, хоть Антон Антонович на возведение сей идеальной пирамиды потратил много времени и сил. Что ж, живые люди. Хоть Христос и повелел любить всех одинаково, но это по силам только святым отшельникам, которые за нас молятся, а у обычных смертных есть и друзья, и родственники, и опять же долг платежом красен. Справедливого и беспристрастного чиновничества никогда и нигде не бывало, не привилось оно и в Заволжье. И «своему человечку» у нас радеют, и неприятелей при случае притесняют, и руку моет.

Но в то же время нельзя сказать, чтобы теория преосвященного вовсе провалилась. «Барашек в бумажке», в России повсеместно распространенный и даже освященный национальной традицией, у нас совершенно вышел из употребления, впрочем, отчасти замененный пресловутыми «борзыми щенками», которые менее уловимы и все же, согласимся, являются несомненным прогрессом по сравнению с прямым взяточничеством. Прямое же взяточничество, а того паче вымогательство стали со временем почитаться среди заволжского чиновничества делом постыдным, то есть «неправильные заведения», о которых толковал владыка, все-таки переменялись. Так что хоть царства

справедливости не образовалось и полного равенства всех перед властью тоже не произошло, но явные, бесстыдные злоупотребления если и не исчезли вовсе, то сильно поубавились. И полиция у нас вплоть до самого последнего времени слыла честной, и суды, и даже акцизное ведомство, чего, казалось бы, не бывает и вовсе. Но о податях — это уже из следующей беседы.

О законопослушании

— Владыко, я много думал о нашей прошлой беседе, и вот что не дает мне покоя. Вы говорите, что рыба гниет с головы и выздоровление следует тоже начинать с головы. Это звучит разумно, но, по-моему, общественное устройство более напоминает не рыбу, а некое здание.

— Истинно так.

— А если так, то хорош ли выйдет дом, который строят, начиная от венца?

— Нехорош, сын мой, и я очень рад, что вы дошли до сего сами, без моих подсказок. Одним «аппаратом», как бы расчудесен он ни был, кривду не распрямишь. Нужно, чтобы большинство захотело того же, чего хотите вы, и тогда усилия ваши и ваших помощников будут встречать не сопротивление, а поддержку.

— Но всяк хочет своего, и у каждого своя выгода! Многим, очень многим удобнее и привычнее жить так, как они живут — повиноваться не законной власти, а «нужным людям». Так оно выходит проще и дешевле и для купцов, и для торговцев, и для промышленников, и для мещанства. Разве всех их переубедишь? Они и слушать не станут.

— И не надо переубеждать. У нас в России словам не верят, тем более если они исходят от начальства. Основа прочного жизнеустройства, сын мой, состоит в добровольном законопослушании.

— О, владыко! О чем вы толкуете? Какое может быть в России добровольное законопослушание?

— Да такое же, как в дорогой вашему сердцу Швейцарии!

— Нет, право, отче, не сердитесь. Но мне хотелось бы, чтобы мы говорили не об идеальных схемах, а о шагах, могущих иметь практические последствия.

— Именно об этом я и излагаю. Добровольное исполнение закона — не следствие высокой сознательности обывателей, а всего лишь признак того, что людям выгоднее соблюдать сей закон, нежели его нарушать. И если вы призадумаетесь, то увидите, что у нас в России повсеместно нарушаются отнюдь не все законы, а лишь некоторые. Или не так?

— Пожалуй, что и так. Прежде, до отмены монопольной торговли на водку, многие изготавливали самогон и тайком продавали, но теперь этого нет. Однако где нечисты девять из десяти россиян, так это при уплате податей и сборов. Тут уж вы, отче, спорить не станете.

— Не только не стану, сын мой, но и скажу вам, что вы безошибочно определили самый исток болезни, называемой беззаконием. Убивают единицы, воруют тоже немногие, но вот платить все бессчетные подати, акцизы и пошлины, многие из коих нелепы и непомерны, не хочет никто. От этого весь вред и происходит: и взяточничество, и оскудение казны, и те самые «нужные люди», на которых ни вы, ни ваши предшественники не сумели сыскать управу. А наипачий вред проистекает оттого, что, как вы верно заметили, девять из десяти человек чувствуют себя нарушителями закона. Сие означает, что закон им не защита, а устрашение, и сами они уже не уважаемые члены общества, но воришки, коих суд и полиция в любой миг могут призвать к ответу. На том нужные люди и держатся: им-то доподлинно известно, кто и сколько казне недоплатил. Берут они за свое знание по-менее, чем государство, да и от слуг закона нарушителей

оберегают. Вот и выходит, что общество наше сплошь из воришек состоит, которыми разбойники управляют. Будет человек себя уважать, если сам про себя знает, что он воришка и взяточдатель? Нет, Антон Антонович, не будет — ни себя, ни законы.

— Но тут ведь ничего не сделаешь!

— Слышу в вашем голосе отчаяние, и совершенно напрасно. Сделать же нужно вот что: назначить на всякого податного, кем он ни будь, единый налог, невеликий, заранее известный и взимаемый сразу, со всех выплат, выдач, сделок и доходов. И дань эта должна не превышать одной десятой, потому что святая церковь еще со стародавних времен на богатом своем опыте проверила и убедилась: десятину человек платить согласится, а больше — ни в какую, даже под страхом кары Отца Небесного. А это значит, что и искушать нечего. Вот пусть и вам платят десятину. Кто бедный и десять рублей в месяц еле добывает, с того берите рублишко, а кто миллион заколачивает — с того можно сто тысяч взять, но такого человека и особенно поблагодарить нужно, уважение ему оказать, потому что на его предприимчивости и рачительности государство стоит.

— Всё это прекрасно, но не губернатор налоги и пошлины назначает. Ведь вы превосходно знаете, владыко, что порядок взимания всевозможных сборов определяют в Петербурге, и я не властен своей волей его менять. За это меня со службы выгонят, да еще под суд упекут.

— Не упекут. Потому что вы поедете в столицу и заключите с правительством соглашение. Никогда еще не бывало, чтобы Заволжская губерния казне сполна все положенные налоги выплачивала, потому что жители увертываются и не желают нисколько платить. Одни недоимки на нас, как и на большинстве прочих губерний. А вы

поручитесь своей гарантией, что будете положенную сумму исправно вносить, но собирать ее станете по-своему, и объясните, как именно, чтобы в вас откупщика не увидели. И я со своей стороны за вас поручусь, объясню кому следует, в чем ваша идея состоит. Согласятся, потому что казне прямая выгода. Захотят испытать на одной незначительной и убыточной губернии, что из сего опыта может проистечь. Заметьте еще и то, сын мой, что вследствие этого начинания вы разом избавитесь и от нужных людей, и от большинства мздоимцев. Никто уж им деньги не понесет, потому что выгоднее и безопаснее будет государству положенное уплатить, а за это от закона защиты истребовать. Останутся наши заволжские разбойники без поддержки снизу, а сверху их ваша полиция прижмет, потому что станет она у вас уже не купленная, как прежде, а честная.

Ремарка. Вот это всё сбылось в точности, даже еще и более, чем сулил владыка. Разбойников по лесам и городам выловили быстро, потому что у нас не Москва с Питером, про каждого известно, что ты за человек. Нужные люди — кто в другие губернии подался, кто в каторгу поехал, а которые поумнее, те притихли и занялись дозволенной торговлишкой или иным законным промыслом. Самое удивительное то, что после учреждения единой подати отчего-то много меньше стало и всех прочих преступлений. Может, оттого, что заволжане все вдруг как-то заважничали и обрели больше степенства в словах, поступках и даже телодвижениях? Чиновников у нас поубавилось, потому что многие собирающие, следящие и контролирующие сделались не нужны, а вот купцов и промышленников понаехало из других губерний видимо-невидимо — выгодно им показалось в Заволжье жить и дела вести. В губернской казне деньги завелись, так что понастроили у нас за минувшие годы и домов новых, и больниц, и школ, и дороги наладили, даже и о собственном театре начали подумывать.

Приезжали посмотреть на наши чудеса из столиц и иных краев, хотели и в других губерниях так же устроить, да что-то там у них не сложилось.

О достоинстве

— А скажите, сын мой, чем, по-вашему, нищета отлична от бедности?

— Нищета от бедности? Ну, бедный человек в отличие от совсем уж нищего имеет какое-никакое жилище, пропитание и одевается не в лохмотья, а все-таки прилично. Бедность бывает благородной, а нищета отвратительна.

— Или, как выразился автор чрезмерно перехваленного романа, нищета — это уже порок, за который из общества палкой изгоняют.

— Позвольте, владыко, неужто вы о «Преступлении и наказании» так строго судите?

— О литературе, Антон Антонович, мы как-нибудь в другой раз поговорим, а теперь речь моя об ином. Именно, что человек голодный, не одетый и бездомный не может быть благороден поведением и красив. И хоть в Священном Писании и житиях мы много читаем о блаженных и пророках, что ходили в рубищах и вовсе не заботились о пропитании и приличии, но с сих святых угодников обычным людям брать пример пагубно, ибо страшно и противоестественно представить себе общество, сплошь состоящее из членов, умерщвляющих плоть, обвешанных веригами и произносящих пророчества. Не того хочет от чад своих Господь, а чтобы вели себя достойно.

— Тут я совершенно согласен, хоть это какая-то и не совсем русская точка зрения, однако мне все же хочется вступить за господина Достоевского. Чем же вам не угодил роман «Преступление и наказание»?

— Ах, дался вам господин Достоевский. Ну хорошо, извольте. Я считаю, что автор чересчур облегчил себе задачу, когда заставил гордого Раскольникова убить не только отвратительную старуху процентщицу, но еще и ее кроткую, невинную сестру. Это уж господин Достоевский испугался, что читатель за одну только процентщицу не захочет преступника осудить: мол, такую тварь вовсе и не жалко. А у Господа тварей не бывает, все Ему одинаково дороги. Вот если бы писатель на одной только процентщице всю недостойность человекоубийства сумел показать — тогда другое дело.

— Недопустимость, вы хотите сказать?

— Недостойность. Взять в руки топор или иной какой предмет и другому человеку черепную коробку проломить — это прежде всего недостойно человеческого звания. Ведь что такое грех? Это и есть поступок, посредством коего человек роняет свое достоинство. Да-да, Антон Антонович, я вновь, уже в сотый раз, вернусь к сей теме, потому что чем долее живу на свете, тем более уверяюсь, что именно в чувстве достоинства состоит краеугольный камень справедливого общества и самое предназначение человека. Я говорил вам, что достоинство зиждется на трех китах, имя которым законность, сытость и просвещение. Про законопослушание сказано достаточно, о пользе разумного, боговдохновенного просвещения вы и сами толковали мне весьма красноречиво, так что мне и добавить нечего. Но нельзя за сими прекрасными материями забывать и об основе основ — животе человеческом, который на нашем языке не случайно равносмыслен слову «жизнь». Если живот пуст, то это уже нищета, а нищий подобен животному, ибо думает только о том, как живот этот наполнить, и ни на какие иные, более высокие побуждения у него сил уже не остается.

— К чему, отче, вы мне это говорите?

— К тому, что вы — власть предержажая, и самая первая ваша ответственность в том, чтобы всякий житель губернии имел кусок хлеба и кров над головой, так как без сих основ у человека не может быть достоинства, а не имеющий достоинства не является гражданином. Богатыми все быть не могут, да и ни к чему это, но сыты должны быть все. Это нужно не только обездоленным, но в не меньшей мере и всем остальным, чтобы они не поседали мягкий хлеб свой, стыдливо таясь от голодных. Не будет достойным тот, кто пирует, когда вокруг него нищета и вой.

— Это истинно так, владыко. Я думал об этом и даже подсчитал, что не так уж много средств уйдет на поддержание истинно нуждающихся. Неужто всё так просто? Только накормить голодных, и в людях сразу появится *Selbstachtung**?

— Нет, сын мой. Не сразу, и сытость — только начало. Еще следует искоренить всякое оскорбление личности, чему у нас в России по стародавнему нашему обычаю и значения никакого не придают. У нас ведь, сами знаете, брань на воротах не виснет, а тычки с затрещинами от начальства у простого народа за отеческое внушение воспринимаются. Опять же порка повсеместно распространена. Какое уж тут *Selbstachtung*, с поркой-то. Так что давайте с вами условимся: у нас в губернии более никого и ни за что сечь не будут, хоть бы даже и по решению крестьянского схода своих. Воспретить раз и навсегда. Я и священникам велю в церквях проповедовать, чтоб родители детей не пороли, разве уж совсем каких отчаянных, кто разумного слова не понимает. Из поротых не граждане вырастают, а холопы. Хорошо бы еще и брань запретить, но это, конечно, мечтание. Я и сам бываю по сей части грешен.

* самоуважение (нем.).

— А еще замечательно было бы, владыко, чтобы в присутствиях людям простого звания стали говорить «вы» и «господин такой-то». Это для Selbstachtung очень важно. Можно еще по имени-отчеству, тоже хорошо.

— Хорошо-то хорошо, да не рано ли? Напугаются мужички, если им так сразу «выкатъ» начнут. Заподозрят какую-нибудь начальственную каверзу, как в шестьдесят первом году при эмансипации. Нет, с этим погодить требуется, пока непоротое поколение подрастет.

— Ах, отче, а вы только представьте, какие благословенные настанут времена, когда наши обыватели будут в губернаторы не чужаков вроде меня получать, но смогут по собственной воле производить элекцион и избирать из своей среды достойнейшего, кого знают и уважают! Вот тогда-то истинный рай на русской земле и установится!

— Только и с этим бы не спешить. Пусть сначала обыватели наши достоинства поднакопят и в граждан превратятся, а потом уж и элекцион можно. А то они, пожалуй, Фильку-кабатчика себе в губернаторы выберут, если он им на площадь пару бочек зелена вина выкатит...

Ремарка. По поводу достоинства не знаем, что и присовокупить, потому что материя тонкая и учету плохо поддающаяся, да и времени не так много прошло — непоротое поколение, о котором говорил владыка, еще со школьной скамьи не сошло. Сильно пьяных, что в канаве валяются, у нас в последнее время стало меньше. И когда на улицу выходят, одеваться стали поприличнее. Но это, возможно, из-за того, что бедности поубавилось в связи с вышеупомянутым развитием торговли и разных промыслов. Право, не знаем... Хотя вот в прошлый год история была: квартальный Штуккин мещанина Селедкина «свиньей» обозвал. Раньше бы Селедкин такое обращение за ласку счел, а тут ответил служивому человеку: «Сам ты свинья». И мировой в том никакой вины не нашел.

Пожалуй, что и больше стало в заволжанах достоинства.

VII

СУАРЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

...общим же следствием всех этих бесед стало то, что помаленьку, год за годом, жизнь Заволжья стала меняться в лучшую сторону, так что в соседних губерниях стали нам завидовать. Вот, видно, и сглазили. Не иначе как взревновал лукавый к нашему благополучию.

На следующий день после того, как Владимир Львович Бубенцов истинным римским триумфатором доставил в город плененных зытяцких старейшин (при невиданном стечении толп, собравшихся посмотреть на небывалое зрелище — двое скованных служителей Шишиги, да еще три трупа в телеге), Митрофаний собрал у себя чрезвычайное совещание ближайших союзников, которое с мрачным юмором нарек «советом в Филях». И свою вступительную речь начал в соответствующем сей аллегории духе:

— Фельдмаршал Кутузов мог оставить Москву, потому что ему было куда отступать, а нам с вами, господа, отступать некуда. Столица не столько средоточие общественной жизни, сколько некий ее символ, а от символа на время можно и отступиться. Мы же с вами в Заволжье живем, оно для нас не отвлеченный символ, а наш с вами единственный дом, и отдавать его на поругание злым силам мы с вами не имеем ни права, ни возможности.

— Это безусловно так, — подтвердил взволнованный Антон Антонович.

И Матвей Бенционович Бердичевский тоже прибавил:

— Жизни вне Заволжска я для себя не мыслю, но если возобладают порядки, устанавливаемые этим инквизитором, существовать здесь я не смогу.

Митрофаний кивнул, словно иного ответа и не ждал.

— В разное время каждого из нас троих приглашали послужить в столице на более видном поприще, а мы не поехали. Почему? Потому что поняли: столица — это царство зла, и тот, кто туда попадает, теряет себя и подвергает свою душу угрозе. У нас же здесь мир простой и добрый, ибо он много ближе к природе и Богу. В провинции можно, пребывая во власти и делая дело, сохранить живую душу, а в Петербурге нельзя. От столицы проистекает один только вред, одно только насилие над естественностью. И наш с вами долг оборонять вверенный нам край от этой напасти. Дьявол силен, но мощь его непрочная, потому что зиждется не на достоинствах человека, а на его пороках, сиречь держится не на силе, а на слабости. Обыкновенно зло само себя и разрушает, рассыпаясь изнутри. Однако ждать, пока это случится, мы не вправе, потому что слишком многое хорошее, что нами с трудом выстроено, разрушится еще раньше, чем зло. Нужно действовать. И я собрал вас, господа, чтобы составить план.

— Представьте, владыко, я думал о том же, — сказал барон. — И вот что мне пришло в голову. Мой старший брат Карл Антонович, как вам известно, состоит на должности шталмейстера и раз в месяц бывает зван на малый ужин в высочайшем присутствии, где государь запросто с ним беседует и расспрашивает о всякой всячине. Я напишу Карлу подробное письмо и попрошу о содействии. Он государственная голова и наверняка сумеет представить дело так, что император не останется безучастным к нашей беде.

— К сожалению, сын мой, Константин Петрович беседует с государем куда чаще, чем раз в месяц, — вздохнул архиерей. — Надо думать, что его величество предубежден в пользу Бубенцова, и переменить это суждение будет непросто. Увы, слишком многим влиятель-

ным особам в Петербурге выгоден наш скандал. Тут ведь всю Россию высечь можно.

Антон Антонович с тоской проговорил:

— Но ведь надобно же что-то делать. Этот синодальный паук мне уж и по ночам снится. Будто лежу я и пошевелиться не могу, а он всё оплетает, оплетает меня своею липкой паутиной. Со всех сторон оплел...

Возникла тягостная, но непродолжительная пауза, которую прервал Матвей Бенционович. Внезапно побледнев, он решительно заявил:

— Господа, я знаю, что нужно. Я его на дуэль вызову, вот что! Если откажется стреляться, ему позор будет перед всем обществом, никто его больше на порог не пустит, и все заволжские дамы, которые сейчас вокруг него хороводы водят, от него отвернутся. А согласится на дуэль — его обер-прокурор с должности погонит. Что так, что этак, нам выгода.

От этой оригинальной идеи прочие участники совета аж оторопели. Барон покачал головой:

— Так ведь если согласится, вам с ним и в самом деле стреляться придется, и уж он вам загубленной карьеры не спустит. Что вы на барьере-то станете делать, Матвей Бенционович? Видел я на охоте, как вы стреляете. Вместо тетерки фуражку мне продырявили. Да и о детях подумайте.

Бердичевский сделался еще блее, потому что обладал очень живым воображением и сразу представил свою супругу в трауре, а деток в черных платьицах и костюмчиках, но не отступился:

— Пускай...

— Ах, глупости какие, — махнул губернатор. — И не сможете вы его вызвать, он вам повода не даст.

Здесь Бердичевский из белого вдруг стал пунцовым и признался в давнем постыдном происшествии:

— Есть повод. Он меня по носу щелкнул, и сильно, до крови, а я стерпел. Тоже о детях подумал...

Барон пояснил обладателю личного дворянства:

— По дуэльному статуту картель объявляется в течение суток после нанесения оскорбления, никак не позже. Так что вы, Матвей Бенционович, опоздали.

— Тогда я его тоже по носу, он поймет за что!

— Он, может, и поймет, да другие не поймут, — вставил слово преосвященный. — Еще сволокут вас в сумасшедший дом как буйнопомешанного. Нет, не годится. Да и не христианское это дело — поединок. Я на такое своего благословения не дам.

— Тогда вот что. — Бердичевский сосредоточенно схватился за нос, повертел его и так, и этак. — Можно попробовать иначе, через троянского коня.

— Как это? — удивился Антон Антонович. — Кто же станет сим конем?

— Полицмейстер Лагранж. Он у Бубенцова за правую руку стал, и Бубенцов ему многое доверяет. А у меня про любезнейшего Феликса Станиславовича по моей прокурорской линии кое-что имеется.

Бердичевский сделался спокоен и деловит, голос его больше нисколько не дрожал.

— Лагранж третьего дня взял у купца-старообрядца Пименова подношение. Семь тысяч ассигнациями. Сам же и вынудил, пригрозив арестом за поносные слова об обрядах православной церкви.

— Да что вы! — ахнул барон. — Это неслыханно!

(Удивление Антона Антоновича понятно, ибо, как уже было сказано, в нашей губернии прямое мздоимство, да еще со стороны высокого начальства, совершенно отошло в область преданий.)

— И тем не менее взял — не иначе как в предвидении новых времен. У меня и заявление от Пименова имеется. Я пока ничего предпринимать не стал. Могу поговорить с Феликсом Станиславовичем. Он человек не очень умный, но сообразит. По видимости будет оставаться по-

собником Бубенцова, однако втайне будет всё мне подробнее докладывать о происках и замыслах нашего милого дружка.

Митрофаний `закряхтел, завздыхал:

— Ох, не знаю, не знаю... Молиться буду, спрошу Господа, допустимо ли такое ухищрение. Конечно, Он иногда допускает, чтобы злое злым же и истреблялось, но все же нехорошо это.

— Еще более нехорошо сидеть сложа руки и ничего не делать, а вам, владыко, что ни предложи, вы всем недовольны, — укорил преосвященного губернатор.

— Вы правы, сын мой. Лучше согрешить, чем безвольно злу попустительствовать. Вы, Антон Антонович, напишите брату, и пусть он с государем побеседует. Чтоб его величеству не с одной только стороны в ухо дуло. А ты, Матвей, действуй по своему разумению. — Бердичевского владыка звал попросту, без церемоний, потому что знал его еще подростком. — Тебя учить не нужно. И вот еще что... — Митрофаний покашлял. — Антон Антонович, вы уж жене про замыслы наши не говорите.

На длинной физиономии барона отразилось глубочайшее страдание.

— А вы что же, отче? — поспешно спросил Бердичевский, чтобы проскочить неловкость. — Каковы будут ваши действия?

— Молиться стану, — веско проговорил епископ. — Чтобы послал Господь избавление. А также имею большую надежду на помощь одной неизвестной вам особы...

* * *

Итак, уходящее лето отцы губернии провожали в тревоге и смятении, имея на то самые серьезные основания, однако верно и то, что никогда еще наше заволжское общество не жило так увлекательно, как в эти августовские и сентябрьские дни.

И дело здесь не только в политическом и религиозном потрясении, что в считанные дни прославило наш край на всю Россию. Подобные события способны волновать умы, но особенной шекотки нервов от них не происходит, у нас же наблюдалось именно что нервическое возбуждение — то особого свойства возбуждение, создать которое могут только взбудораженные и ошалевшие от любопытства женщины. Ведь главный нерв общества, как известно, определяется настроением представительниц слабого пола. Когда они скучают и хандрят, в мире все мельчает, ссыхается и сереет. Когда же, охваченные волнением, они стряхивают с себя сон — жизнь сразу убыстряет пульс, расцветает, наполняется звуками и красками. В столицах дамы почти постоянно находятся либо в трепещущем экстазе Сопричастности Большому Событию, либо в предвкушении этого восхитительного состояния, чем и объясняется извечное женское стремление вырваться из провинции в Петербург или, на худой конец, в Москву, где шум, огни и переливчатое сияние непрекращающегося праздника. В глубинке же дамы от тишины и тусклости впадают в истеричность и меланхолию, но тем неистовее всплеск застоявшихся чувств, когда свершается чудо и над родными до зевоты пенатами вдруг засияет солнце Истинного Скандала. Тут вам и драма, и страсти, и сладостнейшие сплетни — причем всё это вблизи, рядом, и находишься почти что на самой сцене, а не взираешь в лорнетку с кресел четвертого яруса, как в столицах.

В центре всей этой увлекательной жизни, ареной которой с некоторых пор сделался тихий Заволжск, конечно, находился Владимир Львович Бубенцов, бывший грешник, а ныне герой, то есть фигура, для женского сердца опасная даже не вдвойне, а в квадрате. Отношения синодального эmissара с губернаторшей Людмилой Платоновной, почтмейстершей Олимпиадой Савельевной и еще несколькими львицами местного значения стали глав-

ной темой для обсуждения во всех наших гостиных и салонах. О природе этих отношений высказывались самые разные мнения, от милосердных до предезких, и следует признать, что последние явно преобладали.

Другим, почти столь же пикантным источником для пересудов служила Наина Георгиевна Телианова. Покинув бабушкину усадьбу, она переселилась в Заволжск и не проявляла ни малейшего желанья скрываться бегством в иные края — то есть произошло именно так, как предсказывала проницательная сестра Пелагия. Все, разумеется, знали про неблагоприятную роль Наины Георгиевны в истории с несчастными собаками, и мало кто теперь хотел знаться с полоумной княжной, однако же всеобщее осуждение решительную барышню ничуть не смущало. Выяснилось, что опасения, некогда высказанные сестрой Пелагией относительно бедственного положения, в которое угодит Наина Георгиевна, если останется без бабушкиного наследства, совершенно неосновательны. Помимо славного особнячка, доставшегося княжне от недавно усопшей родственницы, у Телиановой, оказывается, имелся и собственный капитал, опять-таки завещанный ей каким-то не то двоюродным, не то троюродным дядей. Не бог весть какое богатство, но все же вполне достаточное, чтобы держать горничную и одеваться по последней моде. Наина Георгиевна совершенно открыто являлась повсюду, где хотела, и вообще вела себя таким образом, что по временам даже затмевала своими выходками миссионерские и амурные свершения Владимира Львовича.

Чего стоили хотя бы ежедневные предвечерние выезды взбалмошной барышни на Питерский бульвар, наш заволжский Шанзелизе!

Наряженная в умопомрачительное платье (всякий раз новое), в широчайшей шляпе с перьями, под ажурным зонтиком, Наина Георгиевна неспешно проезжала в коляске по эспланаде, дерзко разглядывая встречных дам, а на Хра-

мовой площади повелевала извозчику остановиться перед гостиницей «Великокняжеская» и долго, иной раз до получаса, неотрывно смотрела на окна флигеля, где квартировал Владимир Львович. Зная это ее обыкновение, к условленному часу у ограды уже собиралась небольшая толпа, палившаяся на удивительную девицу. Правда, никто ни разу не видел, чтобы дверь флигеля открылась и инспектор пригласил княжну войти, но эта неприступность еще больше усиливала скандальность ситуации.

А в канун Дня усекновения главы Иоанна Крестителя в городе запахло новым скандалом, пока еще не ясно, в чем именно состоящим. Но запах был тот самый, пряный, безошибочный. И слухи витали самые что ни на есть обнадеживающие.

Намечалось событие, для Заволжска редкое и даже почти небывалое, — публичная художественная выставка, да не гимназических рисунков и не акварелек, писанных членами общества «Чиновницы за благонравие», а демонстрация фотографических картин столичной знаменитости Аркадия Сергеевича Поджио.

Vernissage для приглашенных — с шампанским и закусками — был назначен на самый день сего скорбного праздника, который, как известно, предписывает строжайшее соблюдение поста. Уже в этом чувствовался вызов приличиям. Но еще примечательней была многозначительная таинственность, с которой патронесса выставки Олимпиада Савельевна Шестаго рассылала приглашения узкому кругу друзей и знакомых. Поговаривали, что сим немногим счастливцам будет показано нечто совершенно особенное, и высказывались нервнующие опасения, что публике потом самого интересного не предъявят, а возможно, публичная демонстрация и вовсе не состоится.

Почтмейстерша купалась в лучах всеобщей агитации. Никогда еще она не получала сразу столько приглашений на всевозможные вечера, именины и журфиксы. Езди-

ла не ко всем, а с большим разбором, держалась интригующе, а на прямые просьбы о пригласительном билете отвечала, что помещение слишком мало и сам художник возражает против многолюдства, ибо тогда его работы будет неудобно смотреть. Вот со следующего после вернисажа дня — милости просим.

Наконец знаменательный вечер настал.

* * *

Выставка расположилась в обособленном крыле почтмейстерова дома, выходявшем дверью прямо на улицу. Здесь, в этой удобной квартире, Аркадий Сергеевич жил уже целый месяц, после того как съехал из Дроздовки. Призоншло это по не вполне понятной причине, потому что никакой заметной окружающим ссоры с обитателями усадьбы у Поджио не было, однако некоторые самые прозорливые наблюдательницы отметили, что по времени это перемещение совпало с эмиграцией Наины Георгиевны. На первом этаже квартиры находился просторный салон, где разместилась собственно выставка, и перед салоном еще гостиная. Второй этаж вмещал две комнаты: одна служила Аркадию Сергеевичу епальной, в другой же, наглухо завесив окна, он устроил фотографическую лабораторию.

Приглашенные собирались не вдруг, а постепенно, поэтому предусмотрительность хозяйки, приготовившей в салоне стол с закусками, была оценена по достоинству.

Едва не первыми прибыл Степан Трофимович Ширяев и Петр Георгиевич Телманов, что окончательно опровергло предположение о ссоре между Аркадием Сергеевичем и дроздовскими жителями. Ширяев был бледен и напряжен, точно предвидел от выставки какую-то для себя неприятность, зато его молодой спутник держался весело, много шутил и всё норовил украдкой сунуть нос в запертый салон, так что Олимпиаде Савельевне пришлось взять проказника под особый присмотр.

Кроме того, со стороны художника были приглашены Донат Абрамович Сытников и Кирилл Нифонтович Краснов. Генеральша Татищева, хоть и оправилась от болезни, из усадьбы еще не выезжала, да если б и выезжала, вряд ли удостоила бы посещением экспозицию нелюбимого ею «шелкунчика» (именно так в конце концов стала она называть Аркадия Сергеевича, очевидно, имея в виду шелканье, которое производил при съемке фотографического аппарат).

Гостей со стороны хозяйки было звано больше: Владимир Львович со своим неразлучным секретарем, губернский предводитель граф Гавриил Александрович (на сей раз с супругой), несколько либеральных друзей из числа самых доверенных и проверенных, и еще приезжая из Москвы — некая Полина Андреевна Лисицына, прибывшая в Заволжск не так давно, но уже успевшая подружиться со всеми столпами заволжского общества. Супруг Олимпиады Савельевны к участию в суаре допущен не был из-за невосприимчивости к искусству и вообще явной своей неуместности при наличии Бубенцова.

Все уже собрались, и с минуты на минуту ожидалась самая существенная персона — Владимир Львович, несколько задержавшийся из-за государственных дел, но обещавшийся беспременно быть. Гости успели хорошо ободриться шампанским и со всевозрастающим любопытством поглядывали на виновника торжества. Поджио переходил от группы к группе, много шутил и взволнованно вытирал платком руки, то и дело посматривая на дверь — вероятно, терзался нетерпением и мысленно поторапливал припозднившегося Бубенцова.

Вот Аркадий Сергеевич приблизился к москвичке, подле которой увивался один из местных прогрессистов, и с преувеличенной оживленностью воскликнул:

— Нет, Полина Андреевна, вы непременно должны позволить мне сделать ваш портрет! Чем больше я смот-

рю на ваше личико, тем интереснее оно мне кажется. А еще чудесней было бы, если б вы уговорили вашу сестру позировать мне вместе с вами. Это просто поразительно, до чего различными могут быть черты, обладающие всеми признаками родственного сходства!

Лисицына улыбнулась, блеснув живыми карими глазами, и ничего на это не сказала.

— Уж не сердитесь, Poline, но этот двойной портрет красноречивейшим образом продемонстрировал бы всем, как преступно поступают с собой женщины, решившие удалиться от мира. Ваша сестра Пелагия — серая мышка, а вы — огненная львица. Она как тусклая Луна, а вы как ослепительное Солнце. Нос, брови, глаза по рисунку такие же, но вас никогда и ни за что не спутаешь. Она, должно быть, намного вас старше?

— Это комплимент или желание установить мой возраст? — рассмеялась Лисицына, обнажив ровные белые зубы, и шутливо ударила Аркадия Сергеевича черным страусовым веером по руке. — И не смейте при мне поносить Пелагию. Мы так редко с ней видимся! В кои-то веки приехала проведать, а ее в какой-то дальний монастырь услали.

Она помахала своим орудием возмездия, обдувая обнаженные плечи, премило осыпанные веснушками светло-апельсинового цвета, тряхнула пышной рыжеволосой прической и прищурилась на часы.

— Вы близоруки? — спросил наблюдательный Поджио. — Двадцать минут девятого.

— Близорукость у нас в роду, — призналась Полина Андреевна и обезоруживающе улыбнулась. — А очки носить я стесняюсь.

— Вас и очки вряд ли бы испортили, — галантно уверил ее Аркадий Сергеевич. — Так как насчет портрета?

— Ни за что. Еще на выставке показывать начнете. — Лисицына перешла на заговорщический шепот. — Что

там у вас за сюрприз такой, а? Поди, что-нибудь неприличное?

Поджи улыбнулся чуть вымученной улыбкой и ничего не ответил. Рыжая чаровница смотрела на него снизу вверх, пытливо морща круглый лоб, и словно бы пыталась разгадать какую-то головоломку.

Ах, да что морочить читателю голову, тем более что он и так уже обо всем догадался.

Перед нервничающим художником стояла (в открытом бархатном платье для визитов, в белых перчатках по локоть, в обрамлении причудливо накрученных медно-рыжих локонов) никакая не Полина Андреевна Лисицына, а...

То есть не то чтобы совсем не Полина Андреевна Лисицына, ибо когда-то ее действительно звали именно так, но затем она сменила имя, лишилась отчества и стала просто Пелагией.

Для того чтобы понять, как свершилось невероятное и даже кощунственное превращение инокини в светскую даму, нам придется вернуться недели на две назад.

Тогда лето доживало свои самые последние дни, вверх по Реке плыли баржи с астраханскими и царицынскими арбузами, а владыка Митрофаний только что провел свой тягостный «совет в Филях».

* * *

— ...Тут опасность не только для меня и губернатора. Это бы полбеды, даже четверть беды. Но нынче поставлен под угрозу весь наш уклад. Как пастырь я не могу сидеть сложа руки, когда алчный зверь пожирает мое стадо. Я весь на виду, руки мои связаны, вокруг соглядатаи бубенцовские кишмя кишат, не знаешь, кому и верить. Уже донесли, что я вчера с Антоном Антоновичем и Матвеем келейничал, это мне доподлинно известно. Без тебя, Пелагия, мне не справиться. Выручай. Будем с двух концов пожар тушить. Как в прошлом годе, когда ты со мной

в Казань ездила похищенную икону Афонской Богоматери искать.

Так закончил преосвященный свою речь. Митрофаний и его духовная дочь гуляли вдвоем по дорожкам архиерейского сада, хотя день был пасмурный и с неба побрызгивало дождичком. Вот до чего дошло — опасался владыка в собственных палатах тайный разговор вести. Ушей-то вороватых много.

— Так все-таки опять Полину представлять? — вздохнула монахиня. — Зарекались ведь, говорили, что в последний раз. Я не со страха говорю, что разоблачат и из инокинь погонят. Мне это лицедейство даже в радость. Того и боюсь. Соблазна мирского. Очень уж сердце у меня от маскарадов этих оживляется. А это грех.

— Про грех не твоя печаль, — строго проговорил Митрофаний. — Я послушание даю, на мне и ответ. Цель благая, да и средство, хоть и незаконное, но не бесчестное. Иди к сестре Емилии, скажи, что я тебя в Евфимьевскую обитель отсылаю. А сама доедешь на пароходе до Егорьева, там приведешь себя в должный вид и послезавтра чтоб снова здесь была. Я тебя в дома введу, где Бубенцов бывает — и к графу Гавриилу Александровичу, и к губернатору с губернаторшей, и к прочим. А дальше уж сама. На вот. — Он протянул Пелагии кожаный кошель. — Туалетов закажешь у Леблана, духов там всяких, помад купишь — ну что там полагается. И лохмы свои рыжие в куафюру уложи, как в Казани, с такими вот завитушками. Ну, иди, иди с Богом.

* * *

Жить Пелагия — нет, не Пелагия, а молодая московская вдовушка Полина Андреевна Лисицына — стала у полковницы Граббе, давнишней приятельницы Митрофания. Старушка про маскарад знать не знала, но приняла гостью радушно, поселила удобно, и все было бы замечательно хорошо, если б добрейшей Антонине Ива-

новне не взбрело в голову, что милую, несчастную даму нужно как можно скорее выдать замуж.

От этого для конспиратки возникало множество неловкостей. Полковница что ни день приглашала на чай молодых и не очень молодых господ холостого или вдового состояния, и чуть не все они, к крайнему смущению Полины Андреевны (будем уж называть ее так), проявляли самый живой интерес к ее белой коже, блестящим глазам и прическе «бронзовый шлем»: сверху всё гладко в пробор, по затылку волны, а с боков по три витые подвески. Даже и до соперничества доходило. Например, инженер Сурков, очень хороший человек, придет в гости с огромным букетом хризантем, а инспектор гимназии Полуэктов заявится с целой корзиной, и после первый ко второму весь вечер ревнует.

Сестра Емилия, которая, прежде чем постричься, трижды побывала невестой и потому считала себя большим знатоком по части мужских повадок, поучала, что мужчины оказывают внимание определенного рода (так и говорила: «внимание определенного рода») не всем женщинам, а только тем, кто им некий знак подает, иной раз даже и ненамеренно. Взглядом там, или внезапным румянцем, или вообще неким неуловимым запахом, до которого мужские носы чрезвычайно чувствительны. Знак этот означает: я доступна, можете ко мне приблизиться. И в доказательство Емилия, будучи среди прочего еще и учительницей естествознания, приводила примеры из жизни животных, главным образом почему-то собак. Христина, Олимпиада, Амвросия и Аполлинария слушали затаив дыхание, потому что в миру с мужскими повадками ознакомиться не успели вовсе. Пелагия же внимала печально, потому что из опыта пребывания в роли госпожи Лисицыной со всей очевидностью проистекало: подает она знаки о своей доступности, всенепременно подает. То ли взглядом, то ли румянцем, то ли треклятым преда-

тельским запахом. Неприятнее всего было то, что в роли легкомысленной госпожи Лисицыной черница чувствовала себя как рыба в воде, и всегдашняя ее неуклюжесть странным образом куда-то улетучивалась. Повадка становилась уверенной, движения грациозными, и даже бедра при ходьбе начинали вести себя самым предательским манером, так что иные мужчины и оборачивались. После каждого перевоплощения приходилось не одну тысячу поклонов класть и по сто раз молитву Божией Матери читать, чтобы снизошло блаженное спокойствие.

Пока же получалось, что в этот раз Пелагия брала грех на душу почти что и напрасно. За две недели самого безудержного верчения по званным вечерам, обедам и балам выяснить полезного удалось не много. Бубенцов у Наины Георгиевны не бывал, она у него тоже. Если они где-то и встречались, то втайне. Хотя вряд ли, если принять во внимание ежедневные демонстрации княжны Телиановой перед гостиничным флигелем. Один раз, заглянув вместе с почтмейстершей на квартиру к Владимиру Львовичу, Пелагия увидела на столе конверт, надписанный косым почерком и с буквами «НТ» внизу, но конверт валялся там нераспечатанный и, судя по всему, не первый день.

Несколько успешнее были действия, предпринятые госпожой Лисицыной в направлении зытяцкого дела.

Любопытное обстоятельство выяснилось из беседы с патологоанатомом Визелем, одним из протеже сердобольной Антонины Ивановны. Оказывается, Бубенцов вывез со зловещей лесной поляны, где предположительно находилось капие кровожадного Шишиги, образцы почвы, пропитанной некоей похожей на кровь жидкостью, и поручение произвести анализ этого трофея досталось как раз Визелю. Лабораторное исследование показало, что это и в самом деле кровь, но не человеческая, а лосиная, о чем и было доложено полицмейстеру Лагранжу. Однако

до сведения газет и общественности это важное известие доведено не было.

Жандармский ротмистр Пришибякин, откомандированный из Петербурга в помощь Чрезвычайной комиссии, жарко дыша в ухо и щекочась напомаженными усами, по секрету рассказал про сушеные человеческие головы, якобы обнаруженные у зытяцкого шамана, и обещал показать их Полине Андреевне, если она навестит его в гостинице. Лисицына, поверив, пришла — и что же? Никаких сушеных голов Пришибякин не предъявил, а вместо этого хлопнул пробкой от шампанского и полез с объятиями. Пришлось словно бы по неловкости попасть ему локтем в пах, отчего изобретательный ротмистр сделался бледен и молчалив — лишь замычал и проводил упорхнувшую гостью страдальческим взглядом.

Со следователем Борисенко, тоже из Чрезвычайной комиссии, повезло больше. На балу в Дворянском клубе, красуясь перед любознательной прелестницей, он посетовал, что арестованные зытяки упрямы, чистосердечных показаний давать не желают, а те, кто рассказывает про Шишигу и жертвоприношения, все время путаются и сбиваются, так что приходится потом протоколы подправлять и переписывать.

Всё это было примечательно, однако же недостаточно, чтобы «заволжская партия» могла повести решительное контрнаступление против петербургского нашествия. Потому-то Полина Андреевна и придавала такое значение открытию фотографической выставки: вновь выплывала дроздовская линия, и на сей раз, кажется, что-то могло проясниться. Уж не это ли и есть та таинственная угроза, которой Аркадий Сергеевич страшал Найну Георгиевну? Опять же и Бубенцов там будет. В общем, требовалось непременно раздобыть приглашение на вернисаж, в чем Полина Андреевна в конце концов и преуспела, проявив изобретательность и недюжинный напор.

Накануне заветного суаре у госпожи Лисицыной возникло нешуточное затруднение в связи с обозначенным в билете предписанием: «Дамы в открытых платьях». Даже на балы Полина Андреевна являлась, прикрыв плечи, грудь и спину газовой пелеринкой, которую местные модницы сочли последним московским шиком и уже заказали себе у Леблана такие же. Однако пренебрежение строгим указанием хозяйки выглядело бы афронтом, тем более заметным, что москвичка, судя по всему, была едва ли не единственной из дам, удостоившихся приглашения на вернисаж Олимпиады Савельевны. Вызывать неудовольствие главной confidentки и союзницы Бубенцова было бы по меньшей мере неразумно.

Бедная Пелагия без малого полдня просидела у себя в спальне перед туалетным зеркалом, то подтягивая вырез на бесстыдном бархатном платье чуть не до самого подбородка, то снова опуская легкую ткань в предписанные мсье Лебланом границы.

Впрочем, следовало признать, что декольте смотрелось совсем недурно, ибо к осени веснушки спереди почти совсем сошли, но зато они вскарабкались на плечи — очевидно, вследствие занятий плаванием — и, по мнению Полины Андреевны, придавали этой части анатомии сходство с двумя золотистыми апельсинами. То-то все будут пялиться.

Ужасно, но выбора не было.

* * *

Тренькнул медный колокольчик — кто-то вошел в подъезд с улицы, и Лисицына увидела, что Аркадий Сергеевич аж на цыпочках приподнялся, вытянув шею.

То прибыли Владимир Львович и его неотлучный патрокл Спасенный. Полина Андреевна успела отметить разочарование, скривившее рот художника, и вместе со всеми оборотилась к вошедшим.

Бубенцов слегка кивнул гостям, не сочтя нужным извиниться за опоздание. Хозяйке пожал руку и чуть придержал ее длинные бледные пальцы, отчего Олимпиада Савельевна сразу раскраснелась и похорошела.

— Ну вот все и в сборе! — весело воскликнула она. — Что ж, Аркадий Сергеевич, сезам откройся? — И показала на закрытую дверь салона.

— Так нельзя. Нужно дать возможность опоздавшим выпить по бокалу вина, — возразил художник, вновь оглянувшись на вход. — Право, шампанское куда привлекательней моих скучных пейзажей.

— Пост сегодня, — строго укорил его Тихон Иеремеевич. — А мы с Владимиром Львовичем люди Божьи. Давайте уж, показывайте ваши картинки.

Бубенцов, правда, пригубил бокал, но тут же отставил его. Выжидательно приподняв брови, государственный человек сказал:

— Ну что же, в самом деле. Открывайте. Посмотрим, чем это вы так всех интриговали.

Поджио сделался бледен. Наконец, преодолев волнение и словно бы даже сам на себя осердившись, произнес скороговоркой:

— Хорошо, быть по сему. Итак, дамы и господа, как известно некоторым из вас, я приехал сюда, чтобы сделать ряд работ для выставки в Москве, в Румянцевском музее. Название — «Русь уходящая». Поэтический мир старой дворянской усадьбы, образ заброшенного сада, обвитые плющом беседки, предвечерние дымки и прочая романтическая ерундистика. Ах, да что расписывать — смотрите сами.

Каким-то преувеличенно резким, точно отчаянным жестом он толкнул створки, приглашая в салон.

Небольшая выставка — пожалуй, не более трех десятков работ — была устроена просто, но искусно. Чуть подрагивающий свет от газовых рожков не портил изоб-

ражение бликами, а, наоборот, придавал черно-белым картинам вид подлинно живой реальности. По обе стороны на стенах висели прелестные пейзажи и этюды, запечатлевшие неброскую, но чарующую красоту дроздовского парка, речного простора, ветшающего помещичьего дома. Зрители медленно проходили вдоль ряда фотографий, одобрительно качая головами, потом достигали стены, противоположной входу, и застывали, не передвигаясь дальше, так что довольно скоро там образовался целый затор.

Полина Андреевна оказалась у заколдованного места одной из первых и тихонько ойкнула, схватившись за сердце.

Под тремя большими, в аршин, работами значилась общая подпись «У лукоморья». На каждой — обнаженная женщина, по всей видимости, одна и та же. Мы говорим «по всей видимости», потому что лицо позировавшей было скрыто. На левой фотографии она сидела на корточках близ воды, голова опущена, длинные волосы свисают вниз, в них вплетены водоросли. На правом снимке натурщица лежала спиной к зрителям, закинув руку поверх головы; передний план — песок, задник — солнечные зайчики по воде. В центре же висел поясной портрет en face: женщина стояла в воде, доходившей ей до бедер, прикрыв руками лицо; мокрые светлые волосы увенчаны короной из лялий, меж чуть раздвинутых пальцев поблескивают искринки смеющихся глаз. Следовало признать, что выполнены работы были с большим мастерством, но все столпились подле них, конечно, не из-за этого.

Выходит, это и был тот прекрасный, ужасающий, небывалый скандал, приближение которого Заволжск уловил своим чувствительным носом! И дело было вовсе не в том, что обнаженная натура. Хоть у нас и медвежий угол, но все же не Персия, и изображением ню, пусть бы даже фотографическим, наших ценителей искусства не смутишь. Нет, тут весь фокус заключался в персоне на-

турницы, стати которой зрители разглядывали с жадным интересом. Она или не она?

Донат Абрамович крикнул, ухватил пятерней бороду, осуждающе покачал головой, но отходить в сторону не спешил — какое там. Напротив, нацепил пенсне, совсем ему не шедшее, и принялся изучать детали, будто оценивал партию товара.

На Ширяева было жалко смотреть. Он залился краской до самых волос, грудь его порывисто вздымалась, пальцы то судорожно разжимались, то сцеплялись в кулаки. Странен был и Поджио. Он взирал на собственные произведения с болезненной, блуждающей улыбкой, о публике же словно и забыл.

Последним подошел Бубенцов. С видом знатока, склонив голову набок, рассмотрел триптих. Усмехаясь, спросил:

— Кто сия нимфа?

Аркадий Сергеевич встрепенулся, небрежно махнул рукой:

— Так, одна из местных жительниц. Мила, не правда ли?

В этот миг сзади раздался громкий, насмешливый голос:

— Что это вы, господа, там разглядываете? Верно, какой-нибудь шедевр?

В дверях стояла Наина Георгиевна, невыразимо прекрасная в белом, перехваченном широким алым поясом платье, в бархатной шляпе с вуалью, сквозь которую мерцали огромные черные глаза.

Получалось, что главный скандал еще впереди.

— Явились-таки! — выкрикнул Аркадий Сергеевич, делая шаг ей навстречу. — Поздно! Или думали, я шутки шучу?

— Я нарочно, — ответила она, приближаясь к собравшимся. — Любопытно было проверить, какие в вас черти сидят.

С нарочитой медлительностью она обошла пейзажную часть выставки, у одного не особенно примечательного этюдника даже задержалась — вероятно, чтобы поинтересничать. Наконец добралась до кучки, столпившейся возле триптиха. Все поспешно раздвинулись, пропуская ее вперед.

Пока Телианова смотрела на крамольные фотографии, было очень тихо. Полина Андреевна заметила, что некоторые с особенным интересом изучают сзади линию шеи опасной барышни и сравнивают с натурщицей, изображенной *de derrière**. Выходило похоже, и даже очень.

Наконец Наина Георгиевна обернулась, и стало заметно, что первоначальной бравады у нее поубавилось, а глаза под тонкой сеткой заблестели как-то уж чересчур ярко — не от слез ли?

— А при чем здесь лукоморье? — громко сказал Кирилл Нифонтович Краснов, очевидно, желая сгладить остроту момента. — Это мотив из Пушкина, «Руслан и Людмила»?

— Точно так, — ответил Поджио, глядя воспаленными глазами на Наину Георгиевну.

— Так это вы русалку представили, вот оно что! «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит».

Раздвинув красные губы в безжалостной улыбке, Аркадий Сергеевич протянул:

— Возможно. Или оттуда же, из «Руслана», другое... — И прибавил, чеканя каждое слово: — «Ах, витязь, то была Наина».

Без единого слова (и это было самое страшное) Степан Трофимович кинулся к своему однокашнику и бешено ударил его кулаком по лицу, так что художника отшвырнуло к стенке, а из разбитого рта на бороду хлынула кровь.

* сзади (фр.).

— Степан, ты что?! — в ужасе вскричал Петр Георгиевич, обхватывая Ширяева сзади за плечи. — Что с тобой? — И вдруг сообразил: — Ты подумал, что это Наина?!

Далее началась сцена решительно безобразная. Несколько мужчин удерживали Степана Трофимовича, который вырывался и ничего при этом не говорил, только хрипел. Петр Георгиевич, закрывшись руками, рыдал в голос. Поджо же, похожий со своим окровавленным ртом на вурдалака, наоборот, захлебывался не то кашлем, не то истерическим хохотом.

Наина Георгиевна вдруг резко повернулась к Бубенцову, с беззаботной улыбкой наблюдавшему за баталией, и спросила звенящим голосом:

— Что, весело вам?

— А то нет, — негромко ответил он.

— Князь Тьмы, — прошептала Наина Георгиевна, испуганно от него отшатнувшись, и еще тише присовокупила непонятное: — Князь и княжна, как сошлось-то...

И, не дожидаясь окончания противоборства, опрометью бросилась вон.

— Госпожа Телианова не вполне овладела искусством покидать сцену, — иронически заметил Владимир Львович, обращаясь к хозяйке. — Просто выйти у нее никак не получается, беспрерывно выбежать.

Олимпиада Савельевна глядела победоносной Никой — суаре превзошел все ее ожидания.

— Полноте, господа! — громко провозгласила она. — Право, что за ребячество. Это всё шампанское виновато. Приходите завтра на широкое открытие. Думаю, будет интересно.

Только назавтра никакого широкого открытия не произошло, потому что открывать стало нечего.

И некому.

VIII

ТЕ ЖЕ, ДА НЕ ВСЕ

Но по порядку, по порядку, ибо здесь имеет значение всякая, хоть бы на первый взгляд и совершенно незначительная деталь.

Когда в половине десятого утра Аркадий Сергеевич не вышел к завтраку, Олимпиада Савельевна поначалу ничего такого не подумала, потому что столичный гость, как и следует представителю вольной профессии, пунктуальностью не отличался. Однако спустя четверть часа, когда омлет больше ждать не мог, послали лакея. Тот прошел через двор и улицу, так как иначе в обособленное крыло попасть было невозможно, позвонил в колокольчик, потом для верности еще и постучал — никакого ответа.

Тогда почтмейстерша забеспокоилась, не стало ли Аркадию Сергеевичу дурно после вчерашних переживаний и весьма ощутимой оплеухи, полученной от Степана Трофимовича Ширяева. Лакей был отряжен во второй раз, уже с ключом. Ключ, впрочем, не понадобился, так как Поджио по обычной своей рассеянности оставил замок незапертым. Посланец проник внутрь и через краткие мгновения огласил дом истошными криками.

* * *

Тут надобно пояснить, что смертоубийства в нашем городе в последние годы стали крайне редки. Собственно, в предыдущий раз такой грех приключился позапрошлым летом, когда двое ломовых извозчиков повздорили из-за одной рыночной карменситы, и один слишком азартно ударил другого поленом по голове. А перед тем убийство было лет пять назад, и опять не по злодейскому умыслу, но от любви: двое гимназистов шестого класса вздумали стреляться на дуэли. Кто-то там из них, теперь уж не разбе-

решь кто, перехватил любовное письмо, адресованное хорошенькой дочке нашего городского архивариуса Беневоленского. Пистолетов у мальчишек не было, стреляли они из охотничьих ружей, и оба легли наповал. О той истории писали все газеты, хотя, конечно, и не столь шумно, как о нынешнем зытяцком деле. А бедную девочку, ставшую невольной причиной двойного убийства, отец навсегда переправил из Заволжска к родственникам в какую-то отдаленную губернию, чуть ли не в самый Владивосток.

Но на сей раз речь шла не о пьяной драке или юношеском максимализме, тут проглядывали все приметы злонамеренного, обдуманного убийства, да еще отягощенного особенным зверством. Безголовые трупы, неизвестно чьи и бог весть из какой глухой чащи притащенные, — это одно. И совсем другое, когда этакая страсть приключается в самом Заволжске, на самой лучшей улице, да еще со столичной знаменитостью, которую знало всё хорошее общество. Самое же ужасное заключалось в том, что преступление — в этом решительно никто не сомневался — совершил кто-то из этого самого общества, к тому же по мотивам, до чрезвычайности распаляющим воображение (нечего и говорить, что о скандальном исходе почтмейстершиного суаре весь город узнал в тот же вечер).

Вот об этих-то мотивах в основном и рассуждали, что же до личности убийцы, то тут предположения были разные, и даже возникло во меньшей мере три партии. Самая многочисленная была «ширяевская». Следующая по размеру — та, что видела виновницей оскорбленную Наину Георгиевну, от которой после истории с собаками можно было ожидать чего угодно. Третья же партия держала на подозрении Петра Георгиевича, напирая на его нигилистические убеждения и кавказскую кровь. Мы сказали «по меньшей мере три», потому что имелась еще и чет-

вертая партия, немногочисленная, но влиятельная, ибо образовалась она в кругах, близких к губернатору и Матвею Бенционовичу Бердичевскому. Сии шептались, что тут так или иначе не обошлось без Бубенцова — но это уж слишком явно относилось к области выдавания желаемого за действительное.

Не мудрено, что уже к полудню весь Заволжск прознал о страшном событии. Горожане выглядели одновременно взбудораженными и притихшими, и общее состояние умов сделалось такое, что владыка велел отслужить в церквах очистительные молебствия и сам произнес в соборе проповедь. Говорил о тяжелых испытаниях, ниспосланных городу, и понятно было, что в виду имеется отнюдь не только убийство фотографа.

* * *

А непосредственно перед тем, как Митрофанию ехать на проповедь, у него на архиерейском подворье побывал посетитель, товарищ окружного прокурора Бердичевский, вызванный к преосвященному нарочным.

— Ты вот что, Матюша, — сказал владыка, уже обряженный в фелонь и саккос, но еще без митры и панагии. — Ты этого расследования никому не перепоручай, возмись сам. Я не исключаю, что тут может вскрыться что-нибудь, выводящее к известному тебе лицу. — Митрофаний мельком оглянулся на притворенную дверь. — Посуди сам. И убиенный, и та особа, которую, по всей видимости, он хотел уязвить, нашему шустрцу отлично знакомы, а с последней его связывают и какие-то особенные отношения. Опять же он самолично, в числе немногих, присутствовал при вчерашнем ристалище...

Матвей Бенционович руками замахал и даже перебил преосвященного, чего прежде никогда не бывало:

— Отче, я этого совсем не могу! Во-первых, придется ехать на место убийства, а я покойников боюсь...

— Ну-ну, — погрозил ему пальцем Митрофаней. — Слабость сердца одолевать нужно. Ты прокурор или кто? Вот повезу тебя с собой на Старосвятское кладбище, откуда гробы перевозят, поскольку Река совсем берег подмыла. Я, как полагается, буду молитвы читать, а тебя поставлю извлечением останков распоряжаться. Для укрепления нервов тебе полезно будет.

— Ах, не в покойнике только дело. — Бердичевский просительно заглянул владыке в глаза. — У меня дознавательского дара нет. Вот акт обвинительный составить или даже допрос вести у меня отлично получается, а уголовный расследователь из меня никакой. Это у вас, отче, талант загадки разгадывать. Жалко, вам самим туда поехать нельзя, не к лицу.

— Я не поеду, но око свое к тебе приставлю. Войдика, дочь моя, — позвал преосвященный, поверотясь в дверке, что вела во внутренние покои.

В кабинет, где происходила беседа епископа с товарищем прокурора, вошла худенькая монахиня в черном апостольнике и черной же камиллавке, молча поклонилась. Бердичевский, не раз видевший Пелагию прежде и знавший, что она пользуется у Митрофаня особенным доверием, поднялся и ответил не менее почтительным поклоном.

— Сестру Пелагию возьми с собой, — велел архиерей. — Она наблюдательна, остра умом и очень может тебе пригодиться.

— Но там наверняка уже полиция и сам Лагранж, — развел руками Матвей Бенционович. — Как я объясню столь странную спутницу?

— Скажешь, после проповеди владыка приедет сей дом опоганенный от скверны святить, а прежде того инокиню присылает подготовить всё, чтоб прилично было и взору преосвященного владыки не оскорбительно. А что до Лагранжа, то, как я понимаю, он, шельма, теперь у

тебя по струнке ходит. — И, блеснув глазом на Пелагию, прибавил: — Скажи ему: черница тихая, смиренная, умом убогая, следствию не помешает.

* * *

Пока ехали в коляске по Дворянской, оба молчали, потому что Пелагия такого многоумного и высокоученого спутника несколько робела, а Матвей Бенционович не имел привычки к общению с духовными особами (Митрофаний не в счет, тут дело особое) и уж совсем не знал, как вести беседу с монахиней.

Наконец, придумав удачную тему, он открыл рот и сказал:

— Матушка... — Но сбился, потому что ему пришло в голову, что женщине совсем нестарого возраста, хоть бы даже и монахине, вряд ли будет приятно такое обращение от лысоватого и уже немножко обрюзгшего господина сильно за тридцать.

И вечно у него выходили трудности в общении с Пелагией, хоть разговаривать им доселе выдавалось не так уж часто. Инокиня, с точки зрения Матвея Бенционовича, обладала крайне неудобным свойством выглядеть то зрелой и умудренной женщиной, то сущей девочкой, как, например, сейчас.

— То есть сестра, — поправился он, — вы ведь сестра (это уж вышло совсем глупо) Полины Андреевны Лисицкой?

Черница как-то неопределенно кивнула, и Бердичевский испугался, не нарушил ли он какого-нибудь неведомого ему этикета, согласно которому с монахинями нельзя беседовать об их оставшихся в миру родственниках.

— Я только так спросил... Уж очень умная и приятная особа, и на вас немножко похожа. — Он деликатно посмотрел на спутницу, покачивавшуюся рядом на каждом сиденье коляски, и добавил: — Совсем чуть-чуть.

Неизвестно, куда вывернул бы этот не вполне уклончивый разговор, если бы экипаж не въехал на Храмовую площадь, главный плац нашего города, где находятся и кафедральный собор, и губернаторский дом, и главные присутствия, и консистория, и гостиница «Великокняжеская», где лет сто тому и в самом деле останавливался великий князь Константин Павлович, совершавший ознакомительную поездку по восточным губерниям империи.

Там-то, у чугунной ограды сей лучшей заволжской *hôtellerie* толпился народ, что-то там шумели, толкались и виднелись даже полицейские фуражки. Происходило некое явное безобразие, причем в непосредственной близости от обиталищ духовной и светской власти, чего Матвей Бенционович как лицо облеченное оставить без внимания не мог. По правде говоря, он вообще испытывал слабость к положениям, в которых мог проявить себя с начальственной стороны.

— Посидите-ка, сестрица, — сказал он важно Пелагии, кучеру велел остановиться и пошел разбираться.

Солидного чиновника беспрепятственно пропустили в самый центр скопища, и оказалось, что все глазают на восточного человека, бубенцовского абрека.

Черкес был мертвецки пьян и исполнял сам с собой какой-то безумный танец, время от времени гортанно вскрикивая, а больше, впрочем, беззвучно. Топтался на месте, мелко переступая большими ступнями в потрепанных чувяках, по временам преловко вскакивал на цыпочки и описывал над бритой своей головой сияющие круги чудовищной величины кинжалом. Сразу было видно, что он этак выплясывает очень давно и предаваться сему занятию намерен еще долго.

— Эт-то еще что? — нахмурясь, спросил Бердичевский околоточного.

— Так что сами видите, ваше высокоблагородие. Скоро час как куражится без малейшего передыху. А перед тем в трактире «Зеркальном» зеркала бил и половых ногами топтал, ранее побывал в кабаке «Самсон», где тоже дебоширил, но и туда прибыл уже сильно пьяный.

— Почему не пресекли?

— Пробовали, ваше высокоблагородие. Но он городовому Карасюку вон всю харю расквасил, а меня чуть тесаком своим не зарубил.

— Пристрелить его надо, — зло сказал полицейский, закрывавший лицо окровавленным платком, — надо думать, тот самый Карасюк. — Ничего боле не остается, пока он не порешил кого-нибудь.

— Я те пристрелю! — цыкнул на него околоточный. — Это же самого Владимира Львовича Бубенцова человек.

— А вы-то куда смотрите? — обернулся Бердичевский к Тихону Иеремеевичу Спасенному, жавшемуся здесь же, в первых рядах толпы. — Уведите отсюда вашего дикаря.

— Уж я за ним с ночи хожу-с, — жалобно произнес Спасенный. — Не пей, говорю, не пей. Да он разве послушает. Нельзя ему вина, совсем нельзя. Нерусский человек, что с него возьмешь. Или вовсе в рот не берет, или выдует полведра и после звереет. Подпоил его какой-то лихой человек. Теперь пока не рухнет, плясать будет.

Матвей Бенционович, чувствуя, что на него обращены взгляды всей толпы, произнес с непререкаемой авторитетностью:

— Не положено. Это вам не что-нибудь, а Храмовая площадь. Скоро владыка приедет проповедь говорить. Убрать немедленно!

Из толпы крикнули (вот они, плоды достоинства-то):

— Умный какой. Поди-ка сам убери, если такой смелый!

И понял тут Матвей Бенционович, что угодил в ловушку, собственноручно им же и изготовленную. Дернуло же его останавливать коляску! А отступить было некуда.

И от околоточного с побитым городовым тоже сикурсу ждать не приходилось.

Поиграв желваками для большей храбрости, Бердичевский сделал шаг, другой и приблизился к страшному танцору. Тот вдруг взял и запел какую-то дикую, но по своему мелодичную песню, и быстро-быстро замахал клинком.

— Немедленно прекратить! — что было сил гаркнул Матвей Бенционович.

Черкес только повел в его сторону багровым от хмеля глазом.

— Я тебе говорю!

Бердичевский шагнул вперед еще, потом еще.

— Ишь, бедовый, — сказали сзади в толпе.

Непонятно про кого — про Черкеса или про товарища прокурора, но Матвей Бенционович принял на свой счет и несколько воодушевился. Он протянул руку, чтобы схватить горца за рукав, и вдруг — вишшить! — у самых пальцев Бердичевского сверкнула стальная дуга, а с сюртучного обшлага отлетели две чисто срезанные гербовые пуговицы.

Матвей Бенционович с невольным криком отскочил в сторону и, разъярившись от такой потери лица, крикнул околоточному:

— Живо за Бубенцовым! Если не усмирит своего абрека, приказываю стрелять ему в ноги!

— Владимир Львович спят еще и будить не велели, — объяснил Спасенный.

— Вот, жду десять минут по часам. — Бердичевский сердито помахал серебряной луковицей. — И велю палить!

Тихон Иеремеевич засеменял по направлению к флигелю, а на площади установилось заинтересованное молчание.

Черкес, как заведенный, всё продолжал свой ни на что не похожий танец. Бердичевский стоял с часами в

руках, чувствуя себя преглупо. Карасюк с видимым удовольствием всовывал в револьвер патроны.

Когда до истечения срока ультиматума оставалась минута, околоточный нервно сказал:

— Ваше высокоблагородие, засвидетельствуйте, что я никакого касательства...

— Идет! Идет! — зашумели в толпе.

Из ворот гостиницы неспешно вышел Владимир Львович — в шелковом халате и турецкой шапке с кисточкой. Перед ним расступились. Он остановился, упер руки в бока и некоторое время просто смотрел на своего ополоумевшего янычара. Потом зевнул и тихонько двинулся прямо на него. Кто-то из баб ахнул. Черкес вроде бы не смотрел на своего господина, но в то же время, продолжая пританцовывать, понемногу пятился к стене гостиницы. Бубенцов двигался всё так же лениво, не произнося ни единого слова, до тех пор, пока Черкес не уперся в самую стену и замер на месте. Взгляд у него был совершенно остановившийся, будто мертвый.

— Наплясался, дурак? — сказал Владимир Львович в наступившей тишине. — Идем, проспись.

После этих слов инспектор повернулся и не оборачиваясь пошел назад к флигелю. Мурад послушно шагал за ним, сбоку мелко переступал Спасенный.

Все молча провозжали живописную троицу взглядом.

Какой-то дьячок, перекрестившись, басом сказал:

— Даде им власть над дусех нечистых.

Перекрестилась и Пелагия, которая, как нам уже известно, никогда не сотворяла крестного знамения всуе.

* * *

У входа в квартиру, которую до недавнего времени занимал бедный Аркадий Сергеевич, тоже стояло плотное кольцо любопытствующих, и у крыльца грозно пучил глаза полицейский урядник. Перед тем как войти, Пелагия перекрестилась еще раз, и опять не без причины.

Гостиная выглядела почти так же, как накануне, только опустели столы, на которых во время суаре стояли вино и закуски. Тем ужаснее смотрелась картина, открывшаяся взору монахини в салоне. Все фотографии были не только содраны со стен, но и изорваны в мельчайшие клочки, усыпавшие весь пол. Кто-то, находившийся в иступлении, потратил немало времени, чтобы обратить выставку Поджио в совершеннейший прах.

Навстречу товарищу прокурора сбежал по лесенке из бельэтажа деловитый полицмейстер Лагранж, при виде Бердичевского просиявший заискивающей улыбкой.

— Матвей Бенционович, вы? Решили сами? Что ж, правильно.

Он с поклоном пожал руку Бердичевскому, с недоумением воззрелся на Пелагию, однако объяснением Матвея Бенционовича остался полностью удовлетворен и в дальнейшем не обращал на монашку ни малейшего внимания. Видно было, что Феликс Станиславович находится в самом великолепном расположении духа.

— Тут что рассматривать, — небрежно махнул он рукой на разгром в салоне, — вы наверх пожалуйста. Вот где картинка.

Наверху было всего две комнаты — спальня и еще одна, где, как уже говорилось, Аркадий Сергеевич расположил фотографическую лабораторию. В нее сначала и заглянули, поскольку она располагалась ближе.

— Вот-с, — горделиво показал Лагранж. — Расколочено вчистую.

И в самом деле, лаборатория выглядела еще ужаснее самой выставки. Посреди комнаты лежал не то разбитый со всего маху, не то растоптанный ногами аппарат «Кодак», а вокруг посверкивающими льдинками валялись осколки фотографических пластин.

— Ни одной целой не осталось, все вдребезги, — всё так же бодро, словно хвастаясь способностями неведомого преступника, объяснил полицмейстер.

— Следы? — поинтересовался Бердичевский, поглядев на двух полицейских чиновников, ползавших по полу с лупами в руках.

— Какие уж тут следы, — ответил один, постарше, подняв мятое, испитое лицо. — Сами видите, будто стадо слонов пробежало. Ерундой занимаемся, осколки складываем. Тут вот внизу каждой пластинки бумажка с названием. «Белая беседка», «Закат над Рекой», «Русалочка». Подбираем уголок к уголку, как в детской игрушке «Собери картинку». Вдруг сыщется что полезное. Конечно, навряд ли.

— Ну-ну. — Бердичевский вполголоса спросил Лагранжа: — А где... покойник?

— Идемте, — засмеялся Феликс Станиславович. — Ночью спать не будете. Одно слово — натюрморт.

Матвей Бенционович, вытерев лоб платком, последовал за синемундирным вергилием по коридору. Пелагия тихонько шла сзади.

Поджио лежал на кровати, торжественно глядя в потолок, будто задумался о чем-то очень значительном — уж во всяком случае, не о какой-то жалкой треноге, которая пригвоздила его к кровати, да так и осталась торчать, зажатая сводом грудной клетки.

— Разумеется, наповал, — показал пальцем в белой перчатке полицеймейстер. — Удар, изволите ли видеть, нанесен строго вертикально. Стало быть, убитый лежал, встать не пытался. Очевидно, спал. Открыл глаза, и в тот же миг — царствие небесное. А крушить и ломать убийца уже потом принялся.

Матвей Бенционович заставлял себя смотреть на три сдвинутые ножки, глубоко утопленные в теле мертвеца. Ножки были деревянные, но в нижней части обитые медью и, должно быть, с острыми концами.

— Сильный удар, — сказал он, изображая невозмутимость, и попробовал обхватить пальцами верх треноги.

Не вышло — пальцы не сошлись. — Женщина так не смогла бы. Тяжеловато, да и не ухватить как следует.

— Я тоже так думаю, — согласился Лагранж. — Так что это не Телианова. Дело-то, в сущности, немногим сложнее пареной репы. Я только следователя ждал, а мои уж и полный осмотр произвели. Не уютно ли протокольчик подписать?

Бердичевский поморщился от столь явного нарушения процедуры — протокол осмотра без прокурорского представителя составлять не полагалось, и оттого стал читать бумагу с нарочитой медлительностью. Но всё было составлено идеально — Лагранж полицейскую работу знал, следовало это признать.

— Какие у вас соображения? — спросил Матвей Бенционович.

— Пойдемте, что ли, вниз, в салон, пока этого вынесут, — предложил Феликс Станиславович.

Так и сделали.

Встали в углу пустого салона, полицмейстер закурил трубку, Матвей Бенционович достал тетрадочку. Здесь же пристроилась и сестра Пелагия: ползала по полу, вроде как убирала мусор, а на самом деле собирала обрывки картин, складывала один к одному. Собеседники внимания на нее не обращали.

— Слушаю, — приготовился записывать Бердичевский.

— Круг фигурантов по делу узок. Тех, кто мог иметь хоть какие-то мотивы для убийства, и того меньше. Надо установить, кто из сих последних не имеет алиби, да и дело с концом.

Лагранж был сейчас чудо как хорош: глаза горели огнем, усы победительно подрагивали, рука энергично рубила воздух, специальные термины перекатывались во рту, словно леденцы. Думается, что за последние недели Феликс Станиславович переменял мнение о скучности и неперспективности Заволжья. Чего стоило одно зытяцкое

дело! Но там основные фанфары и литавры явно предназначались Бубенцову. Зато здесь, при расследовании этого аппетитнейшего убийства, никто не мог перебежать полицмейстеру дорогу. Опять же появилась прекрасная возможность продемонстрировать хитроумному и опасному господину Бердичевскому свою незаменимость, в настоящий момент находившуюся под большим сомнением в связи с оплошностью Феликса Станиславовича по части взятки.

— Рассудите сами, Матвей Бенционович. — Лагранж снял перышко с рукава товарища прокурора. — Связь ночного убийства с вечерним скандалом очевидна. Так?

— Допустим.

— На суаре у Олимпиады Савельевны, не считая дам, присутствовали десять человек. Ну, господина синодального инспектора и предводителя дворянства мы пропустим, потому что высокого полета птицы, опять же и мотивы не просматриваются. Далее со стороны усопшего были приглашены: управляющий Ширяев, князь Телианов, купец первой гильдии Сытников и помещик Краснов. Со стороны хозяйки — директор гимназии Сонин, присяжный поверенный Клейст и архитектор Брандт. Еще Владимир Львович привел с собой своего секретаря Спасенного.

— Допустим, — повторил Бердичевский, быстро строча карандашиком. — И подозреваете вы, конечно, в первую голову Ширяева, а во вторую Телианова?

— Не так быстро, — упоенно улыбнулся Феликс Станиславович. — На первом круге приближения я не склонен сужать количество подозреваемых. Взять хотя бы дам. Княжна Телманова — главная мишень вчерашнего скандала. Если и не убивала сама, то могла быть вдохновительницей или соучастницей, о чем я еще скажу. Теперь госпожа Лисицына.

Пелагия замерла, не до конца сложив карточку с обнаженной на песке.

— Очень необычная особа. Непонятно, что она, собственно, столько времени делает в Заволжске. Я выяснял — вроде бы приехала проведать свою сестру-монахиню. Так что ж тогда по балам и салонам шпацировать? Всюду-то она бывает, все ее знают. Бойка, кокетлива, кружит мужчинам головы. По всем приметам — авантюристка.

Бердичевский смущенно покосился на Пелагию, но та, похоже, уже не слушала — сосредоточенно возилась со своими обрывками.

— Нынче с утра послал телеграфный запрос в департамент — не проходила ли Полина Андреевна Лисицына по какому-нибудь делу? И что вы думаете? Проходила, причем трижды! Третьего года в Перми, по делу об убийстве схимника Пафнутия. В прошлый год в Казани, по делу о похищении чудотворной иконы, и еще в Самаре, по делу о крушении парохода «Святогор». Все три раза выступала на процессах свидетельницей. Каково?

Бердичевский вновь поглядел на монахиню, уже не со смущением, а вопросительно.

— Да, любопытно, — признал он. — Но мы уже выяснили, что женщина такого убийства совершить не могла.

— И все же Лисицына чертовски подозрительна. Ну да Бог с ней, разберемся. А теперь перейдем к подозреваемым первой степени, то есть к тем, кто давно знаком с Поджио и имел или мог иметь основания его ненавидеть. — Лагранж поднял указательный палец. — Первый, конечно, Ширяев. Влюблен в Телианову до безумия, пытался убить Поджио прямо там, на вернисаже, безо всяких ухищрений — еле оттащили. Второй — брат, Петр Телианов. — Полицмейстер поднял и средний палец. — Тут вероятно еще и ущемленное самолюбие. Телианов позднее всех понял, что его сестре нанесено оскорбление, и тем самым выставил себя то ли дураком, то ли

трусом. Неуравновешенный молодой человек, дурных склонностей. Состоит под гласным надзором, а я эту нигилистическую публику почитаю способной на любую мерзость. Если уж на государственные устои замахнулся, то что для такого жизнь одного человека? А тут в некотором роде даже извинительно — вступился за честь сестры. Но и это еще не все. — К двум пальцам присоединился третий, безымянный — правда, полусогнутый. — Сытников. Скрытный господин, но тоже со страстями. По имеющимся у меня сведениям, весьма равнодушен к чарам Телиановой. Вот вам и мотив — ревность к более удачливому сопернику. Донат Абрамович сам разбойничать в ночи не пойдет, сочтет ниже своего достоинства, а вот кого-то из своих молодцев подослать, пожалуй, мог бы. У него все работники сплошь из староверов. Бородатые, угрюмые, на власть волками смотрят. — Феликсу Станиславовичу идея про убийц-староверов, кажется, пришлась по вкусу. — А что, и очень запросто. Надо будет Владимиру Львовичу доложить...

— А кстати уж про Владимира Львовича, — с невинным видом заметил Бердичевский. — Там ведь тоже не всё ясно. Поговаривают, что Телианова бросила Поджио не просто так, а ради Бубенцова.

— Ерунда, — махнул рукой с растопыренными пальцами полицмейстер. — Бабы сплетни. То есть Телианова по Владимиру Львовичу, может, и сохнет. Ничего удивительного — мужчина он особенный. Но сам Владимир Львович к ней совершенно равнодушен. Да даже если меж ними и было что прежде. В чем мотив-то? Ревновать любовницу, которой нисколько не дорожишь и от которой не знаешь как отвязаться? Пойти из-за этого на убийство? Так, Матвей Бенционович, не бывает-с.

Приходилось признать, что Лагранж прав.

— Что же мы будем делать? — спросил Бердичевский.

— Полагаю, для начала недурно бы хорошенько допросить всех троих...

Полицмейстер не договорил — заметил, что сбоку чуть в сторонке стоит монахиня. Ключки фотографий, аккуратно собранных в квадраты, лежали на полу вдоль стен.

— Что вы здесь все шныряете? — раздраженно воскликнул Феликс Станиславович. — Убрали и идите себе. А еще лучше выметите отсюда весь этот сор.

Пелагия молча поклонилась и поднялась в бельэтаж.

Полицейские чиновники, проводившие осмотр, сидели в лаборатории и курили папиросы.

— Что, сестричка-невеличка? — весело спросил давешний, с помятым лицом. — Или обронили что?

Монахиня увидела, что стеклянных осколков на полу уже нет — собраны и разложены, совсем как фотографии в салоне. Проследив за направлением ее взгляда, весельчак заметил:

— Там такие есть, что вам смотреть никак не рекомендуется. Веселый был господин, этот самый Поджио. Жалко, теперь уж не восстановишь.

Пелагия спросила:

— Скажите, сударь, а есть ли здесь пластина с наклейкой «Дождливое утро»?

Сыщик улыбаться перестал, удивленно поднял брови.

— Странно, сестрица, что вы спросили. Тут в перечне «Дождливое утро» есть, а пластины мы не нашли. Ни кусочка. Видно, он ею недоволен остался и решил выбросить. А что вы про это знаете?

Пелагия молчала, сдвинув рыжие брови. Думала.

— Так что с этим самым «Дождливом утром»? — не отставал мятый.

— Не мешайте, сын мой, я молюсь, — рассеянно ответила ему инокиня, повернулась и пошла вниз.

Дело в том, что в салоне не хватало фотографии именно с этим названием. Все собранные из обрывков карти-

ны совпадали с оставшимися на стенах подписями — даже те три, с обнаженной незнакомкой, из-за которых произошел скандал. Но от снимка со скромным названием «Дождливое утро» не обнаружилось ни единого, даже самого маленького фрагмента.

— ...И все-таки Бубенцова тоже следует допросить! — услышала она, входя в салон.

Матвей Бенционович и Феликс Станиславович, похоже, никак не могли договориться о круге подозреваемых.

— Оскорбить такого человека сомнением! Одумайтесь, господин Бердичевский! Конечно, я всецело в вашей власти, но... Ну что тебе еще?! — рявкнул полицмейстер на Пелагию.

— Собрать бы здесь всех, кто вчера был, да помолиться вместе за упокой души новопреставленного раба Божия, — сказала она, кротко глядя на него лучистыми карими глазами. — Глядишь, изверг бы и покался.

— Марш отсюда! — гаркнул Лагранж. — Зачем вы только ее сюда привезли!

Матвей Бенционович незаметно кивнул Пелагии и взял полицмейстера за локоть.

— А ведь вот что надобно сделать. Молиться, конечно, пустое, но вот очную ставочку, этакий следственный опыт бы произвести очень даже недурно. Соберем всех вчерашних, якобы чтобы восстановить, кто где в какой момент находился да что говорил...

— Превосходно! — подхватил Феликс Станиславович. — У вас истинный криминалистический талант! Непременно вызовем и Телианову. От одного ее вида все эти петухи снова в раж войдут, и убийца непременно себя выдаст. Ведь преступление совершено явно не по холодной крови, а со страсти. Где уж страстному человеку будет сдержаться. Нынче вечером и соберем. А я времени терять не стану — проверю каждого из главных фигурантов на предмет алиби.

— И Бубенцова обеспечьте, это уж обязательно.

— Губите вы меня, Матвей Бенционович, режете без ножа преданного вам человека, — горько пожаловался Лагранж. — А ну как Владимир Львович на меня осерчает?

— Вы смотрите, чтобы я на вас не осерчал, — тихо ответил на это Бердичевский.

* * *

Всё было устроено в точности, как во время злосчастного суаре, даже с закусками и вином (хоть, конечно, и не шампанским, потому что это уже было бы перебором). Счастливая мысль превратить унижительную полицейскую процедуру в вечер памяти Аркадия Сергеевича пришла хозяйке, Олимпиаде Савельевне, которая нынче чувствовала себя еще большей именинницей, чем накануне. То есть утром, узнав о трагедии, она, разумеется, поначалу испугалась и даже по-женски пожалела бедного Поджио, так что и поплакала, но несколько позднее, когда стало ясно, что скандальная слава суаре превзошла самые смелые ее чаяния и главные события, возможно, еще впереди, почтмейстерша совершенно избавилась от уныния и всю вторую половину дня была занята срочным обновлением черного муарового платья, занафталинившегося в шкафу со времен последних похорон.

Состав участников этого нового суаре, на сей раз не званого, а вызванного, тоже был почти тот же. По понятной причине отсутствовал Аркадий Сергеевич, неотмщенный дух которого представляли товарищ прокурора и полицмейстер. И еще, в отличие от вчерашнего, с самого начала присутствовала Наина Георгиевна, оповещенная о следственном эксперименте официальной повесткой и прибывшая точно в назначенное время, в девять часов, хотя Феликс Станиславович предполагал, что ее придется доставлять под конвоем.

Виновица несчастья (а именно за такую ее считали большинство присутствующих), приехав, сразу затмила и

отодвинула на дальний план хозяйку. Наина Георгиевна сегодня была еще прекрасней, чем всегда. Ей необычайно шло лиловое траурное платье, длинные черные перчатки подчеркивали стройность рук, а бархатные глаза лучились каким-то особенным, загадочным светом. Держалась она без малейшего смущения, а напротив, истинной царицей, ради которой и создана вся эта тризна.

Главный подозреваемый был тих, молчалив и на себя вчерашнего совсем не похож. Полина Андреевна с удивлением отметила, что лицо его нынче, в отличие от вчерашнего дня, имеет выражение умиротворенности и даже довольства.

Зато Петр Георгиевич был весь ошетинен как еж, без конца говорил дерзости представителям власти, громко возмущался позорностью затеянного спектакля, а от сестры демонстративно отворачивался, показывая, что не желает иметь с ней никакого дела.

Из прочих участников обращал на себя внимание Краснов, без конца всхлипывавший и сморкавшийся в креогромный платок. В начале вечера он высказал желание прочесть оду, посвященную памяти покойника, и успел прочесть две первые строфы, прежде чем Бердичевский прервал декламацию за неуместностью. Строфы были такие:

Он пал во цвете лет и славы,
Кудесник линзы и луча.
Блеснул судьбины меч кровавый,
Покорный воле палача,

И пламень боговдохновенный
Не светит боле никому.
И погрузился мир смятенный
В непроницаемую тьму.

Владимир Львович снова приехал позже всех и снова обошелся без извинений — какой там, это Лагранж рас-

сыпался перед ним в многословных оправданиях, прося прощения за то, что отрывает занятого человека от государственных дел.

— Что ж, вы исполняете свой долг, — скучливо бросил Бубенцов, беря у секретаря папку с бумагами и пристраиваясь в кресле. — Надеюсь только, что это продлится недолго.

— «Вчерашний бо день беседовах с вами и внезапно найде на мя страшный час смертный. Все бо исчезаем, все умрем, царие же и князи, богатии и убозии, и все естество человеческое», — с чувством произнес Тихон Иеремеевич, и после сих скорбных слов начался собственно эксперимент.

Феликс Станиславович сразу взял быка за рога.

— Дамы и господа, прошу в салон, — сказал он и толкнул створки двери, что вела в соседнее помещение.

Совсем как давеча, гости покинули гостиную и переместились в выставочный зал. Правда, сегодня картин там не было, остались лишь сиротливые бумажные полоски с названиями безвозвратно погибших произведений.

Полицмейстер остановился возле надписи «У лукоморья».

— Надеюсь, все помнят три фотографии с изображением некоей обнаженной особы, висевшие вот здесь, здесь и здесь, — начал он и трижды ткнул пальцем на пустые обои.

Ответом ему было молчание.

— Я знаю, что лицо натурщицы ни на одном из фотографических снимков не было видно полностью, однако желал бы, чтобы вы общими усилиями попытались восстановить какие-то черты. Следствию крайне важно выяснить личность этой женщины. А может быть, кто-нибудь из присутствующих знает ее?

Полицмейстер в упор посмотрел на княжну Телианову, но та не заметила его испытующего взгляда, потому что смотрела вовсе не на говорившего, а на Бубенцова.

Тот же стоял в стороне от всех и сосредоточенно изучал какую-то бумагу.

— Хорошо-с, — зловеще протянул Лагранж. — Тогда пойдем путем медленным и неделикатным. Будем восстанавливать облик натурщицы по частям, причем тем, которые обычно скрыты под одеждой, ибо про лицо мы вряд ли узнаем многое. Все же начнем с головы. Какого цвета волосы были у той особы?

— Светлые, с золотистым отливом, — сказала предводительша. — Весьма густые и немного вьющиеся.

— Отлично, — кивнул полицмейстер. — Благодарю вас, Евгения Анатольевна. Примерно такие? — Он указал на завитки, что свисали из-под шляпки Наины Георгиевны.

— Очень возможно, — пролепетала графиня, покраснев.

— Шея? Что вы скажете про шею? — спросил Феликс Станиславович, вздохнув с видом человека, терпение которого на исходе. — Затем мы подробнейшим образом обсудим плечи, спину, бюст, живот, ноги. И прочие части фигуры, включая бедра с ягодицами, без этого никак не обойтись.

Голос Лагранжа стал угрожающим, а неловкое слово «ягодицы» он произнес нараспев, с особенным нажимом.

— Быть может, все-таки обойдемся без этого? — уже напрямую обратился он к Наине Георгиевне.

Та спокойно улыбалась, явно наслаждаясь и обращенными на нее взглядами, и всеобщим смущением. Она не проявляла и малейших признаков стыдливости, которая вчера здесь же чуть не довела ее до слез.

— Ну, предположим, установите вы про грудь и ягодицы, — пожалала она плечами. — А дальше что? Станете всех жительниц губернии догола раздевать и опознание устраивать?

— Зачем же всех? — процедил Феликс Станиславович. — Только тех, кто у нас на подозрении. И опознание не понадобится, к чему нам этакий скандал? Достаточно будет сверить

некоторые особые приметы. Я ведь сейчас опрос этот для формальности и последующего протоколирования произвожу, а на самом деле уже побеседовал с некоторыми из присутствующих, и мне, в частности, известно, что на правой ягодице у интересующей нас особы две заметные родинки, что пониже грудей — светлое пигментационное пятно размером с полтинник. Вы не представляете, княжна, до чего внимателен мужской глаз к подобным деталечкам.

Здесь проняло и несгибаемую Наину Георгиевну — она вспыхнула и не нашлась что сказать.

На помощь ей пришла Лисицына.

— Ах, господа, да что мы всё про одни и те же фотографии! — зашебетала она, пытаясь увести разговор от неприличной темы. — Здесь ведь было столько чудесных пейзажей! Вон там, например, висела совершенно изумительная работа, я до сих пор под впечатлением. Не помните? Она называлась «Дождливое утро». Какая экспрессия, какая игра света и тени!

Матвей Бенционович взглянул на не к месту встрявшую даму с явным неудовольствием, а Лагранж, тот и вовсе грозно сдвинул брови, намереваясь призвать щебетунью к порядку, но зато Наина Георгиевна перемене предмета явно обрадовалась.

— Да уж, вот о чем следовало бы поговорить, так о той любопытной картинке! — воскликнула она, рассмеявшись — притом зло и будто бы на что-то намекая. — Я тоже вчера обратила на нее особенное внимание, хоть и не из-за экспрессии. Там, сударыня, самое примечательное было отнюдь не в игре света и тени, а в некой интереснейшей подробности...

— Прекратить! — взревел Феликс Станиславович, наливаясь краской. — Вам не удастся сбить меня с линии! Всё это влияние ничего не даст, только попусту тратим время.

— Истинно так, — изрек Спасенный. — Сказано: «Блаженни иже затыкают ушеса своя, еже не послушати не-

можно». И еще сказано: «Посреди неразумных блюди время».

— Да, Лагранж, вы и в самом деле попусту тратите время, — сказал вдруг Бубенцов, отрываясь от бумаг. — Ей-богу, у меня дел невпроворот, а тут вы с этой мелодрамой. Вы же мне давеча докладывали, что у вас есть твердая улика. Выкладывайте ее, и дело с концом.

При этих словах Матвей Бенционович, которому ничего не было известно ни о «твердой улике», ни о самом факте какого-то доклада полицмейстера Владимиру Львовичу, сердито воззрился на Лагранжа. Тот же, стусевавшись и не зная, перед кем оправдываться в первую очередь, обратился сразу к обоим начальникам:

— Владимир Бенционович, я ведь хотел со всей наглядностью прорисовать, всю логику преступления выстроить. И еще из милосердия. Хотел дать преступнику шанс покаяться. Я думал, сейчас установим, что на фотографиях была княжна Телианова, Ширяев вспылит, начнет за нее заступаться и признается...

Все ахнули и шарахнулись от Степана Трофимовича в стороны. Он же стоял как оцепеневший и только быстро поводил головой то вправо, то влево.

— Признается? — насел на полицмейстера Бердичевский. — Так у вас улика против Ширяева?

— Матвей Бенционович, не успел доложить, то есть не то чтобы не успел, — залепетал Лагранж. — Хотел эффектно, виноват.

— Да что такое? Говорите дело! — прикрикнул на него товарищ прокурора.

Феликс Станиславович вытер вспотевший лоб.

— Что говорить, дело ясное. Ширяев влюблен в Телианову, мечтал на ней жениться. А тут появился столичный разбиватель сердец Поджио. Увлеч, вскружил голову, совратил. Совершенно ясно, что для тех ню позировала ему именно она. Ширяев и раньше знал или, во всяком

случае, подозревал об отношениях Поджио и Телиановой, но одно дело представлять себе умозрительно, а тут наглядное доказательство, и еще такого скандального свойства. О мотивах, по которым Поджио решился на эту неприличную выходку, я судить не берусь, потому что непосредственного касательства к расследуемому преступлению они не имеют. Вчера на глазах у всех Ширяев накинулся на обидчика с кулаками и, верно, убил бы его прямо на месте, если бы не оттащили. Так он дождался ночи, проник в квартиру и довел дело до конца. А после, еще не насыщенный мстью, сокрушил все плоды творчества своего лютого врага и самый аппарат, при посредстве которого Поджио нанес ему, Ширяеву, столь тяжкое оскорбление.

— Однако про всё это нами было говорено и ранее, — с неудовольствием заметил Бердичевский. — Версия правдоподобная, но вся построенная на одних предположениях. Где же «твердая улика»?

— Матвей Бенционович, я же обещал вам, что проверю всех основных фигурантов на предмет алиби. Именно этим мои агенты сегодня и занимались. Петр Георгиевич вчера напился пьян, кричал и плакал до глубокой ночи, а после слуги его отваром выпаивали. Это алиби. Господин Сытников прямо отсюда отправился на Варшавскую, в заведение мадам Грубер, и пробыл до самого утра в компании некой Земфиры, по паспорту же Матрены Сичкиной. Это тоже алиби.

— Ай да двоеперстec, — сказал Владимир Львович, присвистнув. — Готов держать пари, что Земфира Сичкина внешностью хотя бы отчасти напоминает Нанну Георгиевну, на которую его степенство давно облизывается.

Донат Абрамович, оторопевший от такого поворота, смолчал, но бросил на Бубенцова такой взгляд, что стало

ясно — проницательный психолог в своем предположении не ошибся.

— Ну а что до господина Ширяева, — подвел-таки к эффекту полицмейстер, — то у него никакого алиби нет. Более того, достоверно установлено, что в Дроздовку он ночевать не вернулся, ни в одной из городских гостиниц не останавливался и ни у кого из здешних знакомых также не появлялся. Позвольте же спросить вас, — сурово обратился он к Степану Трофимовичу, — где и как провели вы минувшую ночь?

Ширяев, опустив голову, молчал. Грудь его тяжело вздымалась.

— Вот вам и твердая улика, равнозначная признанию.

Лагранж картинным жестом указал Бердичевскому и Бубенцову на изобличенного преступника. Затем трижды громко хлопнул в ладоши.

Вошли двое полицейских, очевидно, обо всем заранее извещенные, потому что сразу же подошли к Ширяеву и взяли его под руки. Он вздрогнул всем телом, но и тут ничего не сказал.

— Доставить в управление, — приказал Феликс Станиславович. — Поместить в дворянскую. Скоро приедем с господином Бердичевским и будем допрашивать.

Степана Трофимовича повели к выходу. Он всё обращивался, чтобы посмотреть на княжну, она же глядела на него со странной улыбкой, непривычно мягкой и чуть ли не ласковой. Меж ними не было произнесено ни слова.

Когда арестованного вывели, Спасенный перекрестился и изрек:

— «На много время не попускати злочествующим, но паки впадать им в мучения».

— Как видите, — скромно сказал Лагранж, обращаясь главным образом к Бубенцову и Бердичевскому, — расследование и в самом деле много времени не заняло. Дамы

и господу, благодарю всех за помощь следствию и прошу извинить, если доставил вам несколько неприятных моментов.

Эти сдержанные и благородные слова были произнесены с подобающей случаю величавостью, и когда заговорила Наина Георгиевна, поначалу все решили, что она имеет в виду именно Феликса Станиславовича:

— Вот что значит благородный человек, не чета прочим, — задумчиво, словно бы сама себе проговорила барышня и вдруг повысила голос: — Увы, господу блюстители закона. Придется вам Степана Трофимовича отпустить. Я нарочно захотела его испытать — скажет или нет. Подумайте только, не сказал! И уверена, что на торгу пойдет, а не выдаст... Не совершал Степан Трофимович никакого убийства, потому что всю минувшую ночь пробыл у меня. Если вам мало моих слов — допросите горничную. После того как он вчера кинулся за мою честь заступаться, дрогнуло во мне что-то... Ну да про это вам ни к чему. Что глазами захлопали?

Она неприятнейшим образом засмеялась и странно глянула на Владимира Львовича — одновременно с вызовом и мольбой. Тот молча улыбался, точно ожидая, не будет ли еще каких-нибудь признаний. Когда же стало ясно, что всё сказано, следственный опыт решительно провалился, а Лагранж пребывает в полной растерянности и даже как бы потерял дар речи, Бубенцов насмешливо осведомился у представителей власти:

— Ну что, концерт окончен? Можно уходить? Срачица, принеси-ка плащ.

Секретарь безропотно выскользнул из салона и через полминуты вернулся, уже в картузе, а своему повелителю доставил легкий бархатный плащ с пелериной и фуражку.

— Честь имею, — сардонически поклонился Бубенцов и направился к выходу.

Со спины в своем щегольском наряде он был точь-в-точь франтик-гвардонец, каковым, собственно говоря, до недавнего времени и являлся.

— Тот самый плащ, — громко, нараспев сказала Наина Георгиевна. — Та самая фуражка. Как она блестела в лунном свете...

Непонятно было — то ли барышня представляет безутешную Офелию, то ли действительно тронулась рассудком и бредит.

— Мы уедем из вашего гнилого болотца. Может быть, мы поженимся и у меня даже будут дети. Тогда мне все простится, — продолжала нести околесицу княжна. — Но сначала надо раздать долги, чтобы всё по справедливости. Не правда ли, Владимир Львович?

Владимир Львович, стоявший уже в самых дверях, оглянулся на нее с веселым недоумением.

Тогда Наина Георгиевна царственно прошествовала мимо него, слегка задев плечом, и скрылась в гостиной. Кажется, все-таки научилась покидать сцену не бегом, а шагом.

— Желе-езная барышня, — с явным восхищением протянул Донат Абрамович. — Не знаю, кому она собралась долги отдавать, но не хотел бы оказаться на их месте.

— М-да, — подытожил Бердичевский. — А Ширяева-то, Феликс Станиславович, придется выпустить.

Полицмейстер забормотал:

— Вовсе ничего еще не значит. Допросить-то уж непременно следует. И Ширяева, и Телианову, и горничную. Возможен преступный сговор. От такой истеричной и непристойной особы можно ожидать любых фордыбасов.

Но его уже никто не слушал. Участники опыта один за другим потянулись к выходу.

Полина Андреевна Лисицына вернулась на квартиру к своей полковнице в большой озабоченности. Почтенная Антонина Ивановна ложилась сразу после ужина и в этот поздний час уже видела безмятежные сны, поэтому никто не отвлекал гостью разговорами и расспросами.

Оказавшись у себя в комнате, рыжеволосая дама быстро разделась, но не приступила к предпостельному туалету, как следовало бы ожидать, а достала из саквояжа сверток с черным облачением и не более чем за минуту преобразилась в смиренную сестру Пелагию. Тихонько ступая, прошла коридором и через кухню выскользнула на улицу.

Безлунная, ветреная ночь охотно приняла черницу в свои такие же черные объятия, и монахиня едва различной тенью заскользила мимо спящих домов.

С точки зрения Пелагии, «следственный опыт» полицмейстера Лагранжа оказался очень даже полезен — до такой степени, что возникла срочная необходимость поговорить с Наинной Георгиевной с глазу на глаз прямо сейчас, не дожидаясь завтрашнего дня. Загадочная фотография под названием «Дождливое утро» совершенно не запечатлелась в памяти Полины Андреевны, а между тем чуть подсказывало ей, что именно там может таиться ключ ко всей этой нехорошей истории. Конечно, проще было бы отправиться к княжне прямо от почтмейстерши, в обличье госпожи Лисицыной, но приличные дамы в одиночку по ночному городу не разъезжают и уж тем более не ходят пешком — было бы слишком заметно, а на скромную монашку кто ж обратит внимание.

Идти было далеко, до самого берега Реки, где стоял старый дом, доставшийся Наине Георгиевне по наследству. Близилась полночь. В такое время в Заволжске не спят только влюбленные и постовые стражники

(последние, впрочем, тоже спят, хоть и в будке), поэтому по дороге инокине не встретилось ни единой живой души.

Странный вид имеет наш мирный город ненастной осенней ночью. Будто все население унесено куда-то в неведомые дали мановением некоей таинственной силы и остались только темные дома с черными окнами, догорающие фонари и бессмысленные колокольни с осиротевшими крестами. А если неспящему человеку по расстроенности нервов лезет в голову всякая жуть, очень легко вообразить, что ночью в Заволжске переменялась власть и до самого рассвета, пока не вернутся солнце и свет, всем здесь будут заправлять силы тьмы, от которых можно ожидать каких угодно пакостей и неправд.

В общем, скверно было в городе. Пусто, безжизненно, тревожно.

IX

НОЧЬ. РЕКА

Когда Пелагия свернула в Варравкин тупик, что выводил к дому Наины Георгиевны, небо бесшумно — и от этого было еще страшней — полыхнуло ослепительно яркой зарницей, после которой темнота показалась такой густой, что монахиня поневоле остановилась, перестав различать очертания домов. Только приобвыклась, сделала несколько шагов, и снова белая вспышка, и снова пришлось, зажмурившись, ждать, пока расширятся ошалевшие от этакого неистовства зрачки. Но теперь издалека донесся медленный рокочущий раскат.

Так дальше и пошло: десяток-другой шагов в крошечной тьме, потом мгновенная вакханалия сатанинского

сияния, и опять чернота, наполненная утробным порыванием надвигающейся на город бури.

Дом найти оказалось нетрудно. В него-то Варравкин тупик и упирался. Очередная зарница высветила маленький особняк с мертвым, заколоченным мезонином, деревянный забор и за ним листву деревьев, всю вывернутую белыми брюшками под порывистым ветром. Когда стих громовой раскат, стало слышно, как где-то за домом, за деревьями негодуяюще шумит растревоженная Река. Здесь берег вздымался особенно высоко, а пойма суживалась чуть не на триста саженей, так что и в самые безмятежные дни стесненный поток проносился мимо кручи бурливо и сердито, в непогоду же Река и вовсе ярилась так, будто гневалась на придавивший ее город и хотела обвалить его в свои пенные воды, подмыв постылый яр.

Сад, начинавшийся за домом, как-то сам собой переходил в березовую рощицу, где погожими вечерами любила гулять заволжская публика — уж больно хорош был вид, открывавшийся с обрыва на речной простор. Было ясно, что рощица эта обречена, что через год, два, много пять Река подточит ее, обрушит и унесет вниз по течению — до самого Каспия, а то и дальше. Выкинет волной измокший и просолонившийся березий ствол на далекий персидский берег, и соберутся смуглые люди, чтобы посмотреть на этакое диво. Одна из берез после весеннего паводка уже начала было заваливаться с кручи, да удержалась последней корневой зацепкой, повисла над стремниной, похожая на белый указующий перст. Мальчишки, кто поотчаянней, повадились на ней раскачиваться, и многие говорили, что надо дерево от греха спихнуть вниз, потому что добром не кончится, да всё руки не доходили.

Пелагия поежилась под ветром, постояла у калитки, глядя на темные окна дома. Получалось, что придется Наину Георгиевну будить. Неудобно, конечно, но дело есть дело.

Калитка с ворчанием отворилась, разноголосо, словно клавиши на разохшемся пианино, проскрипели ступени старого крыльца. Монахиня прислушалась — не донесется ли изнутри каких звуков. Тихо. А вдруг нет никого?

Решительно взялась за медную скобу, заменявшую колокольчик, громко постучала. Снова прислушалась.

Нет, кто-то там все-таки был — вроде бы голос раздался, или это взвизгнули дверные петли?

— Откройте! — крикнула инокиня. — Это я, сестра Пелагия с архиерейского подворья!

Послышалось, что ли? Ни звука.

Она подергала дверь — заперта на засов. Значит, дома, но спят, не слышат. Или слышат, но не хотят пускать?

Пелагия постучала еще, подольше, давая понять, что с пустыми руками не уйдет. Медь грохотала так гулко, что кто-нибудь — или хозяйка, или горничная должны были проснуться.

И снова откуда-то из глубины дома, уже явственной, послышался тихий, как бы зовущий голос. Словно кто-то негромко пропел несколько нот и замолчал.

Это уж было совсем странно.

Пелагия спустилась с крыльца, прошла под окнами. Как и следовало ожидать, приоткрыты — с вечера перед грозой было душно. Подобрав рясу чуть не до пояса, монахиня влезла на приступку, ухватилась за подоконник и толкнула раму.

Да что толку — темно хоть глаз выколи.

— Эй! — боязливо позвала Пелагия. — Есть кто-нибудь? Наина Георгиевна! Вы здесь? Наина Георгиевна!

Никакого ответа, только тихо скрипнул пол — то ли шагнул кто, то ли просто дом вздохнул.

Сестра перекрестилась, и в тот же миг небо озарилось ярким разрядом, отчего комнату осветило не хуже, чем в солнечный полдень. Ненадолго, на секунду, но и этого

было достаточно, чтобы Пелагия успела разглядеть маленькую гостиную и посередине, на полу, что-то белое, продолговатое.

— Мать Пресвятая Богородица, спаси и помилуй, — пробормотала Пелагия и полезла через подоконник.

Вот вам и «железная барышня». Вернулась домой — и в обморок. И ничего удивительного после таких переживаний. Только что же горничная-то?

Присела на корточки, пошарила руками, наткнулась на теплое. Тонкая ткань рубашки, мягкая грудь, лицо. Пелагия достала из поясной сумки фосфорные спички, чиркнула.

Только никакая это была не Наина Георгиевна, а вовсе незнакомая круглолицая девушка — простоволосая, в ночной рубашке и накинутом на плечи платке. Надо полагать, горничная. Глаза у девушки были закрыты, а рот, наоборот, приоткрыт. Волосы выглядели чудно — на концах вроде бы светлые, а поверху, надо лбом, черные и блестящие. Пелагия дотронулась — и с криком отдернула руку. Мокро. Пальцы тоже сделались черными. Кровь!

Тут спичка погасла, и Пелагия на четвереньках, как была, попятилась назад, к окну. Очки, тихо звякнув, бухнулись на пол, но возвращаться за ними не хотелось.

Перевалиться через подоконник и бежать сломя голову из этого страшного молчаливого дома!

Но тут снова раздался давешний звук — тихий, будто зовущий голос. Только теперь было слышно, что это не зов и не пение, а слабый стон. Донесся он откуда-то из темного нутра дома, и выходило, что бежать никак нельзя.

С замирающим сердцем монахиня выпрямилась, мелко перекрестила левую половину груди и обратилась с мысленной молитвой к своей покровительнице святой Пелагии, которую тревожила только по самой крайней необходимости:

— Моли Бога о мне, святая угодница Божия Пелагия, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей...

И тут же помогла ей угодница, прекрасная латинянка, в медном быке сожженная. От слабенькой зарницы на миг рассеялся мрак, и увидела Пелагия на подоконнике свечу в медной подставке. Знак это был хороший, душеукрепляющий.

Спичка от дрожания пальцев сломалась, за ней и другая, но с третьей свеча зажглась, и теперь можно было осмотреться получше.

Первое, что бросилось в глаза, — отчетливый след сапога на подоконнике, носком внутрь дома. Пелагия решительно повернулась к окну спиной, подняла руку с подсвечником повыше. Теперь стало видно, что у горничной вокруг головы растеклась целая темная лужа. Поблескивали оброненные очки. Пелагия подняла их, увидела, что левое стеклышко треснуло, но не расстроилась — не до того сейчас было.

Картина вырисовывалась такая. Ночью, когда в доме уже легли, кто-то влез в окно и, видно, наделал шума. Горничная вышла на звук, и влезший ударил ее чем-то тяжелым по голове.

Пелагия присела, тронула пальцами висок, где должна биться жилка. Не билась жилка, девушка была мертва. Инокня пробормотала молитву, но без вдохновения, потому что прислушивалась.

Снова стон. И близко — пожалуй, шагов десять.

Она ступила раз, другой, третий, готовая при первом же признаке опасности бросить свечу и кинуться назад, к открытому окну.

Впереди темнел дверной проем.

Коридор?

Пелагия шагнула еще и увидела Наину Георгиевну.

Княжна лежала в коридоре на полу, совсем рядом с гостиной.

На барышне был пеньюар и кружевной чепец, одна расшитая бархатная туфелька без задника валялась в стороне. Дальше по коридору виднелась приоткрытая дверь, очевидно, ведущая в спальню. Но Пелагии сейчас было не до расположения комнат — чепец Наины Георгиевны был сплошь пропитан кровью, а огромные глаза разбивательницы сердец смотрели вверх совершенно неподвижно, и в них отражались два маленьких огонька. И еще сестра увидела большой камень, черневший на полу чуть поодаль. Увидела, поневоле вспомнила, как лежал под деревцем мертвый Закусай, и перекрестилась.

Наина Георгиевна была еще жива, но кончалась — это монахиня поняла сразу, едва только нащупала пальцами острый край пробитой теменной кости. В свое время, когда Пелагия проходила искуc, первым ее послушанием стала работа в монастырской больнице, так что опыта по медицинской части ей было не занимать.

Длинные ресницы дрогнули, взгляд умирающей медленно, словно нехотя сфокусировался на инокине.

— А, сестра Пелагия, — ничуть не удивилась Наина Георгиевна, а даже точно обрадовалась, но тоже не сильно, в меру.

Отчетливо, несколько врасстяжку выговаривая слова (так бывает при черепном ранении), сообщила:

— Я сейчас умру. — Сказала и как бы немного удивилась собственным словам. — Я это чувствую. И ничего особенного. Не страшно совсем. И не больно.

— Я побегу, позову на помощь, — всхлипнула Пелагия.

— Не нужно, уж кончено. Я не хочу снова одна в темноте.

— Кто это вас?

— Не видела... Шум. Позвала — Дуняша молчит. Вышла посмотреть — удар. Потом ничего. Потом слышу, далеко-далеко, голос женский. Зовет: «Наина Георгиевна!» А нет никого. Темно. Я думаю: где это я, что это со мной... — Княжна двинула уголками губ — верно, хотела улыбнуться. — Это хорошо, что я умираю. Самое лучшее, что могло случиться. А что вы здесь — это знак, чудо Господне. Это Он меня прощает. Я виновата перед Ним. Не успею рассказать, уплывает всё. Вы мне просто грехи отпустите. Это ничего, что вы не священник, все равно духовное лицо.

Пелагия, клацая зубами, стала произносить положенные слова:

— Каплям подобно дождевым, злии и малии дни мои летним обхождением оскудевают, помалу исчезают уже, Владычице, спаси мя...

Наина Георгиевна повторяла: «Помилуй, помилуй...» — но чем дальше, тем тише. С каждым мгновением ее силы убывали. Когда монахиня закончила читать канон, княжна говорить уже не могла и только слабо улыбалась.

Пелагия, наклонившись, спросила:

— Что было на фотографии? Той, где дождливое утро? Казалось, ответа уже не будет. Но через минуту бледные губы шевельнулись:

— Там осина...

— Что осина?

— Жи...вая. И мо...тыга.

— Кто «живая»? Какая мотыга?

Сзади скрипнул пол — и не тихонько, как прежде, а весьма основательно, словно под чьей-то тяжелой стопой.

Пелагия обернулась и ойкнула. Из темного проема двери, что вела в спальню, медленно, словно не наяву, а в страшном сне, выплывал черный силуэт.

— А-а! — захлебнулась криком инокиня и уронила свечу, которая тут же и погасла.

Очевидно, только это Пелагию и спасло. В наступившей кромешной тьме раздался звук быстрых шагов и прямо над головой съжившейся монахини, обдав лоб волной воздуха, просвистело что-то увесистое.

Монахиня не вставая развернулась и метнулась в гостиную. Там тоже было черным-черно, только смутно выделялись три серых прямоугольника окон. Сзади доносилось чье-то хриплое дыхание, шорох ног по вошеному полу. Ни Пелагия, ни преследователь видеть друг друга не могли. Боясь выдать себя звуком, она замерла на месте, вглядываясь в тьму. Тук-тук-тук, колотилось бедное сердце, и эта барабанная дробь — во всяком случае, так показалось Пелагии — наполняла всю гостиную.

Кто-то двигался там, в темноте, кто-то приближался из коридора. Мрак свистнул: сссшши! И еще раз, уже ближе: сссшши!

Это он наугад своей дубиной машет или что у него там — поняла Пелагия. Дольше оставаться на месте было нельзя. Она развернулась и бросилась к среднему из серых прямоугольников. По дороге сшибла стул, кляня свою всегдашнюю неуклюжесть, но кое-как удержалась на ногах. Зато тот, кто топал за ней следом, похоже, о стул споткнулся и с грохотом полетел на пол. Обычный человек вскрикнул бы или выругался, этот же не издал ни звука.

Пелагия полезла на подоконник, зацепилась полкой рясы за выступ. Дернула что было сил, но грубая материя не подалась. Цепкая рука сзади схватила монахиню за ворот, и от этого прикосновения силы черницы словно удесятились. Она рванулась что было мочи, ряса затрещала в подоле, в воротах — и уберег Господь, вывалилась Пелагия наружу. Сама не поняла, больно ли ударилась. Вскочила. Посмотрела вправо, влево.

Вправо калитка и улица. Туда нельзя. Пока откроешь калитку — догонит. А если и успеешь выскочить на улицу, там в рясе все одно не убежать.

Эта мысль промелькнула в долю секунды, а в следующую долю той же самой секунды Пелагия уже бежала влево, за угол дома.

Сверху безо всякого предупреждения и предварительного побрызгивания хлынул дождь, и таким сплошным потоком, что сестра чуть не задохнулась. Теперь и вовсе стало ничего не разглядеть. Она бежала через сад, через рощу, выставив вперед руки, чтобы не удариться о ствол.

Где-то близко ударила молния. Пелагия оглянулась на бегу и увидела белые стволы, стеклянную стену дождя и за ней, шагах в двадцати, нечто черное, растопыренное, подвижное.

А деваться было совсем некуда. Еще десяток шагов, и в лицо дохнуло пропастью. Пелагия не увидела обрыв, а именно что вдохнула его. Реку же за оглушительным отхлестом ливня было не слышно.

Спереди чернела бездна, сзади шлепали по лужам шаги — не больно спешные, ибо преследователь отлично понимал, что бежать монашке некуда, и, видно, боялся, что она затаится где-нибудь под кустом.

Слева что-то едва различимо белело во мраке. Некий перст указывал вперед и немного вверх, туда, где по вечерам зажигается первая звезда.

Береза! Та самая, что нависла над кручей!

Пелагия подбежала к погибшему дереву, опустилась на четвереньки и поползла вперед, стараясь не думать о том, что внизу двадцать саженой пустоты. Добралась до кроны и застыла, обняла ствол покрепче, прижалась щекой к мокрой шершавой коре. Видно ее с берега или нет?

Конечно, видно — черное-то на белом!

Пелагия рывком села, свесила ноги в воздух. Сорвала черный платок, бросила вниз. Потянула через голову рясу,

но та, тяжелая, набухшая, лететь во тьму не желала, цеплялась за локти, за подбородок. Когда же наконец подалась, то в отместку утащила за собой очки. Да что толку от очков, когда все равно ничего не видно.

Пелагия развернулась лицом к берегу и села, прислонясь спиной к толстому обломанному суку. Она была в одной полотняной рубашке и дрожала всем телом, но не от холода, а от ледяного, пробирающего до костного мозга ужаса.

— Заступнице, заступнице... — шептала инокиня и никак не могла вспомнить, что там дальше в молитве Пресвятой Богородице.

Лицо заливало дождем, струи колотили по косо торчащему стволу, далеко внизу рокотала Река, но напряженный слух Пелагии улавливал и иные звуки.

Удары дерева о дерево. Шаги. Хруст сучьев.

Когда-нибудь это кончится, сказала себе Пелагия. Это не может продолжаться вечно. Он побродит-побродит и уйдет.

Но время будто остановилось. Может, это и есть конец света, подумалось вдруг монахине. Может, так всё и кончится: мрак, хляби небесные, раздирающий сердце ужас, шаги в темноте — всё равно ничего страшнее этого уже не придумать.

Ах молния, молния — надо же ей было прочертить небо именно в этот момент. И главное, гроза-то уже почти ушла в сторону заречных лесов, остались только дождь и ветер.

Но осветилась роща прощальным сполохом, и увидела Пелагия близехонько, меж блестящих от воды кустов, черную фигуру. А еще хуже было то, что и ее, Пелагию, тоже увидели.

Шаги приблизились. Качнулась береза — это на нее ступила нога.

Монахиня, помогая себе руками, поползла на ягодичках дальше, дальше. Ствол заскрипел, прогнулся. Теперь он торчал над обрывом уже не косо, а вровень с землей.

— Шли бы вы, сударь, — дрожащим голосом крикнула Пелагия, потому что сил сносить молчание у нее больше не было. — Я не знаю, кто вы, не видела. Так что опасаться вам нечего. Не берите еще греха на душу, уж довольно с вас. Да и не достанете вы меня здесь, вместе упадем.

Черный, молчаливый, кажется, и сам сообразил, что двойной тяжести дерево не выдержит.

С минуту было тихо. Потом раздались звуки, смысл которых до Пелагии дошел не сразу. Что-то захлопало, зачавкало, застучало. Береза словно ожила — закачалась, раскрипелась.

Это он подрывает корень, поняла вдруг Пелагия. А как поняла — страха словно и не бывало. Оказалось, что страх — это другое название для надежды. Если надежды нет вовсе, то и страшиться нечего.

И молитва вспомнилась: «Заступнице усердная, благоутробная Господа Мати! К тебе прибегаю аз, окаянная, и паче всех наигрешнейшая: вонми гласу моления моего, и вопль мой, и стенание услыши...»

На словах «якоже корабль в пучине, погружаюсь в море грехов моих» ствол стал накреняться, стремительно убыстряя движение, и сбросил монахиню в черное и гулкое пространство.

Раскинув руки, Пелагия бесшумно и свободно летела сквозь пустоту навстречу шуму, реву и плеску.

...и присно, и вовеки веков. Аминь.

Река приняла ее с неожиданно мягкой упругостью. Никакой мокрости Пелагия не ощутила, потому как и без того вымокла дальше некуда, а о том, что находится уже не в воздухе, а под водой, догадалась по стесненности и замедленности движения вниз.

Инокля забилa руками, оттолкнулась ногами и устремилась вверх, где было так вольно и воздушно. Но вода не хотела ее пускать, а всё тянула куда-то, вертела, и дышать было уже совсем нечем. Еще раз-два-три, и открою рот, и будь что будет, промелькнуло в голове у тонущей. Но мочи терпеть больше не было. Она широко раскрыла уста, готовая наполнить легкие Рекой, но губы всосали не воду, а воздух и брызги, потому что в этот самый миг голова Пелагии вынырнула между пенными бурунами.

Она жадно вдохнула, и еще, и еще, забывая выдохнуть, и закашлялась, но подводное течение уже тянуло ее обратно вниз, и монахиня снова скрылась под водой.

На этот раз вынырнуть оказалось еще трудней — отяжелевшие башмаки все норовили распрямить тело по вертикали, чтобы Реке было удобнее тащить Пелагию ко дну. Она скрючилась в три погибели, сорвала с ног обузу, и после этого бороться с водой стало легче. Сестра забарахталась в обволакивающих объятиях стремнины, оттолкнулась от нее и пошла вверх, вверх, вверх.

Снова принялась глотать воздух, а Река несла свою добычу куда-то во тьму и, словно забавляясь, поворачивала то по часовой стрелке, то против. Близко — рукой не дотянуться, но разглядеть можно — торчало и подрагивало что-то светлое, двигающееся в том же направлении и с той же скоростью. Пелагия не столько увидела, сколько угадала очертания обломанных сучьев и поняла — это ее береза, подруга по несчастью.

Преодолеть те две сажени, что отделяли инокиню от дерева, оказалось ох как не просто. Река, кажется, вообразила, что Пелагия хочет с ней поиграть, и охотно откликнулась на приглашение. Стоило монахине приблизиться к березе так, что пальцы уже доставали до скользкой коры, как поток легко и весело, будто щепку, отбрасывал ствол в сторону. Один раз уволок его далеко, и Пелагия потеряла спасительный силуэт из виду. Самой ей на плаву долго было

не продержаться — слишком уж швыряло ее то вправо, то влево, слишком крутило, да еще время от времени накрывало волной, так что недолго и захлебнуться.

А когда Пелагия уже смирилась с исчезновением дерева, оно само выплыло из мрака и еще стукнуло сзади веткой по затылку.

Сначала обессиленная монахиня просто держалась за подводный сук, наслаждаясь тем, что можно больше не барахтаться и не биться. Немножко передохнув, стала карабкаться на ствол. Несколько раз соскальзывала, оцарапала плечо, но все-таки влезла и уселась на березу верхом.

Когда-то давно, в другой жизни, Пелагия была неплохой наездницей и любила ранней порой пронестись по лугу, чтобы внутри всё замирало от скорости. Нечто подобное испытала она и сейчас, но о движении можно было догадаться разве что по обдувавшему лицо ветру, ибо Река вдруг двигаться перестала. Пелагия превратилась с ней в одно целое, стала ее частицей. Просто сидела на неудобной деревянной скамье, которая никуда больше не неслась, а лишь слегка поворачивалась на месте.

Теперь исчезло не только время, но и пространство. Зато появился холод, которого Пелагия раньше не замечала. Снова стал заметен ливень, бывший тяжелыми каплями по лбу и щекам.

Сначала застучали зубы, потом затряслись плечи, и совсем скверно сделалось, когда утратили чувствительность руки. Дальнейшее угадывалось вполне ясно: вот разожмутся пальцы, выпустят сук, и незадачливую наездницу скинет в Реку, а сил бороться с течением уже не останется.

Всё будет именно так, не иначе, потому что другого исхода быть не может.

Решение получалось только одно, страшное. Самой броситься в воду и, пока не вконец одеревенели мышцы, попробовать достичь берега. Но в какую сторону плыть — вправо или влево? Она упала в Реку с высокого левого бере-

га, но сколько с тех пор прошло времени, неизвестно. Ее вполне могло отнести на середину, а то и вовсе увести под правый берег. Долго плыть она не сможет. Если ошибется в направлении — всё, со святыми упокой.

Что же, коли так, стало быть, Господь решил призвать рабу свою Пелагию. Стыдно монахине бояться смерти. Когда Костлявая выпрыгивает, как тать из-за угла, и пышет в лицо своим жарким смрадным дыханием — ничего, извинительно и испугаться. Но если есть время подготовиться и собраться с духом, то страшиться смерти глупо и грех.

Сестра решительно соскользнула в воду слева от ствола и посильней оттолкнулась от него ногами. Течение здесь было уже не таким бешеным — очевидно, теснина осталась позади и Река вывернула на равнину. Плыть в полной темноте неведомо куда было странно, и вскоре Пелагия уже не знала, держит ли она направление или сбилась. Руки и ноги ритмично делали свою работу, но ужасно мешала длинная рубашка, липшая к коленям. Сбросить и ее? Пелагия представила, как Река выбрасывает на берег ее труп: голый, с распущенными волосами. Ну нет. Уж тонуть, так в рубашке.

А по всему выходило, что тонуть придется. Руки уже почти не слушались, а берега все не было и не было. Прости, Господи, устало подумала Пелагия. Я честно сделала все, что могла. Перевернулась на спину, отдалась воле течения. Жаль только, в небо было не посмотреть — хорошо бы напоследок хоть малую звездочку углядеть, да какой там.

Когда голова и плечи ткнулись во что-то неподатливое, Пелагия не сразу поняла, что это песок.

* * *

Берега было не видно, но можно было потрогать его руками.

Пелагия так и сделала: опустилась на колени и погладила ладонями холодную, размокшую землю. Помолив-

шись о чудесном избавлении, выжала рубаху и села, обхватив себя за плечи. Все равно было непонятно, где она и куда идти. Дождь шел еще какое-то время, потом кончился. Сестра снова выжала рубашку и, чтобы согреться, принялась прыгать то на одной ноге, то на другой. Посидит — попрыгает, посидит — попрыгает, а рубаха смутно белеет, растянутая на утонувшей в иле коряге.

В очередной раз скача и звонко хлопая себя по бокам, монахиня вдруг заметила, что тьма поредела. Вон кромка воды, и дохлая чайка на песке, а если сзади все сливается в единую массу, то это не из-за ночи, а потому, что над узкой полосой отмели вздымается высокий обрыв. Если приглядеться, просматривался и край обрыва, и серое небо над ним.

Пелагия испуганно присела на корточки. Не дай Бог, выйдет какой-нибудь бессонный человек прогуляться по предрассветной свежести, глянет вниз с бережка и увидит картину: прыгает простоволосая ведьма нагишом, руками размахивает. Страх-то какой.

Натягивая мокрую, холодную рубаху, впервые придумалась о своем положении. Во-первых, вынесло течением невесть куда — может, тут и жилья никакого нет. А во-вторых, если есть жилье, то тоже всё не просто. Статочное ли дело чернице в таком виде перед людьми показываться?

Походила под обрывом, высмотрела едва приметную тропку, что вела наверх. Подъем был крут, под ногами то и дело попадались острые камни, и потому Пелагия больше смотрела не вверх, а вниз, но когда все-таки задрала голову, чтобы проверить, далеко ли еще, — ахнула. Над обрывом белело что-то диковинное, чего снизу было не видно: стройное, вытянутое, неподвижное. Очертания странного предмета показались монахине знакомыми. Она поднялась еще немножко, теперь уж глядя не под ноги, а вверх.

Беседка. С белыми столбиками, ажурной решеткой и закругленной крышей. Знакомая беседка — та самая, откуда так хорошо было любоваться на Реку из дроздовского парка.

Пелагия еще не решила, хорошо это или плохо, что течение вынесло ее именно к Дроздовке. Конечно, знакомые люди помогут охотней, чем незнакомые, но зато и сраму перед ними больше.

Деревья в парке стояли вымокшие, унылые. От земли подплывал белесый туман, пока еще негустой, но понемногу плотнеющий. Зябко, промозгло. А до настоящего рассвета оставалось все-таки еще далековато. Что делать?

Пелагия вприпрыжку, стуча зубами, бежала по аллее к дому. Как-нибудь досидеть до утра, затаиться во дворе, и когда Таня или кто другой из женской прислуги выглянет, тихонько позвать. Больше ничего и не оставалось. Не врываться же в таком непристойном виде, со слипшимися рыжими космами, к генеральше среди ночи.

Пристроилась возле баньки. Подергала дверь — жалко, заперта, а то все потеплее было бы. Под открытым небом что-то уж совсем пробирало, и прыжки не помогали.

И тут сестра вспомнила про будку садовника. Уж та-то точно не закрывается.

Побежала обратно по аллее. Сырая рубаха противно липла к ногам.

Вот и домик. Так и есть — дверь не заперта.

Пелагия вошла в темный закуток. Осторожно, чтобы не наступить на острое, добралась до угла и села. Хоть сухо, и то слава Тебе, Господи.

Мало-помалу рассветало. Стало видно щели в дощатых стенах, инвентарь: грабли, лопаты, тяпки, топор, мотыги.

Мотыги? Как сказала Наина Георгиевна? Живая осина и мотыга?

Это в каком же смысле?

Поскольку заняться все равно было нечем, Пелагия принялась вертеть странные слова и так, и этак. Стало быть, на фотографии под названием «Дождливое утро» была запечатлена какая-то мотыга и еще осина. Живая. А какие еще бывают осины, мертвые, что ли?

Должно быть, умирающая барышня бредила. Хотя нет — слова были произнесены в ответ на заданный Пелагией вопрос.

Осин в парке достаточно, и все одна живет другой.

Ах нет! Сестра аж привстала. Одна-то точно была неживая — та, возле которой лежал невинно убиенный Закусаюшка. Может быть, княжна говорила про это деревце? Мол, на снимке оно еще живое? Но что в этом особенного, и при чем здесь мотыга?

Пелагия уже не могла сидеть на месте, одолеваемая самыми различными предположениями. А зачем сидеть на месте, если можно пойти и посмотреть?

Она выбралась из будки, побежала рысцой туда, где торчало из земли засохшее деревце. Здесь, в парке, все ей было знакомо, не мешали ни сумерки, ни туман, и через минуту монахиня оказалась у достопамятного английского газона, рядом с которым съезжилась мертвая осинка.

Что же в ней такого?

Пелагия присела, потрогала сморщенные листочки, провела ладонью сверху вниз по гладкому стволу. Что это тут, у корней, подрыто? Ах да, это Закусай лапами разгреб.

Да нет, пожалуй что одному щенку столько было не нарыть.

Инокния уткнулась носом в самую землю, разглядывая ямку.

Вспомнилось, как в самый первый день садовник Герасим сказал, что несмышлениша Закусай тятка с дедом приучили землю жрать. Уж не здесь ли?

Если приглядеться, и трава с этой стороны от осины была не такая, как вокруг, — пониже и пожже.

Что тут могло заинтересовать псов?

Пелагия взяла щепку, стала ковырять землю — та подалась плохо. Быстрее получится, если сбегать в будку за лопатой.

Так и поступила. Но взяла не лопату, а мотыгу, ею рыть сподручнее.

Поплевала на руки, как это делали землекопы, когда проводили на архиерейское подворье водопроводную трубу, размахнулась, ударила, отгребла. Потом еще и еще. Дело пошло быстро. Ударе на десятом Пелагия и дрожь перестала — согрелась. Туман клубился над травой, поднимаясь от щиколоток к коленям.

Заступ вошел во что-то хрусткое, как в капусту. Пелагия потянула — на лезвии повисло нечто круглое, темное, размером с детскую голову. От оцепенения рассудка и невесть откуда взявшегося звона в ушах инокиня не сразу поняла, что это оно самое и есть — именно детская голова: желто-лиловая, со слипшимися светлыми волосами и скорбно ввалившимися глазницами.

Шлепнув губами, Пелагия отшвырнула мотыгу с кошмарной находкой в сторону, да так порывисто, что поскользнулась на мокрой земле и сверзлась в самой ею вырытую яму. Подвывая, полезла оттуда, ухватилась за холодный, склизкий корень, а тот взял и легко вышел из земли.

И увидела Пелагия, что никакой это не корень, а кисть руки — волосатая, с синими ногтями, и вместо безымянного пальца малая культца.

Тут в глазах у бедной инокини потемнело, потому что есть же предел человеческому терпению, и, слава Богу, ничего больше Пелагии пугаться не пришлось — она сомлела, обмякла, сползла на дно ямы в глубоком обмороке.

БОРЗОЙ ЩЕНОК

Открыв глаза, Пелагия увидела над собой небесный свод. Он был темно-синий, низкий, усыпанный тусклыми неподвижными звездами, и держался так, как описано в старинных книгах, — на четырех столпах. Это подтверждало неправоту Коперника, что сестру несколько не удивило, а отчего-то даже обрадовало. Над лежащей, заслонив собой изрядный кус небесной сферы, навис владыка Митрофаний — огромный, седобородый, с прекрасным и печальным лицом. Пелагия поняла, что он-то, оказывается, и есть Господь Бог Саваоф, и обрадовалась еще больше, но здесь уже удивилась собственной слепоте: как это она раньше не сообразила такой простой и очевидной вещи. Ясно стало и то, что все сие — сон, но сон хороший, к добру, а может быть, даже вещий.

— Что глазами хлопаешь, скандальная особа? — спросил Саваоф — как положено Богу, вроде бы с суровостью, но и с любовью. — Осквернила пречестнейшее архиерейское ложе женской плотью, каковой здесь отроду не бывало, и еще улыбаешься. Как я тут теперь спать-то буду? Поди, приму муку плотоискусительную горше святого Антония. Гляди, Пелагия, вот отдам тебя на консисторский суд за непотребство, будешь знать. Хороша невеста Христова: валяется вся грязная, мокрая, чуть не телешом, да еще в яме с этакой пакостью. Уж яви милость, растолкуй мне, пастырю неразумному, как тебя туда занесло? Как ты догадалась, что головы убиенных именно там зарыты? Ты говорить-то можешь? — Митрофаний наклонился еще ниже, встревоженно положил Пелагии на лоб приятно прохладную руку. — А если говорить труд-

но — лучше помолчи. Вон у тебя лоб весь в испарине. Доктор говорит, горячка от сильного потрясения. Больше суток в себя не приходила. И на руках тебя носили, и в карете перевозили — а ты будто спящая красавица. Что с тобой стряслось-то, а?.. Молчишь? Ну помолчи, помолчи.

Только теперь монахиня разгадала загадку столпов и небесной сферы. Это был балдахин над старинной кроватью в архиереевой опочивальне: по синему бархату вышиты парчовые звезды.

Чувствовала себя сестра очень слабой, но вовсе не больной — скорее изнеможение было приятное, словно после долгого плавания.

Так я же и плавала, вспомнила она, и еще сколько.

Шевельнула губами, опробовала голос. Вышло хрипловато, но внятно:

— А-а-а.

— Ты чего, чего? — переполошился епископ. — Скажи, что дать-то? Или доктора позвать?

И уж вскочил, готовый бежать за помощью.

— Сядьте, владыко, — сказала ему Пелагия, осторожно ощупывая ноющие мышцы плеча. — Сядьте и слушайте.

И рассказала преосвященному обо всех событиях, начиная с самого «следственного опыта» и вплоть до страшных раскопок, от одного воспоминания о которых у нее задрожал голос и на глазах выступили слезы.

Митрофаній слушал, не перебивая, только в самых критических местах тихонько приговаривал «Господи Царю Небесный» или «Сыне Божий» и осенял себя крестным знаменем.

Когда же монахиня закончила свою повесть, архиерей опустил на колени перед висевшей в углу иконой Спасителя и произнес недолгую, но прочувствованную благодарственную молитву.

После сел к кровати и сказал, часто моргая ресницами:

— Прости ты меня, Пелагиюшка, Христа ради, что на такую страсть тебя послал. А я себя, ирода властолюбивого, до смертного часа не прошу. Никакие благоуправительные замышления вкупе с архиерейским посохом не стоят того, чтоб на христианскую душу, да еще и на слабые плечи женские этакое бремя взваливать.

— Про слабые женские плечи слышать обидно, — рассердилась инокиня. — Посмотрела бы я, кто из мужчин столько по Реке проплыл бы в такую бурю, да ночью. А что до замышлений и посоха, то ими тоже бросаться не следовало бы. Где это в Священном Писании сказано, что нужно злomu духу без боя уступать? Хуже уж, кажется, и нет ничего. Вы лучше расскажите мне, ваше преосвященство, что у вас тут выяснилось, пока я в обмороке лежала. Вы сказали «головы»? Это те самые, которые якобы Шишиге в дар унесены? Я, правда, видела только одну, детскую, и еще отрубленную руку. Рука-то откуда?

— Погоди, погоди, ишь вопросов-то накидала. — Митрофаний прикрыл ей ладонью рот. От пальцев владыки хорошо пахло книжными корешками и ладаном. — Была в яме и вторая голова, ты до нее совсем немножко не дорыла. Была и одежда. Да, головы те самые, от тел выброшенных Рекой в прошлом месяце. И личность теперь установили — по беспалой руке. Помнишь, у мужчины мертвого, кисть была отрублена? Видно, затем и отрубили, чтобы опознание затруднить, уж больно явственная примета.

— Ба бо боби? — промычала Пелагия через ладонь, имея в виду «да кто они?».

Владыка понял.

— Купец Аввакум Вонифатьев из Глуховского уезда и его девятилетний сын отрок Савва. Приезжал купец к Донату Абрамовичу Сытникову лес продавать и сгинул. А

дома не хватились, ибо он жене сказал, что покидает ее навек и боле не вернется. Плохо они ладили, она его намного старше была. Видно, хотел Вонифатьев на полученные от сделки деньги где-нибудь в ином месте жизнь строить. Да не вышло... Установлено, что Сытников купил лес за тридцать пять тысяч и деньги Вонифатьеву выдал на месте, наличными, после чего отец с сыном ушли, хоть время было уже позднее. Сытников говорит, что предлагал дать бричку, но купец отказался. Сказал, что возьмет тройку на постоялом дворе в ближнем селе Шелкове, однако в Шелкове Вонифатьевых никто не видел. Полиция, конечно, забрала Сытника для допроса, но, думается мне, невиновен он. Слишком богатый человек, чтобы из-за тридцати пяти тысяч этакий грех на душу брать. А может, бес жадности попутал — всякое бывает. Но не в том дело... — Глаза Митрофания блеснули азартным блеском. — Тут главное, что...

Он отнял руку от уст Пелагии, чтобы воздеть торжествующий перст, и монахиня немедленно воспользовалась предоставленной свободой изречения:

— ...что инспектор Бубенцов сел в лужу, — закончила она за преосвященного.

Архиерей улыбнулся:

— Я хотел сказать «сатанинские козни посрамлены», но ты, дочь моя, выразилась точнее. Выходит, Вонифатьевых умертвили из-за денег, никакого человеческого жертвоприношения не было, нет и шишигиного капища. Зря Бубенцов злосчастных зытяков притеснял. Всему его разбирательству и всей его Чрезвычайной комиссии цена грош. Вот какой нам всем от Господа подарок. Через тебя, через твои таланты и твою храбрость нам явленный. Остался наш бесенок с носом. Уедет теперь несолоно хлебавши и еще от покровителя своего нагоняй получит за этакий конфуз.

— Не уедет, — тихо и решительно объявила сестра Пелагия. — И нагоняя не получит.

Митрофаний схватился рукой за наперсный крест:

— Как так «не уедет»? Как так «не получит»? Это еще почему? Что ему теперь здесь делать?

— В тюрьме сидеть, — отрезала инокня. — И нагоняем он не отделается. Тут, отче, каторга. Лет на двадцать. За двойное убийство из корысти, да с умерщвлением отрока, суд меньше никак не даст.

— Мстительность — тяжкий грех, — назидательно молвил владыка, — поддаваться этому чувству нельзя. Бубенцов, конечно, мерзавец, но такое преступление было бы слишком чудовищно даже и для него: умертвить двух невинных, один из коих ребенок, головы им отрезать, и всё для того, чтобы свою карьеру устроить? Уж это, дочь моя, чересчур. Конечно, грешным делом и я поначалу распалился, когда до этой мысли дошел, но после охолонул. Нет, Пелагиюшка, наш фанфаронийка никого не убивал, просто решил воспользоваться удобным происшествием. Опять же в древней летописи имеется упоминание про отсеченную главу и бога Шишигу. Куда как правдоподобно. Что нам про убийство Вонифатьевых известно? Очень немного. Что умертвили их где-то неподалеку от Дроздовки, так что от сытниковской дачи далеко отъехать они не успели. Деньги забрали, тела сбросили с обрыва в Реку — их потом ниже по течению выбросило. Головы, руку и одежду закопали в саду, под осиной. Теперь злоумышленника (или злоумышленников) не сыскать. Время ушло.

Пелагия, не слушая, воскликнула:

— Ах вот почему она собак-то!

Рывком села на кровати, но от резкого движения комната закачалась, поплыла, и сестра снова легла. Подождала, пока пройдет головокружение, и продолжила:

— Теперь понятно. Конечно, не в наследстве дело. Дело в самих бульдогах. Они бегали где хотели, носились по всему парку. Унюхали под осиной интересный запах, стали подкапывать, а Наина Георгиевна увидела. Должно быть, в первый раз просто прогнала их, а они снова и снова. Тогда и решила отравить...

— Погоди, погоди. — Митрофаній нахмурился. — Так у тебя выходит, что это Наина купца с сыном убила и головы им отрезала? Нелепица!

— Нет, убила не она. Но она знала, кто это сделал, и знала про головы.

— Соучастница? Это княжна-то? Но зачем?

— Не соучастница, а скорее свидетельница. Случайная. Как это могло получиться? — Пелагия не смотрела на преосвященного. Быстро двигала бровями, морщила конопатый нос, помогала себе руками — одним словом, соображала. — Она часто бродила вечерами и даже ночью по парку одна. У романтических девушек это бывает. Очевидно, увидела, как убийца закапывает головы.

Митрофаній недоверчиво покачал головой:

— Увидела и промолчала? Злодеяние-то ведь какое сатанинское.

— Вот! — вскинулась монахиня. — Именно что сатанинское! В этом и дело! То-то она про злодейство и про исчадие загадочные слова говорила. «Любовь — всегда злодейство» — это ее слова.

— Что же она, Дьяволу служила? — удивился епископ.

— Ах что вы, владыко, какому Дьяволу. Она служила любви.

— Не понимаю...

— Ну конечно, — непочтительно отмахнулась от него Пелагия, как бы разговаривая сама с собой. — Девушка страстная, с воображением, томящаяся от нерастраченности чувств. С детства избалованная, незаурядная, да и жестокая. Жила себе как во сне, любила единственного

приличного человека в ее окружении, Ширяева. Говорила с ним о прекрасном и вечном. Мечтала стать актрисой. Так и дожидаясь до стародевичества, потому что Мария Афанасьевна дама крепкого здоровья, а до ее смерти Ширяев всё сидел бы в Дроздовке — уехать не уехал бы и руки бы не попросил. С его позиции это, верно, было бы безнравственно — понуждать тех, кто от тебя зависит. Беда в том, что человек он больно щепетильный. Любил Наину Георгиевну страстно, а на целомудрие ее не покушался. Хотя следовало бы, — вполголоса добавила монахиня. — Глядишь бы, и жива была.

— Ты это брось, за блудодейство агитацию разводить, — призвал свою духовную дочь к порядку преосвященный. — И не отвлекайся, про дело говори.

— Потом вдруг появился Поджио, человек из другой, большой жизни. И уж он-то не щепетильничал. Вскружил барышне голову, соблазнил. Да, поди, и нетрудно это было — созрела так, что дальше некуда. Забыла про свои актерские мечты, захотела стать художницей. Но к тому времени, когда в Дроздовке появилась я, Париж и палитра уже были забыты, а Поджио брошен. Наина Георгиевна ходила мрачная, молчаливая, держалась таинственно и говорила загадками. Мне даже показалось, что она не в себе. Да так оно и было. Раз уж не остановилась перед тем, чтобы собак убить, раз уж решила пренебречь бабушкиной жизнью, да и в самом деле чуть старушку в могилу не свела, — значит, и впрямь влюбилась безо всяких пределов, до вытеснения всех прочих чувств.

— В кого, в Бубенцова? — спросил архиерей, едва поспевая за резвой мыслью Пелагии. — Так он в Дроздовке только наездами бывал. Хотя мастер по женской части известный. Конечно, мог совратить и, видно, совратил. Но при чем здесь Вонифатьевы?

— А очень просто. В тот вечер, когда состоялась продажа леса, Сытников сначала был у соседей. Пил чай на

веранде, рассказывал и о купце, и о грядущей сделке. В ту пору гостил там и Бубенцов, у них с Донатом Абрамовичем еще перепалка из-за староверческих обычаев произошла — мне про это рассказывали. Потом, когда обиженный Сытников ушел...

— Так-так! — перебил ее возбужденный Митрофаней. — Ну-ка, дай я сам! Влюбленная, а вероятнее всего, уже и соблазненная девица (Бубенцов ведь в Дроздовку и прежде навывался) гуляла ночью по саду. То ли не спалось от страстолюбия, то ли поджидала, когда предмет ее обожания вернется. Подглядела, как он от трупов избавляется, и вообразила, что это некий сатанинский ритуал, а Бубенцов — самый Сатана и есть. И поскольку любила его безмерно, тоже решила в сатанинское воинство податься! Бросилась бесу этому на грудь, поклялась...

— Ах, владыко, да что вы всё выдумываете! — замахала на него руками монахиня. — Вам бы романы для журналов писать. Ничего она ему не клялась, а, надо полагать, от ужаса омертвела и ничем себя не выдала. Сколько раз она при мне ему намеки делала — теперь-то их смысл понятен, однако Бубенцов только улыбался и плечами пожимал. Видно, и вообразить не мог, что она про всё знает. И за Сатану она его вряд ли тогда же, в ночь преступления, приняла. Сначала, вероятно, была растеряна, не знала, что думать и как поступить. Но женская любовь способна оправдать всё что угодно. Я помню, как Наина Георгиевна сказала: «Любовь тоже преступление», налегая на слово «тоже». Вот у ней что в голове-то было... Она решила защитить своего возлюбленного. Потому и отраву собакам подсыпала. Я видела, когда Бубенцов приехал, это уже при мне было, как она на него вначале смотрела: очень странно, даже с отвращением. Но всё вдруг переменялось, когда он про зытяцкое дело заговорил. Я заметила и поразились: Наина Георгиевна словно воскресла. В оживление пришла, раскраснелась и на Бубенцова

глядела уже по-другому — с одним только обожанием и восхищением. Это до нее дошло, зачем ему головы резать понадобилось. Вместо того чтобы утраститься и в ужасе от него отшатнуться, она в упоение пришла. Оказалось, что ее любимый — не простой грабитель, а честолюбец гигантского размаха, играющий человеками, как истинный демон. Вот что означали слова: «Владимир Львович, я не ошиблась в вас». И из лермонтовского «Демона» продекламировала, а когда он про угрозы и охрану заговорил, намекнула ему: «Лучшая стражница — это любовь». Давала понять, что будет ему верной помощницей и защитницей, а он не догадался. — Пелагия грустно вздохнула. — Женщина, настоящая женщина, самоотверженная и не рассуждающая в любви.

— Ты про такую любовь вздыхать не смей, — насупился Митрофаний. — Такой любви для тебя больше нет. Умерла она, твоя любовь. А вместо нее дадена тебе Любовь иная, наивысшая. И Возлюбленный иной, еще прекрасней прежнего. Ты — невеста Христова. Помни об этом.

Сестра слегка улыбнулась строгому тону преосвященного.

— Да, мне с Возлюбленным повезло больше, чем бедной Наине. Что он злодей, преступник, дьявол во плоти — это всё она ему простила. Но не простила того, чего не может простить ни одна женщина: нелюбви. Хуже — холодного, оскорбительного равнодушия. Я, владыко, удивляюсь на Владимира Львовича. По всему видно, что он привык во всех своих замыслах использовать слабый пол и, надо полагать, отлично разбирается в женских душах. Как же он со стороны Наины вовремя опасности не разглядел, проявил такую неосторожность? Сначала она ему зачем-то понадобилась — может быть, из каких-нибудь сложных видов на генеральшино наследство. А потом он, наверно, додумался, как обойтись без татищевской внучки. Или же Наина показалась ему чересчур утомительной

со своей исступленной страстью и любовью к эффектам. Так или иначе своей холодностью Бубенцов довел барышню до последней крайности. Уже из одного этого ясно, что он не подозревал о ее осведомленности и до поры до времени относил ее намеки на счет пристрастия к позе и мелодраме. На суаре у Олимпиады Савельевны Бубенцов увидел одну фотографию, которая повергла его в тревогу. Снимок как снимок, назывался «Дождливое утро». Уголок парка после дождя: трава, кусты, осинка — ничего особенного. Никто из прочих посетителей выставки на этот скромный этюд и внимания не обратил, благо там были картинки куда как поэффектней. Но что, если кто-нибудь рано или поздно пригляделся бы к этому опасному снимку? Его требовалось уничтожить, а сделать это можно было, только прибегнув к какому-нибудь отвлекающему маневру, чтобы следствие сразу повернуло совсем в другую сторону.

— Что же там было ужасного, на этой картинке?

— Я полагаю, на ней была та самая осинка, под которой зарыты головы. При этом сфотографированная наутро после двойного убийства. Осинка, уже обреченная, потому что ее корни были подрублены острой мотыгой, еще не успела засохнуть и выглядела как живая. А самое главное — к деревцу была прислонена сама мотыга, забытая убийцей. Или, может быть, лежала рядом в траве — не знаю. Кто-то из обитателей Дроздовки или постоянных гостей мог обратить внимание на эту странную деталь, сопоставить ее с непонятным увяданием дерева, припомнить и затоптанный газон, и смерть Закусяя — и сделать опасные для преступника выводы.

— Так-так, — кивнул архиерей. — А куда мотыга делась потом?

— Может быть, убийца вернулся за ней днем и отнес на место. А еще вероятнее, что это сделала Наина Георгиевна.

— Стало быть, Бубенцов убил Поджио и разгромил всю выставку из-за одной этой фотографии?

— Да, это несомненно. Ведь из всех снимков и всех пластинок пропало только «Дождливое утро». Скандальные карточки с обнаженной Телиановой преступника нисколько не интересовали. Но скандал прихотился Бубенцову кстати: явное и очевидное подозрение падало на Ширяева.

— Теперь я вижу, что всё именно так и было. — Митрофаный склонил голову набок, проверяя, всё ли сходится, и, кажется, остался доволен. — Но, решившись убить Телианову, Бубенцов пошел на огромный риск. Ведь в этом убийстве Ширяева заподозрить уже не смогли бы — он как раз был на допросе в полиции.

— А Ширяев и так уже очистился от подозрения в убийстве Поджио, когда Наина Георгиевна объявила, что Степан Трофимович провел всю ночь с ней. Рисковать же Бубенцов был вынужден, потому что во время «опыта» Наина Георгиевна напрямую дала ему понять, что ей всё известно и что покрывать его больше она не станет. Помните, я вам говорила, как она пригрозила долги раздать? И раздала бы, потому что избавилась от бесовского наваждения и служить демону больше не хотела. То ли терпение кончилось, то ли гордость пробудилась. А может быть, выбор сделала — в пользу Степана Трофимовича. Только слишком уж заигралась она с огнем. Бубенцов не мог оставить ее в живых, ни на один день. И убил. А заодно и служанку. Что для этакого «духа изгнания» чья-то маленькая жизнь?

— И тебя тоже чуть не убил, — негромким, страшным голосом произнес владыка, и взгляд у него стал такой, что хоть свечку об него зажигаай.

— Да. И даже дважды.

Пелагия вздохнула и рассказала, как в Дроздовке, когда она проводила преосвященного до ворот парка и возвращалась обратно по аллее, кто-то пытался ее задушить.

— Я тогда никому не стала говорить, а то Бубенцову только на руку бы вышло. Снова на зытяков бы свалил. Такой подарок для синодальных дознавателей — нападение на монахиню. Бубенцов как раз накануне рассказывал, как зытяки на пустынной дороге своим жертвам мешки на голову накидывают. Теперь понятно, кто и почему меня удавить хотел. Помните, когда я перед всеми разоблачила Наину Георгиевну, то сказала, что на этом не остановлюсь?

— Да, помню, — кивнул владыка. — Ты сказала, что тут какая-то тайна и что нужно разобраться.

— Глупо сказала, неосторожно, — вздохнула Пелагия и, скромно потупившись, добавила: — Выходит, Бубенцов высоко оценил мои способности, раз решил обезопаситься.

Митрофаній грозно пророкотал:

— Бог милостив и прощает злодеям разные душегубства, еще и хуже этого. Но я не Бог, а грешный человек и за тебя разотру Бубенцова в пыль. Ты только скажи мне, можно ли действовать по закону или нужно изыскивать иные средства? Ты ведь оба раза не видела, кто на тебя нападал. Значит, и доказательств нет?

— Только косвенные.

Пелагия почувствовала себя достаточно окрепшей, чтобы сесть на кровати. Епископ подложил чернице под спину подушек.

— У нас три преступления, явно связанных между собой: сначала убили отца и сына Вонифатьевых, потом Аркадия Сергеевича Поджио, потом Наину Телианову с горничной, — начала объяснять сестра. — По уже упомянутым причинам Бубенцов попадает в число подозреваемых во всех трех случаях. Так?

— Не он один был причастен ко всем этим событиям, — возразил архиерей. — И в Дроздовке, и на обоих вечерах у почтмейстерши были также Ширяев, Петр Телианов, Сыт-

ников и еще этот, рифмоплет, как его... Краснов! У них могли быть какие-то свои причины для убийства Вонифатьевых. А остальные два убийства произошли из страха разоблачения.

— Верно, отче. Но только Петр Георгиевич выпадает, потому что в день, когда к Сытникову приезжал лесоторговец, молодого барина в Дроздовке не было, он еще не вернулся из города. Про это при мне говорили, я запомнила. Что до Краснова и Сытникова, то убить Вонифатьева они, конечно, могли. Первый — хотя бы из-за тех же тридцати пяти тысяч. Второй... Ну, скажем, поссорился из-за чего-то со своим гостем. Но неувязка в том, владыко, что ни Краснова, ни Сытникова княжна покрывать бы не стала.

— Согласен. Но как насчет Ширяева? — спросил преосвященный уже больше для порядка.

— Вы запомнили, отче. Мы уже установили, что убийства в Варравкином тупике Степан Трофимович совершить не мог, потому что всё еще находился под арестом.

— Да-да, правильно. Значит, кроме Бубенцова, совершить все три убийства было некому?

— Выходит, что так. Только не три убийства, а пять, — поправила Пелагия. — Ведь первое и последнее были двойными. При внимательном разбирательстве на подозрении остается один только Владимир Львович. Вспомните еще и то, что в ночь убийства Поджио инспектор был совсем один — Мурад Джураев напился пьян и бродил по кабакам, а секретарь Спасенный пытался урезонить буяна. Уж не сам ли Бубенцов и подпоил своего слугу, зная, к чему это приведет?

Монахиня развела руками:

— Вот и всё, чем мы располагаем. При обычных обстоятельствах этого было бы достаточно для ареста по подозрению, но Владимир Львович — случай особенный. Если Матвей Бенционович даже и выпишет постановле-

ние, боюсь, что полицмейстер не послушается. Скажет, мало оснований. Для него ведь Бубенцов — и царь, и бог. Нет, ничего у нас с арестом не выйдет.

— А это не твоя печаль, — уверенно молвил Митрофаный. — Ты свое дело исполнила. Лежи теперь, набирайся сил. Я велю, чтоб не тревожили тебя, а понадобится что — дерни вот за этот бархатный шнурок. Вмиг келейник прибежит и всё исполнит.

Владыка тут же показал, как дергать за шнурок, и в самом деле через секунду в дверную щель просунулась постная жидкобородая физиономия в камиллавке.

— Патапий, вели-ка послать за Матвеем Бердичевским. И живо, на легкой ноге.

Матвей Бенционович очень волновался.

Не из-за полицмейстера — тот был как шелковый. То есть поначалу, когда увидел постановление об аресте, побледнел и весь, до самой кромки волос, покрылся испариной, но когда Бердичевский разъяснил ему, что после провала зытяцкого дела карта синодального инспектора так или иначе бита, Феликс Станиславович окреп духом и взялся за дело с исключительной распорядительностью.

Беспокойство товарища прокурора было вызвано не сомнениями в лояльности полиции, а высокой ответственностью поручения и, еще более того, некоторой зыбкостью улики. Собственно, улики как таковых почти и не было — одни подозрительные обстоятельства, на которых настоящего обвинения не выстроишь. Ну, был Бубенцов там-то и там-то, ну, мог совершить то-то и то-то, так что с того? Хороший защитник от этих предположений камня на камне не оставит. Тут требовалась большая предварительная работа, и Матвей Бенционович не был уверен, что справится. На минуту даже подумалось с завистью о дознавателях былых времен. То-то спокойное у них житье было. Хватай подозрительного, вешай на дыбу, и признается

сам как миленький. Конечно, Бердичевский, будучи человеком передовым и цивилизованным, подумал про дыбу не всерьез, но без признания самого обвиняемого тут было не обойтись, а не таков Владимир Львович Бубенцов, чтобы самому на себя показывать. Все надежды Бердичевский возлагал на допрос инспекторовых приспешников, Спасенного и Черкеса. Поработать с каждым по отдельности — глядишь, и выявятся какие-нибудь несоответствия, зацепочки, кончики. Чтоб потянуть за такой кончик да размотать весь клубок.

Вот бы попытка к бегству или того паче — сопротивление аресту, размечтался Матвей Бенционович, когда уже ехали на задержание.

На всякий случай — как-никак арест убийцы — подготовили операцию по всей форме. Лагранж собрал три десятка городских и стражников, велел смазать револьверы и самолично проверил, все ли помнят, как стрелять. Прежде чем выехать, полицмейстер нарисовал на бумажке целый план.

— Вот этот кружок, Матвей Бенционович, площадь. Пунктир — это ограда, за которой двор «Великокняжеской». Большой квадрат — сама гостиница, маленький — «генеральский» флигель. Бубенцов у себя, мои уже проверили. Половину людей расположу по периметру площади, остальным велю затаиться за оградой. Внутри войдем только мы с вами и еще два-три человека...

— Нет, — перебил его Бердичевский. — Во двор войду я один. Если нагрянем такой оравой, увидят через окно и, не дай Бог, запрут, уничтожат улики. А я очень надеюсь обнаружить там что-нибудь полезное. Войду тихонько, как бы с визитом. Приглашу Бубенцова для беседы — ну хоть бы к губернатору. А как выйдем во двор, тут его, голубчика, и заарестуем. Если же у меня возникнут затруднения, я вам крикну, чтоб выручали.

— Зачем же вам горло натруждать? — укоризненно покачал головой совершенно прирученный Лагранж. — Вот вам мой свисточек. Дунете, и я тут же предстану перед вами как лист перед травой-с.

На самом деле, помимо деловых соображений, были у Матвея Бенционовича еще и личные основания для того, чтобы взять Бубенцова собственноручно. Очень уж хотелось поквитаться с подлым петербуржцем за памятный щелчок по носу. С предвкушением, недостойным христианина, но оттого не менее сладостным, представлялось, как исказится и побелеет надменная бубенцовская физиономия, когда он, Бердичевский, этак небрежно скажет:

— Извольте-ка заложить руки за спину. Я объявляю вас арестованным.

Или, еще лучше, светским тоном:

— Знаете, сударь, а ведь вы арестованы. Вот какая неприятность.

* * *

И все же, когда в одиночестве пересекал двор, стало не по себе. Стиснулось в животе и горло пересохло.

Собираясь с духом, Матвей Бенционович с полминуты постоял на крыльчке «генеральского» флигеля. Здесь, в опрятном одноэтажном домике, располагался самый лучший во всей гостинице апартамент, предназначенный для высоких особ, которые прибывали в губернию по казенной надобности, а также просто для богатых людей, кто считает зазорным селиться под одной крышей с прочими постояльцами.

Окна флигеля были закрыты занавесками, и Бердичевский вдруг испугался — не ошибся ли Лагранж. Вдруг Бубенцова здесь нет?

От испуга за дело пустая нервическая слабость ретировалась, и Матвей Бенционович даже не стал, как собирался, звонить в колокольчик — просто толкнул дверь и вошел.

Из прихожей попал в большую комнату, всю заставленную раскрытыми сундуками и чемоданами. У стола сидели Спасенный и Мурад Джураев, переставляя по доске белые и черные камни. Должно быть, нарды, догадался Матвей Бенционович, не признававший никаких игр, кроме шахмат и преферанса.

— Доложите господину Бубенцову, что его немедленно желает видеть товарищ окружного прокурора Бердичевский, — ледяным тоном произнес он, обращаясь к секретарю.

Тот почтительно поклонился и исчез за дверью, что вела внутрь покоев. Черкес на посетителя взглянул мельком и снова уставился на доску, бормоча под нос что-то невнятное. Примечательно было то, что даже в помещении дикий человек не снимал папахи и неизменного кинжала.

Вернулся Спасенный, сказал:

— Пожалуйте-с.

Хмурый Бубенцов сидел за столом, что-то писал. Не приподнялся, не поздоровался. Лишь на миг оторвал взгляд от бумаг и спросил:

— Что нужно?

От такой явной грубости Матвей Бенционович окончательно успокоился, потому что известно: кто громко лает, тот не кусается. Укусить Бубенцову было уже нечем — зубки затупились.

— Собираетесь уезжать? — учтиво осведомился товарищ прокурора.

— Да. — Владимир Львович в сердцах швырнул ручку, и по зеленому сукну полетели чернильные брызги. — После того как губернатор по вашему представлению распорядился прекратить расследование, мне тут больше делать нечего. Ничего, господа заволжцы, съезжу в Петербург и вернусь. И тогда пущу всю вашу богадельню по ветру.

Никогда еще Матвей Бенционович не видел синодального инспектора в таком раздражении. И куда только подевалась всегдашняя ленивая снисходительность?

— Так сразу не выйдет, — как бы сокрушаясь, вздохнул Бердичевский.

— Что «не выйдет»?

— Уехать. — Матвей Бенционович еще и руками развел, совсем уж входя в роль. — Антон Антонович просят вас немедленно к ним пожаловать. И даже приказывают.

— «Приказывают»? — вспыхнул Бубенцов. — Плевал я на его приказания!

— Это уж как угодно, только его превосходительство не велели выпускать вас из пределов губернии, пока вы не представите удовлетворительные объяснения в связи с незаконным арестованием зытяцких старейшин и убийством трех зытяков, которые пытались их освободить.

— Чуть! Всем известно, что зытяки напали на представителей власти с оружием в руках. Сами виноваты. А насчет незаконности арестования старейшин — это мы еще посмотрим. Покрываете идолопоклонников? Ничего, Константин Петрович спросит с вас и за это. — Владимир Львович встал и надел сюртук. — Черт с вами. Заеду к вашему Гагтену. Не ради него, а ради Людмилы Платоновны. Она милашка. Поцелую ручку на прощание.

Глаза Бубенцова сверкнули нехорошим блеском — очевидно, инспектор замыслил устроить Антону Антоновичу напоследок какую-нибудь унижительную каверзу.

Как бы не так, подумал Матвей Бенционович, с трудом сдерживая торжествующую улыбку. Ручонки у вас, сударь, короткие.

Вышли в гостиную. Присные инспектора в нарды уже не играли: Спасенный укладывал саквояж, Черкес стоял подле окна и высматривал что-то во дворе.

И вдруг произошло нечто неожиданное. Более того — невероятное и даже невообразимое.

В два кошачьих прыжка Мурад подлетел к Матвею Бенционовичу и схватил его за горло своими короткими железными пальцами.

— Измэна! — хрипло выкрикнул Черкес. — Володя, не ходи! Там засада!

— Что ты несешь? — уставился на него Бубенцов. — С ума спятил?

Бердичевский дернул из кармана свисток и дунул что было мочи. В ту же секунду со двора донесся топот множества ног.

Ударом жилистого кулака кавказец сбил Матвея Бенционовича с ног, бросился к одному из чемоданов и выхватил оттуда длиннотвольный револьвер.

— Стой! — крикнул Владимир Львович, но было поздно.

Мурад выбил дулом стекло и три раза пальнул наружу. Раздался истошный вопль, а в следующее мгновение из двора ударили ответные выстрелы, да так густо, что со стен и потолка полетели брызги штукатурки, на рояле лопнул графин с хризантемами, а настенные часы вдруг взорвались отчаянным боем.

Спасенный плюхнулся на пол и пополз к двери в кабинет. Присел на корточки и Бубенцов. Когда пальба немного поутихла, брезгливо сказал:

— Мурад, ты болван. Ну и каша. Сам заварил, сам и расхлебывай. Я через черный ход — и на конюшню. Поскачу в Питер. Ничего, утрясу. А ты популяй еще немножко, чтоб я мог оторваться, и сдавайся. Я тебя вызволю. Понял?

Не дожидаясь ответа, пригнувшись, исчез за дверью. Спасенный все так же, на брюхе, уполз за ним.

— Понял, Володя, чэго не понять, — негромко сказал Черкес. — Только Мурад сдаваться нэ умэет.

Он высунул руку из-за выступа, прицелился и выстрелил. Во дворе снова кто-то вскрикнул, и стали бить

залпами. Улучив момент, абрек пальнул еще раз, но тут ему не повезло. Папаха слетела на пол, мотнулась сизая, обритая голова, и по щеке прорисовалась багровая борода, немедленно засочившаяся кровью. Мурад сердито вытер лицо рукавом грязного бешмета и выстрелил вверх подоконника.

Матвей Бенционович уже с минуту находился в состоянии мучительной внутренней борьбы. На одной чаше был только долг, на другой — жена, двенадцать (собственно, уже почти тринадцать) крошек и в придачу собственная жизнь. Прямо скажем, груз неравный. Бердичевский решил, что будет сидеть тихонько — в конце концов, можно отрядить за Бубенцовым и погоню. Но сразу же после принятия этого спасительного решения в пальбе наступило затишье, и Матвей Бенционович, перекрестившись, отчаянно крикнул:

— Лагранж, черный ход!

Мурад свирепо обернулся, и Бердичевский увидел неправдоподобно огромную черную дыру, смотревшую ему прямо в переносицу. Сухо щелкнул курок, потом снова, и Черкес, не по-русски выругавшись, отшвырнул бесполезный револьвер.

Но чудесное спасение только померещилось бедному Матвею Бенционовичу, потому что кавказец выхватил свой чудовищный кинжал и, согнувшись, метнулся к товарищу прокурора.

Бердичевский неубедительно стукнул страшного человека по скуле, но это было все равно что бить кулаком о камень. Околдованный таинственным мерцанием широкого клинка, Матвей Бенционович замер.

Черкес обхватил своего пленника за шею, приставил холодную сталь к горлу и сказал, дыша в лицо кровью и чесноком:

— Потом тебя резать буду, нэ сейчас. Если сейчас, они мэня сразу убьют. А так еще долго будем разговор разговаривать. Володя подальше уйдет — тогда зарэжу.

Матвей Бенционович зажмурился, не выдержав близости бешеных глаз, черной бороды и кровоточащей щеки.

Снаружи донесся крик Феликса Станиславовича:

— Гони коляску на Купеческую! Вы, трое, марш по заставам. Перекрыть шлагбаумы! Елисей, бери четверых и давай к конюшне!

Теперь Бубенцову не уйти, понял Бердичевский, но утешения эта мысль не принесла. Дышать с перехваченной шеей было трудно, от тоскливого ужаса подкатывала тошнота, и даже подумалось — скорей бы уж резал, лишь бы отмучиться.

Из-за подоконника осторожно высунулась половина головы Лагранжа.

— Господин Бердичевский, вы живы?

Ответил Мурад:

— Сунэшься — бюджет мертвый.

Тогда полицеймейстер, осмелев, вынул и руку с револьвером, ухмыльнулся:

— Что, Джураев, отстрелял пульки-то? Я посчитал. Только тронь его высокоблагородие, убью как бешеную собаку. Живьем брать не буду, Христом Богом клянусь.

— Мурад смэрти нэ боится, — презрительно бросил на это разбойник, загоразиваясь Бердичевским, как шитом.

Феликс Станиславович медленно вскарабкался на подоконник.

— Это ты, братец, врешь. Ее, безносую, все боятся.

Он осторожно спустил ногу на пол.

— Еще шаг, и рэжу, — тихо, но веско пообещал Черкес.

— Всё-всё, — успокоил его полицеймейстер. — Вот и револьвер кладу.

Он и вправду положил оружие на самый край подоконника — так что дуло нависло над полом, закинул ногу на ногу.

— Давай, Джураев, договоримся миром. — Лагранж достал портсигар, закурил папиросу. — Ты мне двоих людей продырявил. За это тебя надо бы на месте положить. Но если ты сейчас его высокоблагородие отпустишь и сдашься, я тебя в тюрьму живым доставлю. И даже бить тебя не станем, честное офицерское.

Мурад только хмыкнул.

— Что, догнали? — спросил подчиненных Феликс Станиславович, оборотясь назад.

Что-то ему там ответили, но слов было не разобрать.

— Ах мерзавцы, упустили?! — грозно взревел полковник и свирепо ударил кулаком по подоконнику, и так неловко — аккуратно по торчащему стволу револьвера.

В полном согласии с законами физики от этого удара револьвер описал в воздухе замысловатое сальто и грохнулся об пол на самой середине гостиной.

Выпустив заложника, Черкес одним хищным прыжком прыгнул к оружию.

И тут обнаружилось, что трюк с летающим револьвером был исполнен хитроумным полицмейстером нарочно. Откуда ни возьмись в руке у Феликса Станиславовича возник второй револьвер, поменьше, и изрыгнул в Джураева огонь и дым.

Пули отшвырнули кавказца к стене, но он тут же вскочил на ноги и, замахнувшись кинжалом, пошел на полковника.

Лагранж прицелился получше, выстрелил еще три раза — и всё в цель, но Мурад не упал, просто теперь каждый шаг давался ему всё с большим и большим трудом.

Когда Черкеса отделяло от подоконника каких-нибудь полсажени, полковник спрыгнул на пол, приставил Джураеву дуло прямо ко лбу, и верхушка бритого черепа разлетелась на осколки.

Убитый немного покачался и наконец рухнул навзничь.

— Вот живучий, черт, — удивленно покачал головой полицмейстер, склоняясь над телом. — Прямо оборотень. Вы поглядите, он еще и глазами хлопает. Рассказать кому — не поверят.

Потом приблизился к полумертвому от всех потрясений Бердичевскому, присел на корточки.

— Ну вы, Матвей Бенционович, смельчак. — И уважительно покачал головой: — Как вы про черный ход-то крикнуть не побоялись!

— Да что толку, — слабым голосом произнес товарищ прокурора. — Все равно ведь ушел Бубенцов.

Лагранж белозубо расхохотался:

— Как же, ушел! Взяли. И его, и секретаришку. Прямо в конюшне.

— А как же?.. — захлопал глазами переставший что-либо понимать Матвей Бенционович.

— Это я нарочно заругался, для Черкеса. Чтоб с подбрасыванием оружия правдоподобнее вышло.

От восторга и облегчения Бердичевский не сразу нашелся что сказать.

— Я... Право, Феликс Станиславович, вы мой спаситель... Я этого вам не забуду...

— Очень бы хотелось, чтоб не забыли, — искательно заглянул в глаза бравый полицмейстер. — Я вам и в дальнейшем верой-правдой, честное благородное слово. Только не давайте ходу истории со взяткой этой, будь она неладна. Лукавый меня попутал. Я и деньги купчине вернул. За молвите за меня словечко перед владыкой и Антоном Антоновичем, а?

Бердичевский тяжело вздохнул, вспомнив, как витийствовал против чиновничьего даролюбия, чертополохом прорастающего сквозь любые благие намерения — не деньгами, так пресловутыми борзыми щенками.

А спасенная жизнь — чем не борзой щенок?

XI

СУД

Процесс по делу о заволжских убийствах открылся в новом здании губернского суда, замечательно просторном и красивом. Антон Антонович фон Гагенау сам утвердил архитектурный проект и лично надзирал за строительством, потому что придавал этому сооружению особенное значение. Он говаривал, что по виду судебных учреждений всегда можно заключить, уважают ли законность в данной местности. В России судебные присутствия грязны, тесны и обшарпанны, вот и творятся в них всяческие неправды и злоупотребления. Губернатор же пребывал в неколебимом (хотя, возможно, и наивном) убеждении, что если зал суда будет являть собой некое подобие чистого и прекрасного храма, то и нарушений там будет свершаться куда как меньше. И еще одно соображение имелось у нашего администратора, когда он распорядился отвести на строительство столь значительную сумму: новый суд должен был знаменовать собой золотой век заволжской истории, утвердившийся на прочном фундаменте законности и правосудия.

Окончание строительства пришлось как нельзя более кстати, потому что прежний зал для судебных заседаний не смог бы вместить даже самых почетных гостей, прибывших на процесс. В новом же храме Фемиды без труда разместились до пятисот зрителей. Конечно, и это была лишь малая часть тех, кто хотел бы присутствовать при разбирательстве громкого дела, но все же необходимым людям мест хватило (в число необходимых, кроме официальных и почетных гостей, попали также сливки заволжского общества, многочисленные журналисты, столичные писатели и представители юридического сословия, со всей России

слетевшиеся саранчой на это судебное ристалище). Особенная многочисленность юристов объяснялась еще и тем, что защитником согласился стать сам Ломейко, светоч российской адвокатуры и европейская знаменитость. У всех еще не истерся из памяти прошлогодний триумф несравненного Гурия Самсоновича, добившегося полного оправдания для актрисы Гранатовой, которая застрелила жену своего любовника антрепренера Анатолийского.

Против столь грозного противника недалекий окружной прокурор, конечно, выставлен быть не мог, и владыка с губернатором частью убеждением, а частью и насилием понудили Матвея Бенционовича взять обязанности публичного обвинителя на себя. Этому выбору способствовало еще и то, что своим поведением во время задержания опасных преступников Бердичевский стяжал себе славу героя — если и не во всероссийском, то уж, во всяком случае, в губернском масштабе.

Репутация храбреца и человека действия была Матвею Бенционовичу невыразимо приятна, ибо в глубине души он отлично знал, что никак ее не заслуживает. Но и расплата за славу выходила недешевая.

От волнения товарищ прокурора утратил сон и аппетит еще за две недели до процесса. Он и сам не знал, кого больше страшиться: грозного Ломейко, злоязыких газетных репортеров или гнева всемогущего Константина Петровича. Сей последний прислал на суд целую депутацию во главе с товарищем синодального обер-прокурора Геллером — ведь, как ни посмотри, выходило, что заволжский скандал наносит тяжкий ущерб престижу высшего вероблюстительного органа империи.

Мало того, что Бердичевскому впервые предстояло выступать перед широкой (да еще и высокой) публикой. Ну, позапинался бы, подрожал бы голосом — ничего, это для провинциального прокурора извинительно. Хуже было то, что позиция обвинения выглядела шупловато.

По совету защитника Бубенцов на следствии никаких показаний не давал. Дерзко молчал, глядя на потеющего Матвея Бенционовича будто на мокрицу, полировал ногти, зевал. Вернувшись в камеру, писал претензии в вышестоящие инстанции.

Спасенный же, будучи арестован по подозрению в соучастии, говорил много, но ничего полезного не сообщил. Все больше жаловался на здоровье и толковал о божественном. Стало быть, подоплека дела должна была вскрыться непосредственно на процессе.

Вот как обстояли дела к тому дню, когда перед счастливыми обладателями гостевых билетов распахнулись высокие двери нового суда и началось разбирательство, которому суждено было войти не только в анналы нашей губернской истории, но и в учебники юриспруденции.

* * *

Расположение мест в зале отличалось от обычного тем, что позади стола для членов суда установили еще два ряда кресел для самых именитых гостей, где, в частности, разместились товарищ обер-прокурора Святейшего Синода с двумя ближайшими помощниками, губернатор и губернский предводитель дворянства, оба с супругами, губернаторы двух сопредельных областей (разумеется, тоже с женами) и владыка Митрофаней, из-за плеча которого черненькой птичкой выглядывала тихая монашка, которую зал до поры до времени вовсе и не замечал.

Председательствовал самый почтенный и ученый из наших судий, в генеральском звании, с лентой. Все знали, что он уже подал прошение об отставке по преклонности лет, и потому ожидали от него полной беспристрастности — всякому ведь лестно завершить долгую и достойную карьеру столь выдающимся процессом. Другими двумя членами были авторитетнейшие мировые судьи, один в совсем нестарых еще годах, другой же возрастом, пожалуй, еще постарше председательствующего.

Столичного адвоката публика приветствовала бодрыми аплодисментами, от которых он сразу сделался осанистей и выше ростом, будто поднимающееся дрожжевое тесто. Скромно и с достоинством поклонился суду, зрителям и особо, с подчеркнутым почтением, владыке Митрофанию, что было расценено местными жителями в самом положительном смысле. Гурий Самсонович, пожалуй, и сам был похож на архиерея — такой представительный, ясноглазый, с окладистой седеющей бородой.

Хорошо приветствовали и прокурора — правда, больше аборигены, но уж зато они и хлопали ему громче, чем столичному корифею. Бердичевский, весь бледный, с синими губами, натужно раскланялся и зашелестел пухлой стопкой бумажек.

Началась продолжительная процедура представления присяжных, причем защитник проявил редкостную суровость, решительно отведя и двух купцов-староверов, и зытяцкого старейшину, и даже почему-то директора гимназии. Обвинитель никаких протестов против неистовства защиты не заявил, всем своим видом изображая, что, мол, состав присяжных несущественен, поскольку дело и так ясное.

В этом же ключе была выдержана и речь Матвея Бенционовича. Начал он, как и следовало ожидать, сбивчиво и невыигрышно, и даже затеял сморкаться уже на второй фразе, но потом ободрился (в особенности когда из зала ему сочувственно похлопали) и дальше говорил бойко, гладко и временами даже вдохновенно.

Подготовился он на совесть, а самые ответственные куски даже выучил наизусть. К исходу второго часа у обвинителя получалось уже и эффектную паузу подержать, и указать грозным перстом на обвиняемого, и даже воздеть очи горе, что мало кому из прокуроров удается проделывать, не показавшись смешным. Множество раз речь Бердичевского прерывалась аплодисментами, а однажды

ему даже устроили овацию (это когда он трогательнейшим образом описывал соблазненную и покинутую княжну Телианову — тут уж многие из дам не скрываясь всхлипывали).

Превосходная вышла речь, с тончайшими психологическими нюансами и сокрушительными риторическими вопросами. Хотелось бы пересказать ее подробно, но это заняло бы слишком много места, потому что продолжалась она с лишком три часа. Да и ничего существенно нового по сравнению с уже известными читателю выводами сестры Пелагии в выступлении не содержалось, хотя поспешные и сыроватые умозаключения монашки в переложении Матвея Бенционовича обрели вес, убедительность и даже блеск. С сожалением опустив всю психологию и образцы красноречия, изложим вкратце лишь главные пункты обвинения.

Итак, Бубенцову вменялось в вину убийство купца Вонифатьева и его малолетнего сына; убийство петербургского фотохудожника Аркадия Поджио; убийство княжны Наины Телиановой и ее горничной Евдокии Сыскиной; наконец, сопротивление аресту, повлекшее за собой тяжелое ранение двух полицейских стражников, один из которых впоследствии скончался. Прокурор просил суд приговорить Бубенцова к бессрочной каторге, а его соучастника Спасенного, который не мог не знать о преступлениях начальника и к тому же пытался совершить побег из-под ареста, — к одному году тюремного заключения с последующей ссылкой.

Матвей Бенционович сел, изрядно охрипший, но довольный собой. Ему хорошо хлопали, даже и заезжие юристы, что было отрядным знаменем. Бердичевский вытер пот со лба и вопросительно взглянул на владыку, на протяжении речи неоднократно поддерживавшего своего протеже и наклонами головы, и одобрительным смежением вежд. Вот и теперь архиерей ответил на взгляд

прокурора ободряющим киванием. Что ж, речь Матвеем Бенционовичу и в самом деле удалась.

* * *

Заседание возобновилось после перерыва, в продолжение которого между приезжими законниками состоялось горячее обсуждение перспектив дела. Большинство склонялись к тому, что обвинение выстроено толково и захолустный прокуроришка подложил Гурию Самсоновичу своей речью изрядную свинью, однако не таков Ломейко, чтобы спасовать. Наверняка блеснет еще более виртуозным красноречием и затмит провинциального златоуста.

Но в том и состоял признаваемый всеми гений великого адвоката, что он умел не оправдывать возлагаемых на него ожиданий — совершенно особенным образом, то есть превосходя их.

Начало его речи выглядело по меньшей мере странно.

Ломейко вышел вперед, встав спиной к зрителям и боком к присяжным, но лицом к членам суда, что само по себе уже было необычно. Он как-то не то растерянно, не то расстроено развел руками и надолго застыл в этой диковинной позе, решительно ничего не говоря.

Притихший было зал зашумел, заскрипел стульями, а защитник все молчал. Заговорил он лишь тогда, когда председательствующий озадаченно заерзал на стуле и в зале вновь установилась напряженная тишина.

— Просто не знаю... Не знаю, что и сказать о речи, которую произнес уважаемый обвинитель, — тихим, доверительным тоном обратился Гурий Самсонович к судьям и вдруг ни к селу ни к городу объявил: — Знаете, я ведь вырос не так далеко отсюда. Мое детство прошло на Реке. Впитал этот воздух, взращен им и взлелеян... Потом уехал, закрутился в шумной, суетной жизни, но, знаете, душой от Реки так и не оторвался. Скажу без пафоса, как думаю. Здесь, среди густых лесов и скромных, непло-

доносных полей, обретается самое сердце России. Вот почему, господа, — тут голос говорившего неуловимо переменялся, потихоньку набирая упругости, силы и, пожалуй, скрытой угрозы, — вот почему, господа, я делаюсь просто болен, когда узнаю о проявлениях дикости и азиатчины, которые, увы, слишком часто происходят в русской глубинке. Я слышал много хорошего про Заволжск и заведенные здесь порядки, а потому искренне верю, что высокий суд не даст оснований заподозрить себя в предвзятости и местном патриотизме. Сожалею, но именно этим неаппетитным ароматом повеяло на меня, да и на многих гостей вашего города, от речений моего почтенного оппонента.

От этакого начала судьи, с одной стороны, несколько осердились, но в то же время и занервничали, как бы заново увидав и строчащих в блокноты репортеров, и газетных рисовальщиков, и суровых публицистов, которые представляли здесь общественное мнение необъятной империи.

А адвокат уже отвернулся от судей и воззрился на присяжных. С ними он заговорил совсем просто и безо всякой угрожающей подоплеки:

— Господа, я хочу лишний раз указать на то, что вы, конечно, понимаете и без меня. Сегодня происходит самое важное событие в вашей гражданской жизни. Такого процесса в вашем тихом городе еще не было и, дай Бог, никогда больше не будет. Я долго терзал вас расспросами и многих отвел, но сделал это исключительно в интересах правосудия. Я отлично понимаю, вы все живые люди. У каждого наверняка уже сложилось свое мнение, вы обсуждали обстоятельства дела с родственниками, друзьями и знакомыми... Умоляю вас только об одном. — Ломейко и в самом деле молитвенно сложил руки. — Не осуждайте этих двоих заранее. Вы и так уже настроены против них, потому что они для вас олицетворяют чужую

и враждебную силу, имя которой столица. Вы относитесь к этой силе с подозрением и недоверием, часто, увы, оправданным. Я допускаю, что Бубенцов кого-то из вас обидел или рассердил. Он трудный, неудобный человек. Такие всегда попадают в скверные истории — иногда по собственной вине, иногда по капризу пристрастной к ним судьбы. Если господа судьи позволят мне ненадолго отклониться от рассматриваемого дела, я расскажу вам одну маленькую историйку про Владимира Львовича. А впрочем, никакого отклонения и не будет, потому что вы решаете судьбу человеческую и должны хорошо знать, что это за человек...

Защитник снова сделал паузу, будто проверяя, хорошо ли его слушают. Слушали просто замечательно — была полнейшая тишина, только стулья поскрипывали.

— Возможно, этот анекдот даже выставит моего подзащитного в еще более невыгодном свете, и все же расскажу — уж больно выпукло проступает характер... Так вот, пятнадцать лет от роду Владимир Львович влюбился. Страстно, безрассудно, как это и происходит в ранней юности. В кого, спросите вы? В том-то и безрассудство, ибо избранницей сердца юного пажа стала одна из великих княжон, не стану называть имени, потому что сейчас эта особа стала супругой одного из европейских венценосцев.

Среди журналистов прошло шевеление — вычисляли, о ком идет речь, и, кажется, быстро вычислили.

— Владимир Львович сначала написал ее императорскому высочеству любовное письмо, а потом был пойман ночью бродящим под окнами ее спальни. Последовал пренеприятный скандал. Для того чтобы остаться в Пажеском корпусе, мальчику нужно было вымолить прощение у начальства. Делать это он наотрез отказался и был изгнан, тем самым закрыв себе дорогу к блестящей придворной карьере. Я упомянул об этой давней историйке, чтобы вы лучше поняли, в чем состоит главная особен-

ность характера подзащитного. Он гордый человек, господа, и тут уж ничего не поделаешь. Когда против него выдвигают чудовищные по нелепости обвинения, он не снисходит до оправданий. Он гордо молчит.

Надо полагать, что «историйка» Гурия Самсоновича адресовалась не столько присяжным заседателям, по большей части людям немолодым и степенным, сколько женской половине аудитории, настроение которой обычно и определяет атмосферу на подобных процессах. Женщины же, и прежде посматривавшие на Бубенцова с жадным интересом, оценили анекдот по достоинству, и их любопытство, пожалуй, претерпело некоторую метаморфозу — из преимущественно пугливого сделалось преимущественно сочувственным.

Одержав эту важную, хоть и не бросающуюся в глаза победу, ловкий адвокат тут же и обнажил свою хитрость.

— Ах, как жаль, что в присяжные заседатели не допускают представительниц прекрасного пола, — с совершеннейшей искренностью вздохнул он. — Они куда милосерднее мужчин. Но я, господа присяжные, вовсе не прошу вас о милосердии или, упаси Боже, о снисхождении для Владимира Львовича.

Как-то так получалось, что о втором обвиняемом речи особенно и не шло. То ли смиреннейший Тихон Иеремеевич представлял для льва адвокатуры слишком мало интереса, то ли Ломейко справедливо рассудил, что оправдание главного фигуранта естественным образом повлечет за собой и снятие обвинений против его подручного.

— Ваше снисхождение этому гордому человеку было бы мучительно. И прежде всего потому [здесь голос защитника вдруг обрел гулкую звонкость бронзового колокола], **ЧТО ОН В ВАШЕМ СНИСХОЖДЕНИИ НЕ НУЖДАЕТСЯ!**

Некоторые из присяжных от этих слов насупились, а Гурий Самсонович в несколько легчайших шагов подле-

тел к длинному столу, за которым сидели двенадцать народных представителей, и мягко, человечно попросил:

— Не жалейте его. Просто забудьте о своем против него раздражении. Вы ведь судите его не за плохой характер, не за распушенность и не за честолюбие, а за страшные, леденящие кровь преступления, которых, уверяю вас, Бубенцов не совершал. Что я вам сейчас и докажу.

Оказывается, всё предыдущее было лишь увертюрой к собственно защите. Слушатели зашуршали, устраиваясь поудобнее и готовясь к длинной речи, но свою аргументацию Ломейко изложил менее чем в четверть часа.

— Господа, вы слышали протяженнейшую речь обвинителя, более похожую на завывания отца Гамлета, нежели на серьезный юридический дискурс.

В окружении товарища обер-прокурора раздался одобрительный смешок.

— Я видел, господа, что эта речь, к сожалению, на вас подействовала. А ведь вся она построена исключительно на дешевой эффектности. Отсутствие доказательств прикрито литературщиной и домыслами, за которыми ничего не стоит. Я не хочу никого обидеть, но это был образец провинциального витийства в самом худшем своем виде. В Москве или Петербурге краснбайство этого сорта давно вышло из моды. Там нашего обвинителя просто ошикали бы, как того и заслуживает скверная актерская игра.

Матвей Бенционович залился краской и возмущенно оборотился к председательствующему, но тот выглядел несколько сконфуженным. Явно были смущены и присяжные.

— А теперь по сути. — Тон кудесника снова переменился, из язвительно-сожалеющего стал сухим и деловитым. Это говорил не прославленный оратор, а ученый-педант, излагающий научно подтвержденные и очевидные всякому мало-мальски разумному человеку факты. — Я расскажу вам, господа, как всё было на са-

мом деле. Я знал правду с самого начала, однако велел подзащитным держать уста на запоре, потому что местные следователи явно небеспристрастны, жаждут мщения и наверняка извратили бы обстоятельства дела, как это во все времена обожают делать приказные крючкотворы на нашей многострадальной Руси.

На аплодисменты, которых сия ремарка удостоилась от либеральной части аудитории, Гурий Самсонович не обратил ни малейшего внимания. Просто переждал, пока отхлопают, и продолжил:

— Ночь, пустынная дорога. Сквозь серые тучи злоеще просвечивает луна, пахнет дождем, завывает ветер. По дороге идут двое: один бородатый, с остриженными в кружок волосами, другой еще совсем ребенок. Мужчина обхватил мальчугана за плечи, а тот припал светловолосой головенкой к плечу отца и полудремлет на ходу. Вокруг тишина — ни души, ни движения, лишь из лесу доносится заунывное уханье совы...

Ломейко прикрыл рукой глаза, и можно было подумать, что там, на ладони, его взору открываются некие живые картинки, а он лишь пересказывает увиденное.

— Вдруг на обочине вырастает смутная фигура. Незнакомец поднимает руку, будто ему что-то нужно. Ничего не подозревающий купец спрашивает: «Чего тебе, добрый человек?» И тогда незнакомец бьет его ножом в горло, а потом валит наземь и распарывает кровавую рану от уха до уха. Окоченевший от ужаса ребенок с рыданием смотрит, как убивают его отца. А потом незнакомец встает, хватая мальчика за худенькие плечи и, глядя прямо в расширенные от ужаса глазенки, перерезает острым клинком тоненькую шейку. Мольба о пощаде переходит в сдавленный хрип, потом в бульканье...

— Погодите, это еще не всё! — воззвал адвокат, обернувшись к истерично всхлипывающим слушательницам. — Я еще не описал вам главный ужас — как убийца кромсает

бездыханные тела, отделяя головы. Как хрустят позвонки, как хлещет фонтаном черная кровь... А теперь посмотрите на Владимира Львовича. — Стремительный поворот, вытянутая рука. — Скажите по совести, вы представляете бывшего гвардейского поручика, синодального инспектора в роли такого вот мясника? Конечно же, нет! ...Теперь об убийстве фотохудожника Поджио. В какие бы домыслы ни пускался прокурор, совершенно очевидно, что это преступление страсти. Владимир Львович достаточно времени провел в вашем городе. Вы, конечно же, успели изучить его характер и повадки. Вам знакомы и его всегдашняя холодность, и его блазированная манера, производившая столь неприятное впечатление на многих. Неужто вы и в самом деле можете вообразить этого сдержанного, рассудочного человека размахивающим треногой, исступленно рвущим фотографии и топчущим стеклянные пластины? Да взгляните же на него получше! Это человек subtilный, неширокий в плечах, деликатного телосложения. Разве хватило бы у него сил нанести тяжелой треногой удар столь сатанинской силы?

Выдав этот первый существенный аргумент (ибо все прочее пока было не более чем психологией), Гурий Самсонович снова вернулся в область чувств, продолжая говорить все тем же строгим и отнюдь не сентиментальным тоном:

— Ладно, господа, оставим пока в стороне доводы логики и разума, обратимся к сердцу, к инстинкту, который никогда нас не подводит. Бывает, что рассудок настойчиво твердит нам: это черное, черное, и мы уж начинаем верить, а потом сердце вдруг очнется, тряхнет головой [про сердце, потрянувшее головой, у адвоката вышло не очень складно, но все были так увлечены речью, что не обратили внимания на сомнительность аллегории] и воскликнет: «Да какое же оно черное, когда оно белое!» Я обращаюсь к дамам, сидящим в зале. Многие из вас шутили, смеялись и, прошу прощения, кокетничали с Бубенцовым. Музицировали с ним, ездили на пикники и

прочее тому подобное. Вы действительно допускаете, что этот любитель женской красоты был способен проломить камнем голову княжне Телиановой? Вы только посмотрите на этот кошмарный, грубый предмет. — Ломейко показал на увесистый бульжник, лежавший на столе для вещественных доказательств. — Можете вы представить Владимира Львовича с таким орудием в руке?

— Нет! Никогда! — громко крикнула из зала Олимпиада Савельевна, и многие из дам ее горячо поддержали.

— Вы сомневаетесь, — констатировал защитник. — И правильно делаете, потому что ничего этого обвиняемый не совершал. Вы спросите, кто же тогда убил всех этих несчастных? Кто это чудовище? И я охотно вам отвечу. Господа следователи за деревьями не разглядели леса, а ведь для человека непредвзятого, незашоренного суть дела совершенно очевидна.

Адвокат упер руки в бока, выставил вперед бороду и двинул в бой главные силы:

— Да, Бубенцов виновен. Но не в убийстве, а в непростительной слепоте. Впрочем, как и многие из присутствующих. Он, как и вы, не сумел распознать дикое чудовище, долгое время пользовавшееся его покровительством. Да-да, вы поняли меня правильно. Убийцей во всех случаях был Мурад Джураев, это абсолютно ясно. Такому человеку, как Джураев, зарезать купца с сыном ничего не стоило. А тридцать пять тысяч, которые имел при себе Вонифатьев, для Джураева — огромные деньги. Он был в тот день в Дроздовке, узнал о покупке леса, а дальше всё было очень просто. Кучеру куда легче незаметно отлучиться из дома, чем гостю, да еще такому именитому. Ну и с отрезанием голов, как вы понимаете, у этого башибузука трудностей бы не возникло.

Это было чистое, несомненное туше. И лучшим тому подтверждением стал рокот, прокатившийся по залу.

— Теперь вспомним обстоятельства гибели Поджио. В ту ночь Джураев буйствовал. Бродил по трактирам и

кабакам, то появлялся, то исчезал. Почему-то никто не задумался, отчего это непьющий кавказец вдруг сорвался в дебош. А ведь дело опять-таки ясное. Если и было в Джураеве что-то человеческое, так это собачья преданность хозяину. Джураев знал про то, что Бубенцов с Поджио не поделили женщину. На Кавказе к такого рода конфликтам отношение совсем иное, чем у нас, циничных и пресыщенных европейцев. Не будем забывать, что, с точки зрения Джураева, Наина Телианова была не просто какая-то там гяурка, а дочь кавказского князя. Надо думать, что Мурад одобрял выбор господина — кажется, даже больше, чем сам господин. (Это тонкое замечание вызвало полное сочувствие у женской части аудитории.) Господин Спасенный поведал мне, что рассказал Черкесу о скандале, приключившемся на вернисаже, — о том, что Поджио задумал опозорить княжну Телианову, выставив нескромные фотографии на всеобщее обозрение. Те из вас, кто бывал на Кавказе, могут себе представить, насколько оскорбителен подобный поступок для чести девушки и всех, кто с ней связан родственными или иными узами. Та, кого Черкес почитал невестой, достойной его господина, прошу прощения у дам за грубость выражения, была выставлена голой на потеху публике.

О, какая волна прошелестела по залу, как заскрипели карандашами репортеры!

— Подобные оскорбления на Кавказе смывают кровью. Отсюда и особенная свирепость убийства, и иступленное истребление картин — всех без исключения. Лишь неукротимый восточный темперамент способен на подобные неистовства. Те же шаткие домыслы, которые мы слышали от прокурора про осинку и мотыгу, извините, пригодны разве что для криминального романа. Следствие попыталось выстроить на совершенно случайном совпадении все здание обвинения. Неудивительно, что сия нелепая конструкция развалилась от первого же толчка... Ну, с третьим убий-

ством и вовсе просто. Джураев убил главного оскорбителя, но остался не удовлетворен. Хмель прошел, а боль обиды, нанесенной господину, продолжала терзать это дикое сердце. Ведь еще большее, чем Поджио, оскорбление господину нанесла та, кто чуть было не стала его женой. Мало того что изменила, но еще и вела себя как презренная блудница. В мусульманском мире, как известно, таких побивают камнями. До смерти. Именно так Джураев и поступил. Взял камень и убил Телианову. А что заодно погубил ни в чем не повинную горничную, так что ему, дикарю, еще одна христианская душа?

Гурий Самсонович горестно вздохнул, махнул рукой.

— Ну и последнее. Не забывайте, что при аресте именно Джураев оказал сопротивление властям. Естественно — у него единственного были на то веские причины.

Закончил Ломейко неэффектно, скомканно, в чем, видимо, и заключался главный столичный шик:

— У меня всё, господа. Как видите, я мучил вас меньше, чем прокурор. Потому что у меня аргументы, а у него — сантименты. Решайте, это ваше право и ваша обязанность. Но дело совершенно ясное.

* * *

Овации не было, потому что реакция на речь получилась смешанная: сторонники Бубенцова открыто ликовали, а его противники пребывали в явной растерянности.

Немедленно вскинул руку прокурор, и начались прения сторон.

— Значит, ваш подзащитный — невинная овечка, даже не подозревавшая, какого волка пригрела под своей шкуркой? — запальчиво выкрикнул Бердичевский отличную, только что придуманную фразу.

Многие засмеялись, потому что Владимир Львович на овечку никак не походил. Ободренный Матвей Бенционович продолжил:

— Не находит ли господин защитник, что история с головами пришла к синодальному инспектору как-то уж

очень кстати? Стоило Бубенцову прибыть к нам в Заволжье на искоренение язычества, и сразу откуда ни возьмись обнаружались безголовые, точь-в-точь как в известной летописи четырехсотлетней давности?

Ломейко иронически осведомился:

— Может быть, мой подзащитный и летопись сам написал?

Снова раздался смех, и погромче, чем в предыдущий раз. В искусстве пикировки Матвей Бенционович столличному скорохвату явно уступал.

— Не столь важно, кто именно убивал, — пошел Бердичевский на кардинальную уступку, потому что опровергнуть доводы защиты было нечем. — Возможно, сам Бубенцов рук и не пачкал. Но если кровь проливал Джураев, то действовал он с ведома Бубенцова!

— Имеете доказательства? — прищурился адвокат. — Или просто сотрясаете воздух, как давеча?

— Темному, невежественному кавказцу самому было не разработать такую хитроумную интригу, — заволновался Бердичевский. — И в тонкостях фотоискусства он тоже вряд ли разбирался. Он ведь не только снимки разорвал, но и пластины разбил. Откуда такая осведомленность о фотографическом процессе? И, напомню, убийца унес именно ту картину и ту пластину, которые могли выдать место захоронения трупов. Как вы это-то разьясните?

Гурий Самсонович снисходительно улыбнулся:

— Да очень просто, коллега. Громя выставку, Джураев увидел, что на одном из снимков запечатлено слишком памятное ему место. Пригляделся — а там забытая им мотыга. Нетрудно было догадаться, какую опасность представляла для убийцы такая карточка. Вот вам и вся загадка. А еще, господин обвинитель, я хотел бы заявить самый решительный протест против отвратительного пренебрежения к инородцам, прозвучавшего в ваших словах. «Темный, невежественный кавказец». У вас по-

лучается, что он как бы и не вполне человек. А он очень даже человек, просто иных традиций и верований, но с собственными представлениями о чести, куда более строгими, чем наши. Очень жаль, что полиция убила Джураева. Я охотно взялся бы за его защиту. Стыдитесь, сударь. Все бы нам на свою мерку мерить, а ведь на свете не только русские живут.

Наградой защитнику за сии справедливые слова были горячие аплодисменты от передовой части собравшихся, причем громче всех хлопали публицисты. Бердичевский же мучительно покраснел, потому что придерживался точно таких же убеждений.

— А попытка бегства? Зачем Бубенцову было бежать, если невиновен? — спохватился Матвей Бенционович.

Ломейко потупился, словно ему стало неловко за столь простодушный вопрос.

— Позвольте, но что же ему оставалось делать, когда Черкес открыл пальбу? Ваши доблестные держиморды изрешетили бы пулями всех троих. Да и в справедливое разбирательство Бубенцов верить никак не мог. И мы видим, что в этом он оказался прав.

Бердичевский посмотрел на подсудимого и увидел, как губы Владимира Львовича дрогнули в торжествующей улыбке.

— Да сколько можно? — довольно громко произнес товарищ обер-прокурора. — Уж, кажется, яснее ясного.

Матвей Бенционович бросил полный отчаяния взгляд на владыку Митрофания, и тот вдруг подал ему некий знак.

— Господин председательствующий, — немедленно объявил Бердичевский. — Я просил бы выслушать свидетеля со стороны обвинения.

Когда выяснилось, что свидетельствовать будет сам губернский архиерей, защитник вскочил и крикнул:

— Протестую! Владыка не имел касательства к расследованию, я внимательно изучил материалы дела. Ста-

ло быть, выступление его преосвященства явится не чем иным, как попыткой воздействовать авторитетом столь уважаемой особы на настроение присяжных.

Митрофаний улыбнулся, позабавленный мыслью, что суд может не дать ему слова. Председательствующий же, побагровев геморроидальным лицом, резко ответил столчному светилу:

— Неправда! Хотя владыка формально и не участвовал в разбирательстве, всем отлично известно, что он руководил деятельностью следователей. Кроме того, проницательность его преосвященства в подобных делах широко известна, и не только в нашей провинции, — последнее слово судья особенно подчеркнул, злопамятствуя адвокату за прежние шпильки, — но и за ее пределами.

— Как угодно, — кротко склонил голову Гурий Самсонович, но, прежде чем сесть, сказал: — Умоляю, владыко, не злоупотребляйте вашим пастырским словом! Оно много весит, но и ответственность за него великая.

* * *

Выход такого свидетеля означал настоящую, изумительнейшую сенсацию, и один из рисовальщиков от усердия даже сполз со стола на пол и потихоньку подобрался поближе, чтобы ухватить торжественную и величавую позу епископа, когда тот произносил слова присяги.

Митрофаний не стал обращаться к присяжным, а сразу повернулся к защитнику, словно признавая его ключевой фигурой всей этой ожесточенной юридической баталии.

— Вы сказали про ответственность, — ясно и громко начал преосвященный. — И сказали истинную правду. На каждом, кто говорит перед судом человеческим, лежит большая ответственность. Но несравненно большая ответственность лежит на нас перед Судом грядущим. Вот об этом-то вы, кажется, и запомнили.

Гурий Самсонович смиренно опустил голову, как бы не смея противоречить столь почтенному оппоненту, однако же оставаясь при своем мнении.

— А ведь вы талантливый человек, изошренного ума, — с укоризной продолжил Митрофаній. — Что же эквилибристикой заниматься? Купец с сыном, трое бедных зытяков, художник, две девушки, полицейский, да и кавказец этот — вон сколько душ загублено. И все как нарочно связаны с Бубенцовым. Вы ведь не станете отрицать этого? У нас в Заволжье всё было тихо и мирно. Потом появился этот человек, и словно кто сглазил наш благословенный край. Начались убийства, взаимные подозрения, ненависть, подлость, доноительство, шатание в семьях, страх. Я сейчас скажу то, что многим вольнодумцам и безбожникам покажется суеверием и отсталостью, но это чистая правда. Вокруг нас и среди нас бродят люди, носящие в душе Зло. Их много, этих людей, и выглядят они точно так же, как все остальные. Поэтому мы не страшимся их, доверчиво открываем им сердца и объятья. — Здесь преосвященный выразительно обвел взглядом галерею, на которой сидели наши заволжские дамы. — А распознаём мы злоносцев, только когда им зачем-то, из каких-то собственных надобностей, приходит на ум уязвить или уничтожить нас. И тогда мы воем и горюем, но спасти нас уже трудно, потому что у злых сих делателей стальные зубы, железные когти и сердце их высечено из камня.

Владыка был похож сейчас на ветхозаветного пророка, а голос его гремел так, словно Митрофаній вел эскадрон в атаку на английских гусар в балаклавской Долине Смерти.

— Знаете, что за напасть обрушилась на нашу губернию? К нам пришло Зло. И мы, живущие здесь, все почувствовали это — кто раньше, кто позже. Ваш подзащитный не просто злой человек — он слуга Зла. Вся его жизнь, всё его поведение тому свидетельство. И опасный слуга, потому что умен, хитер, изворотлив, смел и красив. Да-да, красив. Лукавый вооружил его медоточивым языком, обволакивающим голосом, властью подавлять слабых и многими иными дарами.

— Тут Бубенцов отмочил штуку: выставил в спину владыке рожки и высунул язык. Кто-то фыркнул, но на большинство присутствующих выходка произвела крайне неприятное впечатление.

— Посмотрим на те его дела, которых даже вы оспаривать не станете, — продолжил епископ, по-прежнему обращаясь только к адвокату. — Вы говорили, что отца и сына Вонифатьевых убил не он, а его прислужник. Допустим — только допустим, — что это так. Из одного страшного преступления Бубенцов сотворил другое, еще худшее: он возвел напраслину на целый народ, поднял волну ненависти и нетерпимости, устроил позорную и гнусную охоту на инаковерцев. А как он поступил с Наиной Телиановой? Он совратил эту барышню, разрушил ее жизнь и надругался над ее пусть грешным, но искренним чувством. Да и совратил-то он ее не по любви и даже не по страсти, а из минутной прихоти или, того хуже, из корысти. Вольно или невольно Бубенцов толкнул Наину Телианову на омерзительнейшие поступки и на прямое соучастие чудовищному убийству. А после погубил ее. Да-да, в любом случае это он погубил и Наину Георгиевну, и ее горничную, и художника.

Этого Ломейко стерпеть уже не мог, поскольку видел, какое действие речь владыки производит на присяжных.

— Но позвольте! — вскричал адвокат, поднимаясь. — Вы это говорите в фигуральном смысле, а закон фигур речи не признает! Господин председательствующий, это совершеннейшее нарушение процедуры и правил! Я протестую!

— Можно и не в фигуральном, — гораздо тише проговорил Митрофаний. — Что там у вас были за доводы, которыми вы пробуете опровергнуть обвинение? У тщедушного Бубенцова не хватило бы сил проломить грудь Поджио тяжелой треногой от фотографического аппарата? Вы, кажется, употребили слова «сатанинская сила»?

Очень уместное выражение. Ибо и я думаю о сатанинской силе, когда вижу, сколько злой энергии и дьявольской неутомимости проявил господин Бубенцов за время своей кипучей деятельности в нашей губернии. Да, он subtilen и тощ, но люди такого склада, как известно, обладают особым запасом нервической энергии. В иступлении или ярости они способны проявлять чудеса силы, что подтверждает и медицинская наука. Да вот, что далеко ходить, — владыка сделал вид, что ему только сейчас пришел на ум удачный пример. — Вы сами в прошлом году на процессе по делу мешанки Барановой замечательно это описали. Ваша подзащитная, семнадцатилетняя швея, удавила голыми руками своего мучителя и еще сгоряча дотащила шестипудовую тушу до пруда. Я читал в газетах вашу речь, обеспечившую Барановой нестрогий приговор. Помните, как вы толковали про «нервическое иступление»?

Это был удар сокрушительной силы, и более всего из-за того, что обрушился на Гурия Самсоновича совершенно внезапно. Кто бы мог ожидать от провинциального архиерея такой осведомленности?

А владыка уже вел дальше:

— Раз вы изучали материалы дела, то вам известно, что кто-то пытался убить монахиню Пелагию Лисицыну после того, как она раскрыла проказы Наины Телиановой с белыми бульдогами. Среди вещественных доказательств имеется мешок с веревкой, орудия несостоявшегося убийства. Бубенцов при разоблачении Телиановой присутствовал, но Мурада Джураева там не было. Если Джураев — единственный преступник, то откуда же он узнал, что сестра Пелагия опасна?

Адвокат бросил вопросительный взгляд на Владимира Львовича — тот лишь пожал плечами.

— И еще... — Митрофаный сделал паузу, давая понять, что сейчас скажет самое главное. — Скажите, гос-

подин защитник, в кого была влюблена Телианова — в Мурада Джураева или все-таки в Бубенцова?

До публики смысл вопроса дошел не сразу, но сообразительный Гурий Самсонович побледнел и дернул себя за бороду.

— Мертвые, господин адвокат, тоже умеют свидетельствовать, Господь дал им такую силу. Увязнув в словесных играх, вы упустили из виду главное: Наина Телианова пошла бы на этакие безумства — укрывательство останков, истребление собак — только ради того, кого любила всей душой. Но не ради невежественного Черкеса, которого вы нам так старательно подсовываете на роль убийцы. Что вы скажете на это? Кто здесь за деревьями не видит леса?

Прошло полминуты, минута. Светоч юридической мысли молчал. Зал затаил дыхание, чувствуя, что в эти мгновения решается судьба всего процесса.

Тогда Митрофаней впервые за все время обернулся к подсудимому и резко спросил:

— А что на это скажете вы, господин преступник?

Владимир Львович вспыхнул и открыл было рот, намереваясь что-то ответить, но в этот миг произошло такое, чего, наверное, не мог предвидеть и многоумный владыка.

* * *

— А-а-а-а! — раздался истошный вопль, а вернее вой, и Тихон Иеремеевич Спасенный, доселе сидевший тихо-тихо, так что все про него почти что и забыли, выбежал из огороженного загончика для обвиняемых на середину.

Он рухнул на колени, троекратно поклонился в пол суду, присяжным и залу, захлебываясь судорожными рыданиями. Охранники подхватили его под руки, хотели поднять, но подсудимый вставать решительно не желал, и пришлось тащить его обратно на скамью волоком.

— Паки и паки грешен! — выкрикивал свихнувшийся секретарь. — Лихо мне, окаянному!

Судья грозно зазвонил в колокольчик, и Спасенный снова покаянно закланялся.

— Ваше милосердие, — всхлипнул он. — Дайте слово сказать чистосердечное.

А сам повернулся к своему соседу по скамье и, молитвенно сложив руки, воззвал:

— Повинитесь, Владимир Львович! Простите меня, скудоумного, но нет у меня больше моченьки! Много на нас с вами греха, ох много! Владыка правду сказал про злых делателей, именно таковы мы с вами и есть. Христом Богом молю, покайтесь!

Полицейские были вынуждены схватить Бубенцова за плечи и вдвоем едва удержали побелевшего от ярости инспектора, что самым убедительным образом подтвердило слова преосвященного о мощи нервического исступления.

Митрофаней величественно прошествовал на свое место. Ему не хлопали — не посмели, но почтительная тишина, которой провожали преосвященного, была триумфальнее любых оваций.

— Вы желаете дать показания? — спросил председательствующий.

— Да! Желаю! — Спасенный вытер рукавом мокрое от слез лицо. — Чистосердечные! Желаю облегчить душу!

Он поднялся и дрожащим голосом заговорил:

— Воистину Зло вездесуще, а я — многомерзкий слуга его! Повинен Владимир Львович, господин Бубенцов, во всех этих страшных убийствах, он и убивал. Но и аз, грешный, повинен, ибо молчал, покрывал и содействовал — по слабости и из страха живота своего!

Владимир Львович рванулся так, что охранники отлетели в стороны, но на помощь им бросились еще двое, и вчетвером они усадили-таки разбушевавшегося подсудимого на место. Двигаться Владимир Львович не мог, но крикнул:

— Ты что, Срачица, обезумел?

— Вот, — затрепегал всем телом Тихон Иеремеевич — И ныне весь дрожу от одного гласа его. Воистину он — Сатана. Прельстителен и полн соблазна. Дана ему большая власть над человеками. И я, червь, не устоял перед искушением, когда понял, какого размаха у него крыла. В сей мирный град он прибыл, чтобы обратить его в прах, пепел и стон — и всё во имя своего возвеличения. Задумано у него было вознестись к самым вершинам земной власти, и ради этого он ни перед чем бы не остановился. Он говорил мне: «Держись, Срачица, за мою фалду, да не робей, пальцев не разжимай. Сам воспарю и тебя с собой подниму». Но еще говорил и так: «Смотри, Срачица, если против меня пойдешь, раздавлю, как глисту». И раздавил бы, такой уж это человек. Заморочил, запугал, обольстил, и стал я псом его верным. Много подличал и мерзавничал, грешен. Единственно чем не осквернился — смертоубийством, но и то по слабости нервов...

Спасенный сбился на рыдания и говорить больше не мог, так что пристав был вынужден дать ему воды. Немного успокоившись, кающийся продолжил:

— Он еще шутил. Мол, про иных честолюбцев говорят: «по головам идет», а я и в буквальности по головам этим высококонько вскарабкаюсь. Много что можно порассказать, как он зытяков этих злосчастных путал, мучил да запугивал. И я не отставал, хотел поощрение его заслужить.. А с Вонифатьевыми что вышло. У Владимира Львовича долги страшные, еще с прежних времен. Это он здесь, в Заволжье, таким львом вышагивал, а в Питере он все больше зайцем шмыгает, от кредиторов скрывается. Это и карьере его мешает, ему уж и Константин Петрович пеняли — неприлично, мол, для синодального чиновника. И вот, когда гостили мы в Дроздовке у генеральши, разговор о купце этом приезжем зашел. Владимир Львович возьми мне и шепни: а спроси-ка Сытникова, за сколько он думает лес покупать?

— Что ты врешь? — бешено крикнул с места Бубенцов, и судья предупредил его: еще одно слово — и он будет выведен из зала.

— Да что уж теперь врать, — боязливо оглянулся на былого покровителя Спасенный. — Теперь надо правду говорить. Так вот. Как узнал он, что Вонифатьев этот получит тысяч тридцать, а то и сорок, глаз у него и загорелся. Я сижу, ничего такого и не думаю. Когда Сытников, осерчав на Владимира Львовича, уходить стал, он говорит мне: догони, мол, проси на меня не гневаться, а заодно спроси, не привезет ли своего гостя сюда, любопытно на такого дикаря посмотреть. Я подумал — он для дела, план у него тогда был под староверов подкопаться. Это уж он после, по вдохновению, на язычников перенастроился. Ладно. Вернулся, докладываю. Нет, мол, не привезет. Купец по заключении сделки едет дальше, даже и невзирая на позднее время. Ну-ну, сказал Владимир Львович и вроде как интерес потерял. Только всего и было. А ночью я стукнулся к нему в дверь — идея у меня некая возникла, подлая идея, не буду говорить какая, потому что совестно и к делу не относится. Стучу-стучу — не открывает. Я сначала удивился, потому что сон у него чуткий, а после решил, что это он, верно, с дроздовской барышней ночует.

Тихон Иеремеевич вытер лоб своей клешастой ручищей, глотнул еще воды.

— А когда утром к нему зашел, то заметил, что у него плащ мокрый — перед рассветом дождик начался. Но и тогда значения не придал. Прошло несколько дней, нашли безголовых этих, и Владимир Львович сразу про зытяцкие жертвоприношения заговорил. Такой знаток оказался всех ихних верований и обычаев — я только диву давался. Ну и обрадовался, конечно. Как славно-то выворачивало, будто по нашему заказу...

Говоривший запнулся, махнул рукой:

— Нет, не буду сейчас кривить. Хочу, чтобы всё как на духу. Завелся во мне этакий червячок, еще с самого

начала. Что-то больно складно выходит, думаю. Будто лукавый нам ворожит... Что это сам Владимир Львович безголовых подбросил, это мне, конечно, на ум не приходило. Только нынче, когда всё одно к одному собралось, я и про Сытникова вспомнил, и про пустую комнату, и про мокрый плащ... И с художником теперь понятно, как он всё обустроил. Сам он Мурада и подпоил, больше некому. Чтобы я под ногами не путался, чтобы за пьяным Мурадом всю ночь собачонкой по кабакам таскался. Думаю, Владимир Львович и тогда уже замысливал в случае чего убийства эти на Мурадку свалить. Иначе зачем бы ему тренога эта понадобилась? — Тихон Иеремеевич показал на вещественное доказательство. — Можно бы как-нибудь и попроще. А сила у Владимира Львовича большая, это он с виду только мозглявый, но весь жилистый, и как в остервенение войдет — не дай Бог под руку попасть... Ну а под конец он меня вовсе стесняться перестал. После следовательского опыта, когда барышня Телианова ему в открытую угрожать стала, он сделался чернее тучи. Ходил по комнате, думал, а потом вдруг говорит: «Уйду я на ночь глядя. А ты, если кто заглянет или спросит, говори, мол, спать легли». Вернулся только под утро. Весь вымокший, грязный...

Показания Тихона Иеремеевича были прерваны самым возмутительным и непристойным образом.

Воспользовавшись тем, что стражники ослабили бдительность, Владимир Львович легко и даже грациозно перемахнул через барьер, подлетел к своему неверному приспешнику, с размаху двинул его в ухо, а потом повалил на пол и вцепился своими маленькими, но цепкими руками в горло.

Стражники кинулись на выручку Спасенному, и началась безобразнейшая сцена, так что заседание пришлось объявить прерванным.

* * *

Когда процесс возобновился, обвиняемых рассадили порознь, причем Бубенцов сидел в наручных цепях и меж-

ду двух охранников. Вид у инспектора был совсем не си-
нодальный: на лбу пунцовел изрядный кровоподтек, во-
ротник надорван, глаза лихорадочно блестят — одним
словом, истинный Сатана.

Тихону Иеремеевичу досталось еще больше. Ухо у него
распухло и оттопырилось, нос сделался похож на свеклу
(это Бубенцов успел его еще и зубами ухватить), а хуже все-
го было то, что говорить пострадавший более не мог, ибо
железные пальцы Владимира Львовича продавили ему гор-
ло. То есть Тихон Иеремеевич предпринял было попытку,
но его сипы и хрипы оказались совершенно невразумитель-
ными, и председательствующий решил не мучить страдаль-
ца, тем более что дело и так выходило окончательно ясным.

Уже собираясь произнести напутствие присяжным,
судья больше для порядка спросил, не располагает ли кто-
нибудь из присутствующих иными сведениями, могущи-
ми подкрепить обвинение или защиту.

В этот-то самый миг служитель и подал ему клочок
бумаги. Судья прочел, изумленно приподнял брови и,
пожав плечами, объявил:

— Вызвался еще один свидетель. Вернее, свидетель-
ница. Пелагия Лисицына. По закону я обязан предоста-
вить ей слово. Вы желаете поддержать обвинение?

Он осмотрел поверх очков зал, выглядывая, не под-
нимется ли кто-нибудь с места.

В аудитории загудели, потому что свидетельница встала
за спиной у судьи, из кресел для особо почетных гостей.

Маленькую фигурку в черном встретили ропотом.
Все уже сильно устали от долгого сидения и сильных
переживаний, да и что тут можно было прибавить? Все
равно больше, чем бессрочную каторгу, обвиняемый не
получит, да и меньшим ему никак не отделаться. Даже
владыка неодобрительно качнул клобуком, видно, со-
чтя, что его духовная дочь поддалась соблазну суетного
тщеславия.

Речь Пелагии Лисицыной была хоть и непродолжительной, но имела для процесса совершенно особенное значение, поэтому приведем ее полностью и дословно, для чего на время отстранимся от повествования, препоручив его бесстрастному судебному протоколу. Стенографистом на суде был сын нашего соборного настоятеля Леонид Крестовоздвиженский, очень способный юноша, которому многие предвещают выдающиеся успехи на литературном поприще, однако протокол он составил добросовестнейшим образом, безо всяких прикрас — разве что, увлекшись, включил кое-где ремарки, из-за которых сей официальный документ стал несколько напоминать пьесу. Но уж пусть так и остается. А от себя добавим лишь, что во все время своего выступления сестра Пелагия говорила голосом очень тихим, так что в задних рядах многим не все было слышно.

Итак, начнем с того места, где свидетельница, произнеся слова присяги, приступает к собственно показаниям.

«Лисицына: Господа судьи и присяжные, Бубенцов не совершал убийств, в которых его обвиняют.

В зале шум и крики. Среди присяжных заметно волнение.

Председатель: Интересное заявление. А кто же тогда?

Лисицына: Бубенцов, конечно, злодей, владыка всё это очень верно описал, но он не убийца. И Вонифатьевых, и Аркадия Сергеевича, и Наину Георгиевну с горничной убил вон тот человек. Он и меня дважды пытался убить, да уберег Господь.

Показывает на подсудимого Спасенного. Тот хочет что-то крикнуть, но не может по причине поврежденного горла. Сильный шум в зале.

Председатель (звоня в колокольчик): Какие у вас есть основания делать подобное заявление?

Лисицына: Можно я сначала объясню, почему Бубенцов не убийца? Вот с головами этими... Мне всё покою не давало, отчего это Наина Георгиевна Бубенцову и намекает, и даже грозит, а он никакого беспокойства не проявляет и своим пренебрежением распаляет ее всё больше. Зачем уж так-то было с огнем играть? Ведь довольно бы слово ей сказать, и она стала бы как шелковая. Непонятно. С другой стороны, никого другого, кроме Бубенцова, княжна в таком страшном деле покрывать бы не стала, да и по всей ее манере было видно: она знает про него нечто особенное. А сегодня, когда владыка обратил на это наше внимание, доказав неосновательность подозрений в адрес Мурада Джураева, я вдруг вспомнила слова Наины Георгиевны, произнесенные в последний вечер, когда после следственного опыта Бубенцов собрался уходить. «Тот самый плащ. И фуражка та самая. Как она блестела в лунном свете...» Никто из присутствующих этих слов не понял, да и привыкли все, что княжна любит выражаться загадочно. Но сейчас у меня словно пелена с глаз спала. Когда Наина Георгиевна это сказала, Бубенцов уже шел к дверям, и видела она его со спины. Понимаете?

Председатель: Ничего не понимаю. Но продолжайте.

Лисицына: Ну как же! Я теперь очень хорошо вижу, как всё было. В ночь убийства Вонифатьевых она гуляла по саду. Может быть, надеялась, что выйдет Бубенцов, к тому времени к ней уже охладевший, поскольку у него появился расчет затесаться в наследники Татищевой без участия Наины Георгиевны. А может быть, она просто не могла спать, охваченная понятным волнением. И вдруг видит среди деревьев Бубенцова — вернее, его силуэт: плащ, знакомую фуражку. Вероятно, видит издали, потому что иначе непременно окликнула бы. Бубенцов ведет себя таким таинственным образом, что барышня решает не выдавать своего присутствия и проследить за ним. Не знаю, успел ли уже убийца к этому времени сбро-

свить тела в реку, но то, как он закапывает отрезанные головы, Телианова, несомненно, видит. Будучи девушкой впечатлительной и склонной к фантазиям, она, наверное, восприняла эту невероятную сцену как некий таинственный ритуал. Или же окоченела от ужаса — что даже и естественно при подобных обстоятельствах. Именно в таком состоянии — ужаса и окоченения — я и застала ее тремя днями позднее, когда прибыла в Дроздовку. Наина Георгиевна усердно оберегала тайну захоронения, для чего ей даже пришлось умертвить белых бульдогов, столь драгоценных сердцу ее бабушки, но относительно Бубенцова княжна пребывала в полнейшем смятении. Однако когда Владимир Львович появился вновь и объявил о начале следствия против кровожадных язычников, Наина Георгиевна вообразила, что теперь понимает план ее возлюбленного: чудовищно дерзкий и захватывающе бесчеловечный. Тогда-то она и заговорила о Демоне. Должно быть, ей показалось, что сатанинские игры с людскими судьбами — искусство куда более пьянящее, чем театр или живопись. Не она первая, кто подпадает под этот соблазн.

Председатель: Всё это очень правдоподобно. Но почему вы решили, что преступник непременно Спасенный?

Лисицына: Он сам рассказал, что выспрашивал Сытника о приезде купца. И лишь со слов Спасенного нам известно, что разговор этот был затеян по просьбе Владимира Львовича. К тому же, хоть Бубенцов и по уши в долгах, тридцать пять тысяч не такая сумма, которая его бы выручила. У нас в городе поговаривают, что за Бубенцовым долги числятся на сотни тысяч. Разве стал бы он мारаться из-за столь незначительной по его понятиям суммы? Другое дело Спасенный. Для него тридцать пять тысяч — целое состояние. А кроме обогащения, была у него и другая цель: помочь своему покровителю в карьере и вознестись вместе с ним. Так что головы он резал не только чтобы

следы замести, но еще и с дальним умыслом, отлично удавшимся. Может быть, Спасенный-то и подвел Бубенцова к идее использовать безголовые трупы для зытяцкого дела. (*Волнение в зале.*) Тихон Иеремеевич — человек редкой предусмотрительности. Совершая преступление, он всякий раз принимал меры предосторожности. Когда отправился убивать Вонифатьевых, взял плащ и фуражку своего начальника — на всякий случай. Вдруг увидит кто. И ведь увидели же! И Мурада Джураева в ночь убийства Поджио наверняка подпоил тоже Спасенный. Ему ничего не стоило отлучиться на часок, пока Черкес пил в очередном кабаке.

Председатель: «Ничего не стоило» — это не доказательство.

Лисицына: Вы правы, ваша честь. Но если вы позволите мне... (*Подходит к столу с вещественными доказательствами и берет фотографическую треногу. Подходит с нею к подсудимому Бубенцову.*) Владимир Львович, прошу вас протянуть руки. (*Подсудимый Бубенцов сидит неподвижно, глядя на Лисицыну. Потом вытягивает над барьером скованные руки.*) Попробуйте обхватить треногу пальцами. Видите, господа? У него маленькие руки. Он просто не смог бы достаточно крепко ухватить этот увесистый статив, чтобы нанести удар такой мощи. Отсюда со всей очевидностью следует, что Аркадия Сергеевича Поджио убил не он.

Сильный шум в зале. Выкрики: «А ведь верно!», «Ай да монашка!» и прочее подобное. Председатель звонит в колокольчик.

Лисицына: Позвольте уж и еще одну демонстрацию. (*Подходит с треногой к подсудимому Спасенному.*) А теперь, Тихон Иеремеевич, попробуйте-ка вы.

Спасенный проворно прячет руки, доселе лежавшие на перилах барьера, за спину. В зале многие вскакивают на ноги. Председатель звонит в колокольчик.

Лисицына: Статив настолько велик, что обыкновенному мужчине обхватить его пальцами вряд ли удастся, а у господина Спасенного руки необычайной величины. Для него эта задача трудности бы не составила... И еще у меня есть к суду просьба. Нельзя ли произвести телесный до-смотр господина Спасенного? А именно — обследовать его правое бедро и ляжку. Дело в том, что когда в дроздовском парке мне накинули на голову мешок, я дважды воткнула вязальные спицы в ногу нападавшего. Довольно глубоко. Должны были остаться четыре следа от уколов.

Спасенный (*вскакивает и сидит с места*): Ведьма! Ведьма!»

ХП

ЧЕРНЫЙ МОНАХ

После выступления сестры Пелагии заседание продолжалось еще некоторое время, но исход дела уже был ясен, да и внимание публики рассеялось. Тихона Иеремеевича увели освидетельствовать, и точно — на правой ляжке у него обнаружили четыре розовые точки. Прений между сторонами не возникло, потому что прокурор от стольких крутых поворотов пришел в некоторое отупение, а адвокат выглядел совершенно довольным: дела его клиента складывались неплохо, а судьбу Спасенного защитник на своей ответственности не числил.

Тихон Иеремеевич, как ни странно, плакать и канючить не стал. На вопрос, признает ли себя виновным в убийствах, только покачал головой. Сидел с неподвижным лицом, полуприкрыв глаза, и, казалось, не прислушивался ни к напутствию судьи, ни к ответу присяжных, ни даже к приговору. Его сморщенное личико разгладилось и даже обрело

некоторую значительность, прежде совершенно этой физиономии несвойственную. Бубенцов же, напротив, вел себя до чрезвычайности нервозно: всё вертелся, то поглядывал на своего секретаря, то выворачивал шею, чтобы посмотреть на сестру Пелагию, и вид у него в такие моменты делался озадаченный и даже глуповатый. Монахиня, впрочем, до самого конца процесса просидела, ни разу не подняв глаз, так что несолидное поведение Владимира Львовича, вероятно, осталось ею незамеченным.

Приговор никого не удивил. Тихон Иеремеевич Спасенный, который так и не повинился и похищенных денег не вернул, получил пожизненную каторгу. Владимира Львовича же освободили из-под стражи прямо в зале суда, и час спустя он уже покинул нашу губернскую столицу, опозоренный в глазах большинства, но и оплакиваемый втайне некоторыми особами.

А дальше все в Заволжске стало понемногу успокаиваться и устраиваться. Будто упал в пруд камень, и поначалу взъерепенилась от этого вода, полетела брызгами, и волны побежали кругами, но вскоре их бег замедлился, сник, и сровнялась гладь, снова уснула тихая заводь, хоть и долго еще выпрыгивали на поверхности звонкие пузырьки.

Людмила Платоновна фон Гаггенау после долгого отсутствия побывала у владыки на исповеди. Вышла оттуда вся заплаканная, с покрасневшими, но ясными глазами. После имел Митрофаний и продолжительную беседу с губернатором, которого совершенно успокоил и дал ему понять, что тревожиться Антону Антоновичу не из-за чего. Тайны исповеди преосвященный не раскрывал, да и говорил больше намеками, но потом все равно наложил на себя суровую епитимью.

Матвей Бенционович просил губернатора за полицмейстера Лагранжа, но получил отказ. Можно было бы на этом счесть долг благодарности честно выполненным, но Бердичевский сходил еще и к архиерею — безо всякой надежды, а единственно для очищения совести. Однако

Митрофаній неожиданно отнесся к заступничеству сочувственно и сказал так: «Не надо Лагранжа под суд. И с должности гнать лишнее. Я так полагаю, что человек он отнюдь не пропащий. Ведь очень просто мог бы устроить так, что Мурад тебя убил бы и концы в воду. Скажи Феликсу Станиславовичу — поговорю с губернатором». Полицмейстер остался и теперь тоже исповедуется у преосвященного.

* * *

Но еще ранее всех этих событий — собственно, в самый день суда — случилось одно происшествие, о котором следует упомянуть особо.

Когда присяжные удалились на совещание, а в зале все заговорили разом, делясь впечатлениями от процесса и предположениями относительно грядущего вердикта, владыка счел неподобающим своему сану оставаться среди праздноболтающей публики и, по приглашению председательствующего, удалился в комнату для почетных гостей. Сестру Пелагию поманил пальцем, чтобы следовала за ним. Шел коридором мрачный, смотрел под ноги и сердито стучал архиерейским посохом.

Когда они оказались наедине, монахиня виновато поцеловала преосвященному руку и сбивчиво заговорила:

— Ваша правда, отче, Бубенцов — злоделатель и адское исчадие. Теперь выйдет на свободу и, хоть синодальная его карьера кончена, но он на своем веку еще много разного зла сотворит. Сила у него большая. Залижет раны, поднимется и снова станет сеять ненависть и горе. Но нельзя же неправду искоренять посредством неправды! Я ведь воистину только в самый последний миг поняла, как оно было, а то бы непременно испросила у вас благословения на выступление. А еще вернее, вас бы упросила свидетельствовать. Но времени объясниться совсем не было, судья уж и заканчивать собрался. Вот и я выпятилась со своими рассуждениями. А вышло так, что я вас перед всем обществом выставила в невыгодном свете. Можете ли вы меня простить?

Она смотрела на епископа со страхом и чуть ли не с отчаянием. Митрофаній тяжко вздохнул, погладил духовную дочь по голове:

— Что глупцом и спесивцем меня выставила, так это поделом. Чтоб чрезмерно не заносился. И лавров чужих не стяжал. Знаю за собой эту греховную слабость, за нее и наказан. Но это бы еще полбеды. Устыжен я тобою, Пелагия, много устыжен. И уstraшен. Как оно складно-то выходит, когда на мир через цветное стеклышко смотришь. А цвет подбираешь такой, чтоб тебе был по сердцу. И тогда твой личный враг видится не просто твоим недоброжелателем, а преступником и врагом всего рода человеческого, а друг, хоть бы и многогрешный, — светлым ангелом. Это пускай политики на мир через цветные стеклышки смотрят, пастырю же нельзя. Простое должно быть стекло, а еще лучше бы вовсе без стекла... — Владыка сокрушенно покачал головой. — И про то, что злом зла не искоренишь, ты тоже права. Просто вместо одного зла утвердишь другое, более сильное. А бубенцовское зло, оно особенное. Оно не столько на законы, сколько на человеческие души покушается. Судейским с таким злом не сладить, такое дело только Божьей церкви под силу. Долг церкви бдить за злом и разоблачать его.

Сестра встrepенулась и быстро проговорила:

— А мне думается, отче, что у Божьей церкви совсем иное предназначение. Бдить за злом не надо бы, и разоблачать тоже. Потому что от этого страх происходит. Не злом бы нам заниматься, а добром. Кротостью нужно и любовью. От страха же ничего хорошего никогда не будет.

— Это ты так про Божий страх рассуждаешь? — грозно спросил епископ. — Опомнись, Пелагия!

— И про него тоже. Бога не бояться, Его любить надо. И надо, чтоб церковь тоже не боялись, а любили. С земной властью же церкви сливаться и вовсе грех.

— Чем же это грех? — не столько рассердился, сколько удивился Митрофаній. — Чем Заволжску хуже от того, что Антон Антонович меня слушает?

Жаль, не пришлось договорить, потому что в дверь заглянул взволнованный Бердичевский и объявил:

— Владыко, всё уже! Присяжные вышли почти сразу. Спасенный виновен — единогласно. Бубенцов невиновен — и тоже единогласно. Репортеры и приговора дожидаться не стали. Тут в коридоре толкутся. Вас ждут.

— Нас? — дрогнул голосом архиерей. — Что ж, изопью чашу горькую, так мне и надо. — Он решительно поднялся, потянул Пелагию за руку. — Выходи первая. Твой час. Только сильно-то не гордись. Помни, что ты Христова невеста.

Едва ступив в коридор, Пелагия ослепла от магнитных вспышек и, пройдя два шажочка, потерянно остановилась. Успела только разглядеть множество оживленных мужских лиц, причем большинство были без бород и с подкрученными усами.

Крепкие плечи оттеснили монахиню в сторонку. Сюртуки с пиджаками окружили кольцом покаянно ссутулившегося владыку.

Один скуластый, некрасивый — сам Царенко, прославленный петербургский публицист — почтительно произнес:

— Владыко, ваша величаяя мудрость произвела на публику глубочайшее впечатление. Вы произнесли выдающуюся речь, разоблачив Зло в лице инспектора Бубенцова, пусть неподсудного человеческому суду, но стократно виновного на Суде Божьем. Мелкого же убийцу, преступника заурядного, предоставили разоблачить вашей помощнице, что она исправно и сделала, несомненно следуя вашим указаниям.

— Нет-нет, она сама! — с испугом воскликнул Митрофаней. — Это все Пелагия!

Столь трогательное проявление скромности было встречено понимающими улыбками, а многие из репортеров сразу же записали слова архиерея в блокноты, усмотрев в них восхитительное смирение и неприятие суеты.

— Разумеется, — проницательно улыбнулся и Царенко. — Вы тут совершенно ни при чем. И во всех прежних делах, раскрытых при вашем содействии, заслуга тоже принадлежала вашей сестре Поликсене.

— Пелагии, — растерянно поправил владыка, выискивая глазами свою помощницу.

Пелагия стояла у раскрытого окна, повернувшись к журналистам спиной. Расстроена? Обижена?

Поспешим успокоить читателя. Сестра вовсе не была обижена. Она просто стояла и смотрела в окно, потому что там как раз намечалось — а собственно, уже и началось — происшествие, о котором было упомянуто чуть выше.

Площадь, на которую выходили окна окружного суда, в этот предвечерний час почти совсем опустела. У фонаря лениво перебрехивались две дворняжки, через лужу на одной ножке скакал мальчишка в суконной чуйке и смазных сапогах. Но с дальнего конца, где в площадь вливается Малая Купеческая, доносился звонкий цокот копыт по бульжнику, грохот колес, звяканье сбури. Весь этот шум резво приближался, и вскоре уже можно было рассмотреть взмыленную пару сивопегих лошадок, тащивших за собой рессорную коляску. На облучке, размахивая кнутом, стоял запыленный монах в черной, развевающейся по ветру рясе, но простоволосый, так что его длинные космы совсем растрепались, а потом стало видно, что у странного возницы весь лоб в крови и до невозможности выпученные глаза. Немногочисленные прохожие, завидев этакую картину, так и застывали на месте.

Приблизившись к зданию суда, монах натянул вожжи, останавливая разогнавшихся лошадей, соскочил на землю и крикнул Пелагии...

Впрочем, не станем пересказывать, что именно прокричал вестник, потому что это будет уже начало совсем другой истории, еще более диковинной, чем история про белого бульдога.

Пелагия быстро обернулась к преосвященному. Митрофаний не видел странного монаха и не слышал его крика, однако сразу почувствовал неладное. Мягко, но решительно отстранил корреспондента и...

Содержание

Часть первая. Блюдитесь псов

I. Смерть Загуляя	5
II. Тучи над Заволжском	31
III. Милые люди	58
IV. Гнездо аспидов	80
V. Страшно	109

Часть вторая. И блюдитесь злых делателей

VI. Суаре	138
VII. Суаре (Продолжение)	158
VIII. Те же, да не все	180
IX. Ночь. Река	208
X. Борзой щенок	226
XI. Суд	249
XII. Черный монах	280

Следующий роман серии
«Провинциальный детектив»
«ПЕЛАГИЯ И ЧЕРНЫЙ МОНАХ»

ЛУЧШИЕ

КНИГИ

ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

◆ Любителям крутого детектива – романы Фридриха Мезанского, Эдуарда Тополя, Владимира Шитова, Виктора Пронина, суперсериалы Андрея Воронина "Комбат", "Слепой", "Му-му", "Атаман", а также классики детективного жанра – А.Кристи и Дж.Х.Чейз.

◆ Сенсационные документально-художественные произведения Вистора Суворова; приоткрывающие завесу тайн кремлевских обитателей книги Валентины Красовой и Ларисы Васильевой; а также уникальная серия "Военная история в лицах".

◆ Для увлекающихся таинственным и необъяснимым – серии "Линия судьбы", "Уроки колдовства", "Энциклопедия загадочного и наведомого", "Энциклопедия тайн и сенсаций", "Великие пророки", "Необъяснимые явления".

◆ Поклонникам любовного романа – произведения "королевы" жанра: Дж.Макют, Д.Линдсей, Б.Смолл, Дж.Каллингз, С.Браун, Б.Картланд, Дж.Остен, сестер Бронте, Д.Стил — в сериях "Шарм", "Очарование", "Страсть", "Интрига", "Обольщение", "Рандеву".

◆ Полные собрания бестселлеров Стивена Кинга и Сидни Шелдона.

◆ Почитателям фэнтестики – циклы романов Р.Асприна, Р.Джордана, А.Солжковского, Т.Гуджайнда, Г.Кука, К.Сташефа, а также самое полное собрание произведений братьев Стругацких.

◆ Любителям приключенческого жанра – "Новая библиотека приключений и фантастики", где читатель встретится с героями произведений А.К. Дрейга, А.Дюма, Г.Маянга, Г.Санжовича, Р.Желязны и Р.Шекли.

◆ Популярнейшие многотомные детские энциклопедии: "Всё обо всем", "Я познаю мир", "Всё обо всём".

◆ Уникальные издания "Современная энциклопедия для девочек", "Современная энциклопедия для мальчиков".

◆ Лучшие серии для самых маленьких – "Моя первая библиотека", "Русские народные сказки", "Фигурные головоломки", а также незаменимые "Азбука" и "Букварь".

◆ Замечательные книги известных детских авторов: Э.Успенского, А.Волкова, Н.Носова, Л.Толстого, С.Маршак, К.Чуковского, А.Барто, А.Линдгрэн.

◆ Школьникам и студентам – книги и серии "Справочник школьника", "Школа классики", "Справочник абитуриента", "333 лучших школьных сочинения", "Все произведения школьной программы в кратком изложении".

◆ Богатый выбор учебников, словарей, справочников по решению задач, пособий для подготовки к экзаменам. А также разнообразная энциклопедическая и прикладная литература на любой вкус.

Все эти и многие другие издания вы можете приобрести по почте, заказав

БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

по адресу: 107140, Москва, д/я 140. "Книги по почте".

Москвичей и гостей столицы приглашаем посетить московские фирменные магазины издательской группы "АСТ" по адресам:

Каретный ряд, д.5/10. Тел. 299-6584, 209-6601.

Звездный бульвар, д.21. Тел. 272-1905.

Б.Фаншляный пер., д.3. Тел. 911-2107.

Арбат, д.12. Тел. 291-6101.

Татарская, д.14. Тел. 959-2099.

Луганская, д.7. Тел. 322-2822

2-я Владимирская, д.52. Тел. 306-1898.

В Санкт-Петербурге: Невский проспект, д.72, магазин №49. Тел. 272-90-31

Книга-почтой в Украине: 61052, г. Харьков, д/я 46, Издательство «Фемин»

Литературно-художественное издание

Акунин Борис
Пелагия и белый бульдог

Роман

Художественный редактор О.Н. Адашкина
Технический редактор О.В. Панкрашина

Подписано в печать с готовых диапозитивов 02.10.00.
Формат 84×108^{1/32}. Печать высокая с ФПФ. Бумага
типографская. Усл. печ. л. 15,12. Доп. тираж 20 000 экз.
Заказ 1967.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-00-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ».

Лицензия ИД № 02694 от 30.08.2000 г.
674460, Читинская область, Агинский район,
п. Агинское, ул. Базара Ринчино, д. 84.

Наши электронные адреса:

WWW.AST.RU

E-mail: astpub@aha.ru

ООО «Издательство Астрель»

ЛР № 066647 от 07.06.1999 г.
143900, Московская область, г. Балашиха,
проспект Ленина, 81

Электронный адрес: WWW.AST.RU

E-mail: astpub@aha.ru

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.97.
220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35-305.

Налоговая льгота — Общегосударственный классификатор
Республики Беларусь ОКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.300

Республиканское унитарное предприятие
«Полиграфический комбинат имени Я. Коласа».
220005, Минск, ул. Красная, 23.

43

«Провинциальный детективъ, или Приключения сестры Пелагии» — новый литературный проект Б. Акунина, автора «Приключений Эраста Фандорина».

«Детективные сюжеты новомодного автора достойны Агаты Кристи; язык — Достоевского; жанровая изобретательность — разве что Борхеса; многослойность повествования — Умберто Эко» (газета «Известия»).

«Читать желательно вечером, и если не при свечах, то при приглушенном свете. Не бойтесь, страшно не будет. Путешествие покажется вам сказкой» (газета «Новые известия»).

«Романы Б. Акунина могут примирить с коммерческим письмом любителей изящества и словесности» (газета «Время МН»).

«Интеллигентная публика давно уже тосковала о ком-то подобном... Если бы Б. Акунина не было, его стоило бы выдумать!» (журнал «Афиша»).

«Крепкое жанровое начало продуктивно сочетается с авторским. Это равно далеко и от скучных милицейских романов, и от новорусского угара. Могучий второй план. Красиво, умно, стильно» (журнал «Куль личности»).

ISBN 5-17-001229-2



9 785170 012299